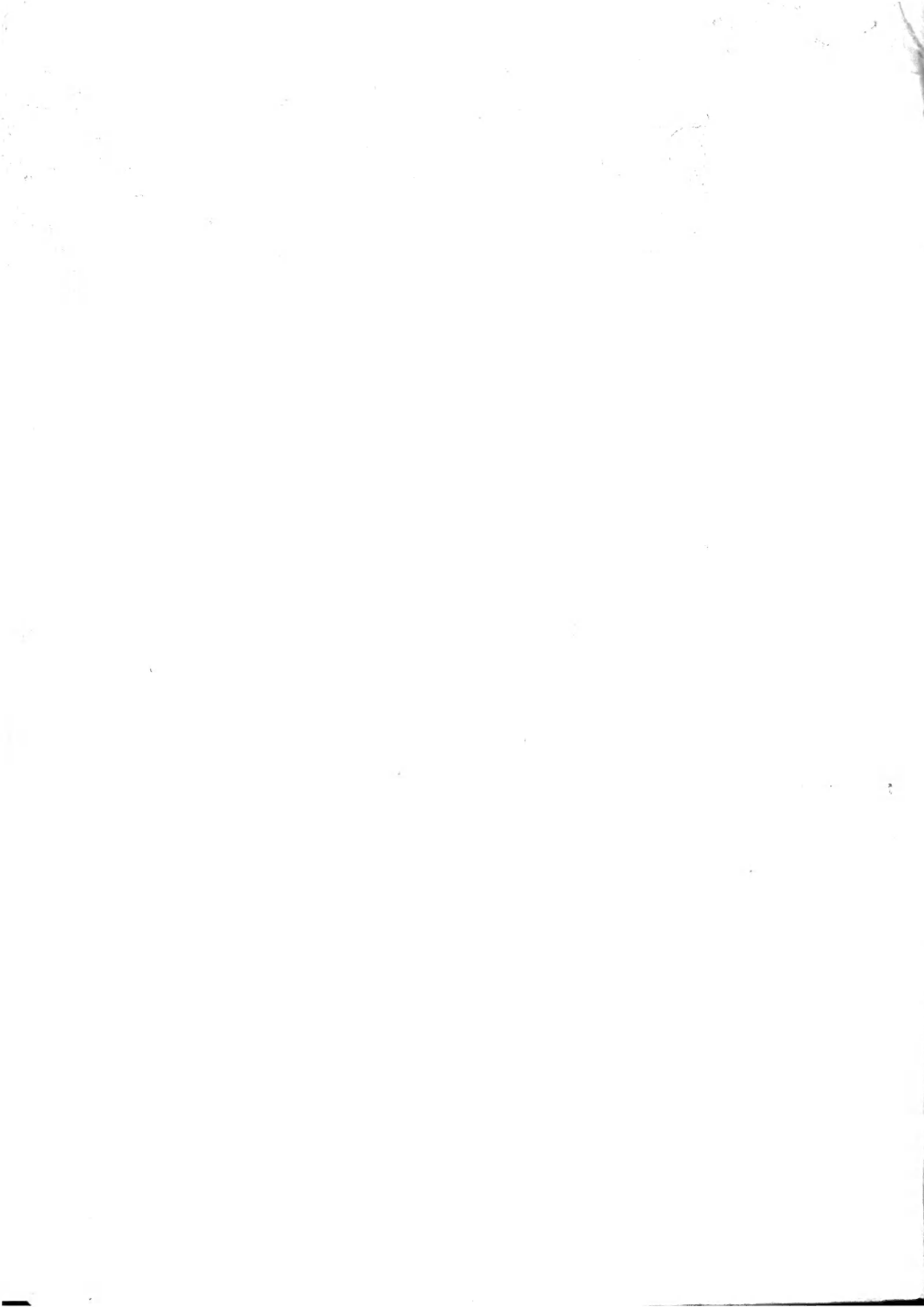




АННА КОТ

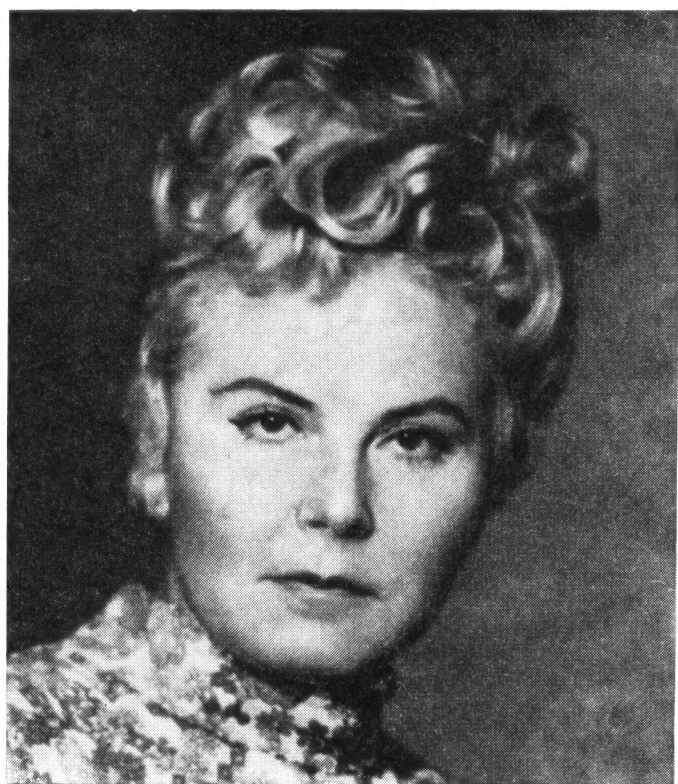
# КОЛЬЦО СУДЬБЫ











АННА КОТ

**КОЛЬЦО  
СУДЬБЫ**

1/53  
677  
РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1972



Анна Платоновна Кот — журналистка. Ее очерки публиковали в «Известиях», в агентстве печати «Новости», передавали по радио. Последние три года она посвятила работе над романом «Кольцо судьбы». Эта книга написана на материале, который Анна Кот очень хорошо знает.

А. Кот родилась на Днепропетровщине. Там прошло ее детство. Там встретила она войну. Еще девочкой она была наблюдательна. Это мы видим из первой части романа «Кольцо судьбы», где воспроизведены сложнейшие судьбы советских людей при внезапном вторжении фашистов на украинскую землю. Вторая часть романа перенесет читателей в оккупированную немцами Польшу. И эти дороги смерти исходила автор романа.

В «Кольце судьбы» нашли отражение любовь и ненависть автора и ее героини, девушки-подростка, которая страдала, боролась, мужала. Анна Кот в настоящее время, занимаясь журналистикой, продолжает работу над второй книгой романа.

Издательство и автор ждут от читателей отзывать на книгу. Пишите нам по адресу: 103030, Москва, Сушевская ул., 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», отдел писем.

## ЧАСТЬ I

### Глава I

#### РАССКАЗ МАТЕРИ

«Мама Тоня!

Вот уже третья неделя, как нас разделяет граница. Ты — на правой стороне Днепра, теперь это Неметчина, а я — на левой, у себя дома. Тут еще Советская Украина. Кто мог подумать, что так случится?..

Я очень скучаю по тебе, и аист, которого ты выходила, по долгу стоит на крыше шалаша и смотрит на правый берег Днепра. Словно тоже скучает... И тогда я плачу... Плачу потому, что вокруг меня рвутся снаряды, летят бомбы, стреляют пушки, погибают люди, птицы...

И мне не верится, что мы еще когда-нибудь встретимся. Это письмо я посылаю через наших. Конечно, на ответ мало рассчитываю. И не совсем уверена, что и ты получишь мое письмо. Поэтому расписывать много не буду. Скажу основное. Вместе с нашими красноармейцами я собираюсь уйти на фронт. Знаю заранее, что ты станешь возражать, мол, мне исполнилось только пятнадцать. Но ведь ты любишь меня, никогда мне ни в чем не отказывала, и поэтому хочу надеяться, что и на этот раз останешься такой же доброй: согласишься со мной. Ведь я уже взрослая и должна поступать, как все взрослые. А вот наша мама говорит, что я еще ребенок и о фронте и думать не должна. Мама Тоня! Если у тебя найдется возможность прислать нам письмо, то разубеди ее в этом, пожалуйста. Разубеди также и нашего отца.

Целую...

Оксана».

Младший лейтенант Коралов обещал Оксане передать ее письмо разведчикам, чтобы те направили его по адресу. Но он должен был знать содержание письма, чтобы случайно не подвести товарищей.

В ту минуту, когда Коралов читал письмо, в сад пришла Оксана. Младший лейтенант быстро спрятал письмо в новенький красноватый планшет, а оттуда вынул газету. Внимательно про-

читал последнюю сводку Совинформбюро. Тяжело вздохнув, снова положил газету в планшет.

Коралов подставил небритое лицо под осенний, но еще теплый ветер, посмотрел в небо: «мессершмитты» вынырнули из-за снежного облака и потянулись к перелеску, за которым виднелся железобетонный мост, соединяющий Петровск с Нижним Холмом. Через мост шли наши последние отступавшие части. «Стервятники! Прощупали», — подумал младший лейтенант.

Василий Коралов завернул манжет у зеленой гимнастерки, взглянул на часы. Стрелки показывали четырнадцать ноль-ноль. И тотчас над головой пронесся советский истребитель. Не успел он перекрыть перелесок, как с ним поравнялись еще три таких же новеньких, серебристых самолета.

— Молодцы! — вскрикнул Коралов, привстал, а затем снова сел на сруб колодца. Рокот авиационных моторов и стук зениток заглушили все земные звуки.

Вынув из кармана пачку папирос, Коралов задумчиво глядел на девушку, прогуливавшуюся под вишенником.

— На счастье... — тихо сказал он и незаметно пересчитал количество не выкуренных в пачке папирос. — Тринадцать? — Коралов запнулся, покашлялся.

В небе продолжался бой. Вспыхнули яркие огни, и через несколько минут уже послышались взрывы бомб. Коралов вновь посмотрел на часы, прикинул время: до моста бомбовозы долететь не успели.

Неожиданно справа Коралов увидел, как, перевернувшись на крыло, падал вниз фашистский самолет. За ним другой... Звуки перестрелки улетали дальше. Вдали на поляне был виден огненный гриб.

Коралов от удовольствия потер ладони. Сколько за два месяца войны он повидал горящих танков, самолетов, машин и людей. И это были наши танки, наши люди, наши машины. На сей раз горели самолеты врага. А три из них поспешно повернули на запад, беспорядочно бросая бомбы посреди Днепра.

Коралов не сдержался: крикнул вслед нашим истребителям, успешно закончившим бой: «Браво, ребятки!»

— Командыр! А где твой торба? — спросил у Коралова рядовой Султан, ударяя себя по правой ляжке.

Планшет Коралов носил на длинном ремешке. При ходьбе он всегда касался его ног и как бы дополнял стройно сложенную фигуру командира. И уж потому, что Коралов никогда с ним не расставался, исчезновение планшета бросилось солдату в глаза.



Младший лейтенант ахнул: действительно, куда девался планшет? Ведь только сейчас был рядом...

Коралов поднял ногой веточку колючего терновника, что близ колодца.

— Пошукайте краше! — крикнула Оксана, сидя на треноге черешни.

Коралов смутился: «Значит, она все время наблюдает за мной». Он нагнулся и тотчас увидел планшет под жимолостью. Ему стало неловко за свою рассеянность. Он перекинул через плечо ремешок, выпрямился, увидев у летней печки Анну Евсеевну — мать Оксаны, вспомнил о письме. Он подошел к ней и сказал, что хотел бы с ней поговорить о ее дочери.

— А чего ж об ней говорить, об Оксанке-то? — улыбаясь спросила Анна Евсеевна. — Вона ж ще во сне держится за мамину грудь...

Лицо Коралова залилось краской. Он смутился и совсем тихо, как бы вдумываясь в каждое слово, сказал:

— Вы меня не так поняли. Оксана просит через наших разведчиков передать письмо какой-то маме Тоне. С ее разрешения я прочитал это письмо. А иначе нельзя было бы выполнить ее просьбу. Письмо может попасть в руки врага, и надо, чтобы оно ничего не раскрыло. Так вот, некой маме Тоне она пишет, что хочет вместе с нами уйти на фронт. Вы не объясните, кто такая мама Тоня?

— Ну шо ж. Расскажу. Було це так, — начала она. — Дитей у нас народылося богацько. Семеро. Правда, одна дочка вмерла. Два сына зараз в армії служитъ. Одын робы на заводи, це третій найстарший. А две старшие дочки живутъ своими семействами. Оксанка — послідня дытына...

Анна Евсеевна замолчала.

— А твои ридни хто, сынок? — спросила она у Коралова. Видно, не все хотела раскрыть сразу.

— Простые люди были.

— Що це значит «были». Булы? Ты не сэрчай, сынок, шо пытаю. Мы же балакаемо по-своему, не по-российски.

— Да я не серчаю. В общем, матери своей я не знаю, — сказал младший лейтенант. — Она умерла, когда я родился. Отец убит в первые дни войны, в Белостоке. Была бабушка. Узнав о смерти отца, заболела и вскоре скончалась. Осталась одна тетя, живет на Урале. Вот и все.

— А-я-яй. Сыротка це ты, Вася, — Анна Евсеевна смахнула слезу. — Ну раз ты мени довирывся, расскажу тобі все про

нашу Оксанку. А я, кажеця, звываюся балакаты по-вашому, по-російскаму.

— И нравіцца? — улыбнуўся Коралов.

— Нравіцца! — отчеканіла Анна Евсеевна.

— Вот и хорошо, — засмеялся Василий.

— Значит, народылыся у нас гаврыкі один за другим. Чоловик участвоваў в гражданскай вайне, а дзіцішек востывала я сама. Бувало, возьму сярэдняга сына Лешу на рукі і несу с сабой на грядку. Положу яго в тенечке под камышом, а сама грядку абрабываю. Потом наступае яго час, і он крчыт — спасу нема. Есць прасіт. А у мяня молака нет, сама цэлы́й дзень нічога не ела. Едва концы с концамі своділа. Суну ему в рот пустышку, а он рассерчае да снова крчыт. А потом потеряет сіленкі да так і уснэ. Какова-то мне? Сапаю грядку і слезамі сваімі поліваю ёе. А чоловік заглянет на часок і опятъ власть завоевываць ідет. Тяжкое время было.

Потом родывся ще один сынок, Андрусь. Тут-то я воскресла. Молчаливое дите, шо котенок. А чуть подрос, я его кормлю, а он вудит, шо мне самой нечего есць, і говорит: «Не, мамо, это вам, а я потерплю...» О радость моя, где он теперъ, мой сынок? — всхлинула Анна Евсеевна. — Може, і голодный і холонный... О, проклята вайна! Осиротила матерей. Недавно напісал из Одессы: «...жыв, мамо, бяу фашистов. Береги нашу Оксанку...» Скучае он по ней. Любит свою сестренку. Да і все мы ёе любимо, — вытирала краешком платка свое лицо старушка.

Потом она снова надолго замолчала, о чем-то думая.

Василию не терпелось услышать дальше, но торопить старую женщину он не решался, а только повторил ранее сказанную ёю фразу:

— Да, тяжелое время было... И тяжелое настало, — добавил он.

Та продолжила:

— Потом мы решили с мужем дітей больше не іметь, щоб не бачіць іх мук. Решить-то порешілі, а это дівча захотіло жыць... свет увидать... — Анна Евсеевна слегка смутилась. — А когда захотела? Через двадцать лет после старших дітей! Мы уже стариками булы. Стыд і срам, ёй-богу... У старшей моей дочки уже своя дочка родилась, і менша наша вышла замуж. Сыновья без дівчат не можуть. А тут на тебе... — Анна Евсеевна повеселела.

— А уж колы все так получилось, то решили вырастить і це дите. Якость тайком, якость крадучись от людських глаз. Про-

шло шесть недель. И вдруг Оксанка заболела. Шо робыть? Я — в слезы. Дома одна. А чоловік в Запорожье. Там ще тильки-тильки начиналась подготовка до коллективизации. Собралась я в Запорожье, щоб найти своего чоловіка, а вин пошукав там хорошего лекаря. А в нашем селе лекаря тоди не было, только в районе, а це далеко. И хіба ж його найдешь сразу, як никого там не знаешь.

Напоила я ее крепким настоем мака и упрятала в уголок. Оставить було некому. Случилось так, шо и дочки выбулы на уборку степей, да аж на цилу неділю. А парни — временно на производстве. Я сама за узелок — и в город.

Анна Евсеевна снова помолчала, а потом продолжила рассказ. Только на третий день нашла она своего «чоловіка». Еще день прошел, как добрались до лекаря. А тот как узнал, что девочка пятый день без еды, так и ахнул. Говорит, не о чем теперь толковать... Анна Евсеевна в слезы. А муж ее успокаивает: «Не трясоти же больную детинку в товарняках».

Возвратились домой в тот же день. По дороге купили марлечки. Зашли до старшей дочки Тони. Та только с прополки вернулась. Дала белого холста завернуть девочку. Похоронить, если что, решили Оксанку в саду под черешней. Собрались всем семейством. Пришли до хаты. Открыли. Воздух чистый, как и всегда.

— Поднимаемо занавесочку, глядим: лежит наша Оксанка, бледна, шо воск. Не колыхнется. Я, конечно, в крик. Дочки заголосили, и даже сыны носами зашмыгали... Ну и шож вы думаете? Оксанка як открое глазки, да як засмеется, будто дразнится, а потом губками мелет, и мне послышалось, шо она шепчет: «Ма... мо». Поверьте, я перехрестылась и даже испугалась. Кажу: «Я сошла с ума или она на самом діли жива?» Диты все плачут и отвечают: «Жива». Я так и припала к ней. Стала у нее на коленях прощения просить. А она шо есть силы рвет мою пазуху, сисю ищет.

Анна Евсеевна снова помолчала. Да так на том и закончилась беседа: помешал ей продолжиться отец Оксаны Павел Крепин. Он готовил к эвакуации скот. А по дороге домой видел, как беженцы метались по дворам, ища колодцы, чтобы напиться, а также предлагали местным жителям одежду, обувь и ценности в обмен на хлеб и соль. Шелковую блузку отдавали за буханку хлеба, цветную косынку — за десяток яиц.

Крепин был подавлен всем виденным.

— Где Оксана? — обратился он к жене, рассказав о том, что делается на дороге.



— В саду.

Оксана уже спустилась с черешни на землю, выслушав отца, молча взяла два ведра, наполнила водой и направилась к шляху, над которым повис в воздухе плотный столб пыли. Остановилась на том перекрестке, где совсем маленькой играла в камешки...

Ее тотчас окружила огромная толпа беженцев. Изнуренные и обессиленные люди потянулись к ведрам. Оксана говорила, что и дальше по дороге много стоит девушек-поильщиц, что в центре живет врач и он может оказать им помощь...

По дороге, сбавляя ход, шла легковая машина. Остановилась возле Оксаны. С заднего сиденья сошел военный.

— Ну-ка, дочь, подари глоток воды, — сказал военный, увидев стоящие ведра. И черпанул своей эмалированной кружкой.

— А-а! Хорошо! — от удовольствия простонал он, выпив сряду две кружки. — Как думаешь, что самое необходимое для здоровья человека? — спросил он у Оксаны: — А ну? Сколько классов кончила?

— Восемь.

— Ну так как думаешь?

— Чтобы не было войны... — поторопилась с ответом Оксана.

— Ну, это если в больших масштабах. А в малых?

Оксана молчала.





— Вода, соль и воздух, — растянул генерал.

Девушка окинула взглядом военного. Она уже поняла по его форме, что это генерал, и ей стало обидно, что он вместе с беженцами тоже отступает. А почему бы ему со своими солдатами не остаться здесь, на левой стороне Днепра, чтобы не пустить дальше гитлеровцев? Вот так, как дивизия Гончарова!

Она сердито посмотрела на генеральские лампасы и, когда генерал протянул ей шоколадку, проронила:

— Спасибо! Вам самому понадобится... До Владивостока еще далеко...

Генерал поморщился. Он хлопнул правой рукой по своему нагрудному карманчику, видно ища ручку, намереваясь что-то записать, да, ничего не обнаружив, сказал:

— Неверные у тебя, дочь, понятия о войне. А шоколадку возьми. Кстати, из Владивостока я еще вернусь и тогда на обратном пути заеду к тебе. Где живешь?

— В пятом доме отсюда. У нас штаб дивизии. И наши военные не собираются... бежать! — выпалила было Оксана и, испугавшись своей прямолинейности, закусилась до боли губу.

Генерал с любопытством посмотрел на девушку.

— Значит, отступать в твоём понятии — бежать? — ровным тоном поправил генерал. — Видно, им так надо, а нам иначе, — показал он на движущуюся моторизованную колонну военных.

— Иначе. Иначе. А почему иначе? — затараторила Оксана, побежав через кукурузную ботву снова за водой.

Генерал молча посмотрел девушке вслед, покачал головой и сам себе проронил: «Да, а почему, действительно, иначе? И так рассуждают тысячи...» — Генерала на минуту охватило смутное, страх за будущее этой девчонки и миллионов таких, как она, и он, подавленный, направился к машине. Вскоре машина зафырчала, забуксовала и скрылась за поворотом.

Оксана возвращалась домой, когда уже стемнело. Солнце затерялось в тучах пыли, и ярко-оранжевые лучи на небе блекли и исчезали. Перед ее глазами, словно погруженная в траур, стояла молчаливая Вишневка. Ни одного огонька в хате, будто жизнь здесь с приходом войны прекратилась. Только кое-где отзывались скворцы да назойливо чирикали воробьи. Слева в небе повисло двурогое полулунье. Оно отсвечивало на земле каким-то тусклым холодком света.

Вскоре сумерки сгустились и землю окутал ночной полумрак. Затем и вовсе опустилась непроглядная темень.

Дома девочка молча взобралась на русскую печку, где раньше любила помечтать наедине, легла ниц и, уткнувшись в по-



душку, начала было засыпать. Но в хату вошли Василий Коралов и Анна Евсеевна. Они заговорили о ней, и Оксана услышала продолжение рассказа матери.

— Так вот, в тот день, шо найшлы мы Оксанку живую, най-старшая дочь Тоня сказала: «Не хочу, шоб дивчинка росла в подполье, я выкормлю ее сама и сделаю все для того, шоб вона була здорова. А пидросте, заберете ее, если захотите, а нэ, будэ моя дочь». Я, конечно, не соглашаюсь, а чоловік каже: «У нас детей богацько, отдадим Тоне на время. Заберем обратно, как только старших дитей определим...»

Так росла и росла наша дочка на славу. «Мамой» звала и мене и Тоню. А опісля сама определила, шо у нее есть мама Тоня и просто мама. Росла сорвиголовой, ну як нэ наша. Где шум, свистки — туда и она. И мы, бывало, с Тоньєю по переменеке ее наказували: ставили в угол на коленочки. Так с Тоньєю оңа перерекалась, мол, роскажу отцу, он и тебэ в угол поставит. А менэ слушалась. Только, як рассерчае, запугивала: «Пидозды, я выласту больсая-больсая и уеду далеко-далеко. Каво ты тогда на коленочки поставис?...»

Коралов усмехнулся.

— Ну як же ее не наказувать, — как бы в оправдание сказала Анна Евсеевна и рассказала, что жила Тоня близко от перекрестка. По той дороге всегда машины ехали, повозки, скот бродил. Оксане там понравилось играть в камешки. И все уже знали: если движение машин остановилось, значит, девочка сидит на шляху и камешки вверх кидает. Шофера сигналият, кричат. А она не встает: мол, объедете. Сколько раз, бывало, изпод колес вытаскивали ее. А все оттого, что все ее баловали.

— Я наказую ее, а старши хлопци украдут и вмисто лупки на плечах куда-то унесут. Каждая ее проказа для них потеха.

Анна Евсеевна передохнула, помолчала и продолжила:

— Хотели мы дать счастье Оксанке в юности, да война помешала. Шо теперь буде з нею? Бачу, шо рвется на фронт. Мы протестуемо. Там пользы вид ней ниякой не буде. Молодая, необученная. А оставить здесь — гитлеровцев боимся. Болит у менэ душа. Посовитуй, сынок, як быть з нею? Послидня радость в доме...

— Лучше ей уйти с нами. Остаться здесь опасно. А в штабе нашем для нее всегда работа найдется, — сказал Василий.

Анна Евсеевна, пристально вглядываясь в Коралова, как бы заключила:

— Письмо, яке Оксана написала Тоне, будьте добри, передайте, як шо це можно. Хорошо, шо для ней так важни советы

старших. А по всем остальным вопросам об Оксанке обращайтесь, Вася, до меня. Дочка вона всё-таки моя...

Коралов от этих последних слов будто окаменел. Он не ожидал, что мать, должно быть, давным-давно разгадала тайну его сердца. Василий растерялся, затем почему-то вытянулся и неожиданно для самого себя щелкнул каблуками:

— Обещаю!..

## Глава 2

### ПОСЛЕДНИЙ БОИ

Оксана часто читала матери вслух. Иногда перечитывала по ее просьбе уже много раз прочитанное, но чаще всего заданные уроки по литературе. Со временем Анне Евсеевне стало казаться, что вот Павка Корчагин чем-то напоминает ей младшего сына, а Вронский — сына местного фельдшера. Анна Евсеевна уже и сама могла пересказывать прочитанное, особенно «Анну Каренину» и «Вишневый сад». Потом она училась разбираться в буквах. Правда, выучить их ей так и не удалось. Сложно дается грамота в шестьдесят лет. Но буква «о», как говорила она — похожая на око, запомнилась ей сразу. Слово «Оксана» она быстро отличала в большом по размеру тексте и узнавала его среди самого мелкого шрифта. Вот и сейчас Анна Евсеевна, всматриваясь в Тонину записку, что подал ей Василий Коралов, получив от разведчика Максима Скрипко, побывавшего в тылу у немцев, сказала:

— Ось тут она пишет Оксанке, и на этой строчке Оксанке, и тут, а где же мне?

Василий и Оксана рассмеялись.

— Мапочка, ты все же ревнуешь меня к Тоне. Тут она и тебе и батьку пишет. Слушайте, я прочту: «Дорогие мои мама, папа, Оксанка! Я пока жива, что будет завтра — не знаю. Гитлеровцы каждый день убивают наших людей. Может прийти и мой черед... Эти бандиты не щадят ни одиноких матерей, ни детей, ни стариков...

Оксанка! Ты просишься на фронт. Я хочу только одного: чтобы ты жила на свете. Веришь в свои силы, иди. Но возвращайся. Ты так нужна всем нам и особенно отцу и маме. Слушайся их! Что слышно с фронта от наших парней? Сообщайте. Целую всех. Тоня».

Наступило недолгое молчание. Потом Василий сказал:

— Оксанка, я на передовую... Буду жив, здоров — вечером увидимся.

Теперь Коралову не хотелось скрывать ни перед матерью, ни перед отцом Оксаны свое расположение к их дочери. Жить, может быть, осталось считанные часы, и обманывать себя и других не было смысла.

Оксанка смутилась, опустила голову и не в силах была произнести ни слова. Но когда Коралов ушел, она с доверием приникла к матери.

— Это он просто так сказал, мамо, независимо... Он одинок очень и поэтому любит нашу семью, честное слово, только поэтому. Он хороший...

Отец и мать переглянулись.

— Может быть, и так, только почему-то он любит тебя, а не меня, — подчеркнул Павел Ильич.

— А зачем тебя?.. — удивилась Оксана. — Пускай тебя мама любит...

— А-а-а, значит, понимаешь, о какой любви идет речь. Смотри, голову сниму! Рано еще... — сказал отец каким-то надтреснутым голосом.

Анна Евсеевна в тот день до поздней ночи не ложилась спать: сидела под грушей-прищепой. Недавно прошел хороший осенний дождь, пропитал землю, омыл деревья, и ветки потянулись в небо так, как это бывает ранней весной. И земля по-светлела, заиграла черно-зелеными островками.

Одну думу думала мать: «Что же теперь будет дальше? Страшная война...»

Послышались шаги. И возле Анны Евсеевны остановилась высокая фигура учителя Николая Николаевича.

Анна Евсеевна машинально принялась поправлять седые волосы, собранные в бабью корону на затылке и немного выползшие из-под белого холщового платка. С горечью проговорила, что раннее весною высадила она шесть яворов под окнами хаты на счастье каждого из детей. Лучше всех рос явор старшего сына. Хуже — младшего, совсем плохо — среднего. То же случилось и с дочерьми. Старших двух — растут, а Оксанкин зачак на корню...

— Уже и во сне snyция, будто я теряю дочку и бильше не нахожу.

— Суеверие это, Анна Евсеевна, и только. Может быть, про-

сто земля плохая попалась под Оксанкиным явором, или само дерево хилое, — сказал Медеренко.

Разговор этот услышала Оксана, и так ей стало жалко свою старенькую мамку. И вспомнилось ей, как совсем еще недавно по вечерам на досуге садилась ее мама за чисто выскобленный стол, что стоит у летней русской печки, и рассматривала картинки в журналах и книгах. И с таким вниманием, что казалось, она видит то, что недоступно другим. Как-то она рассказывала Оксане и о своем тяжелом детстве. Еще в шесть лет осталась сиротой. Своего отца не помнит, а мать умерла от голода, разразившегося над Россией в тысяча восемьсот девяносто пятом году. До десяти лет находилась со старшими братьями и сестрами, которые и сами жили в нищете, работая у помещика. В десять лет пошла на заработки и она. Сначала уехала в Таврию, а потом ей довелось побывать в разных местах на юге Украины. Работала посудомойкой, в четырнадцать лет сеяла, пахала, убирала хлеба. «Бедная моя, старенькая мамка, — думала Оксана, — никогда бы с тобой не расставаться! И чтобы жила ты целую вечность! Красивая ты моя!»

Оксана помнила мать всегда опрятной. Больше всего любила она носить синюю юбку с голубой кофтой, белую косынку и в голубых разводах фартук. В этом скромном одеянии она казалась Оксане лучше всех на свете.

Оксана так задумалась, что не слышала продолжения разговора учителя с матерью. А потом и вовсе заснула.

\* \* \*

Осень, как и в прежние годы, была ранней. Листья все больше желтели, кусты жимолости и береста легли на землю. Птицы покидали Вишневку и улетали в теплые края. Оставались только завсегдатаи — шkodливые воробьи, которые гнездились под толстыми камышовыми накатами хат-мазанок. По утрам шла изморось. К полудню небо очищалось и проглядывало солнце, а к вечеру вновь его заволакивала однотонно-серая пелена, из-под которой, как лазутчик, выползала ночь. А тут и сон... Он врывается в каждый дом, беспокойный, тревожный... И все же за немногие отведенные ему часы успевал всех согреть и обновить.

В штабе дивизии, окружив полковника Гончарова, о чем-то долго совещались комбаты, вызванные им еще после полудня. А затем последовала команда: «Отдых всем!», разумеется, за исключением тех, кто несет службу по наряду или особым поручениям.

Шеф-повар и Султан завалились на досках под абрикосами. Девушки из санбата приткнулись кто где: Нина Зозуля улеглась на плащ-накидке под осокорником, ее подружка Светлана спала полусидя рядом с ней. Максим Скрипка, вернувшись только что из очередного задания, прилег на лавке перед штабом. Девушки-медсестры, собиравшиеся на передовую, уснули позже всех и раньше всех начали просыпаться.

— Спала-то всего один часок, а будто заново народилась, — сказала санитарка Дуся. — До чего же сон приятная штука!

— Ты, «штука», кончай свою философию. Сумка наполнена медикаментами? — оборвала подружку Рита Петрова.

— Да! Об этом я подумала еще вчера! — отчеканила Рита.

\* \* \*

Не спали в эту ночь Павел Крепин и Николай Медеренко.

— Я только что из района, — заговорил Медеренко, когда они с Крепиным расположились в шалаше. — Решено создавать у нас партизанский отряд. Хотел бы, Павел Ильич, иметь вас своим заместителем. Опыт вы имеете еще с гражданской войны. А у немцев, должно быть, сойдете за добропорядочного гражданина. По возрасту для кадровой службы в Красной Армии не подходите, значит, и ваше пребывание здесь закономерно. А мне, как бывшему парторгу, будет куда сложнее. Сразу возникнет вопрос: что он здесь делает, тридцатилетний советский учитель? Формировать отряд будем только из числа военнослужащих, которым не доведется выйти из немецкого окружения. При нынешних обстоятельствах такие будут. Местных принимать в отряд пока воздержимся. Да особенно и некого. Все на фронте, а женщины, дети и старики не для нас. Местонахождение отряда надо сугубо законспирировать. Так что вам, Павел Ильич, предстоит большая работа. Вам доведется бывать и у «них», и у нас. Мне такие вылазки надо будет осуществлять реже. Причину вы уже знаете. Короче, вы будете моим заместителем по всем вопросам, в том числе и по снабжению. Это, кстати, тоже задача нелегкая в жизни партизан. Гитлер кормить и одевать нас не станет.

— Буду стараться, — ответил Крепин и этими своими словами он сразу разрушил все сомнения Медеренко.

И дальше пошел у них чисто деловой разговор. Павел Ильич обстоятельно докладывал, что кое-что у него уже припасено: гранаты, мины, плащ-накидка, два разобранных пулемета; из одежды — три пары валенок и четыре тулупа, забытые гитле-

ровцами на переправе, две пары солдатских кирзовых сапог.

— Где же все это хранится? — не без удивления спросил Николай Николаевич.

— Зарыто у Скирдной горы. Я ведь предполагал, что у нас будет партизанский отряд.

— Для начала неплохо, — сказал Николай. — Но будем еще раздобывать. Теперь решим, где разместить штаб.

— Полагаю, в приднепровских плавнях. В районе Агатова. Самый безопасный куток: отдален, безлюден, бесконечно чашобный. Фрицы, если войдут туда, не скоро выплутают.

— Думаю, пока наши здесь, надо туда переправить снаряжение. При немцах будет труднее. Ведь расстояние от Скирдной горы до Агатова шесть километров, — сказал Медеренко.

— Сделать это пока невозможно. Там скоро начнется бой. Говорят, решающий... — вздохнул старик.

— Павел Ильич, я сейчас должен уходить. А вы переговорите с комдивом. Скажите, что на случай ранения, плена, контузий и всех прочих несчастий он и его люди могут рассчитывать на нашу помощь. Пускай только найдут возможность добраться сюда. Не будете возражать, если местом сбора будет ваша хата?

— Конечно, нет.

— Дело в том, — продолжал разъяснять Медеренко, — что хата ваша на окраине села.







Здесь, что ни куст, убежище. Скрылся за холм — и на все четыре стороны. Тут и переправа, и железнодорожный вокзал. Да и Анна Евсеевна — надежнейший человек. Я недавно наблюдал, как она обхаживала раненых: и узбека называет сыночком, и татарина, и грузина, и латыша... И всех кормит из ложечки, и всем хочет добра... Такая за счастье других будет стоять насмерть! А позавчера показал я ей две газеты: нашу и немецкую. И на той и на другой засняты военные. Ну, думаю, разберется, где наши, где немцы?

— Ну и как? — не стерпел Павел Ильич.

— Разобралась. «Вот, — говорит, — наши соколики, а це, мабуть, чужаки. Чогось не лежить у менэ до них душа...» И швырнула газету на землю. А передовую эскадрилью наших летчиков, заснятых на первой полосе, рассматривала долго и о чем-то мысленно рассуждала. А потом заключила: «Счастья и жизни вам желаю, сыночки!» Так что глаза ее читать не умеют, а душа умеет. А в жизни человеческой главное — ясновидящая душа.

Павел Крепин смотрел на Николая Медеренко, будто и впрямь что-нибудь мог рассмотреть в этой крошечной тьме. В шалаше, где они находились, никогда не бывало освещения, да хозяева и не испытывали в этом нужды. Здесь был погреб, где хранились овощи и продукты, и за ними приходила чаще всего Оксана. Она так изучила каждый уголок этого подземелья, что только в редких случаях на мгновение зажигала спичку. Правая половина шалаша всегда была заполнена сухим сеном, приготовленным в зиму для скота. Сейчас же здесь лежала только небольшая охапка — остатки от прошлой зимы, — о новом запасе Крепин не думал. Телку свою он отдал красноармейцам. Осталась одна корова Машка. И ту Крепин рассчитывал спровадить в партизанский котел, как только даст теленка. Сейчас она паслась в лесу, на привязи, чтобы немцы не забрали ее.

Крепину хотелось продолжить разговор. Но Медеренко молчал: видно, сказал все, что пока мог. И Павел Ильич не решался первый заговорить. Только одну за другой посылал в рот закрутки, наполненные домашним самосадом.

Из темноты послышался дальний треск автоматной очереди. Освещенный очередной самокруткой подбородок Николая вытянулся вперед, кругловатое, слегка скуластое лицо повернулось в сторону Крепина.

— Господину немцу не спится. Петухи еще не проснулись, а он уже строчит из пулемета. Кресты зарабатывает... Ну ничего, придут эти фюрерчики сюда, мы не поскупимся для них на

стоячие кресты... А теперь пора. Снова в район. Если у вас кто спросит обо мне, ответ таков: туберкулез, по состоянию здоровья не призван в армию. Даю уроки Оксане... ее тоже предупредите. Отныне вы «Неизвестный», я «Клим». Итак, до встречи...

Крепин снова затянулся и осветил закруткой Клима. Стоял он высокий, плечистый. Волевое лицо его показалось Крепину незнакомо красивым.

Полковник Гончаров, уже давно страдавший бессонницей, в ту ночь, отпустив комбатов и отдав команду: «Отдых всем!» — на удивление, и сам впервые крепко-накрепко уснул. Только сон был коротким. Зазвонил телефон, и дежурный спустя секунду легко потерял начальника.

— Вас, товарищ комдив!

Гончаров моментально встал, поправил по привычке на себе ремень и взял трубку из рук сержанта.

— Что? Десант? Есть! Понял! Ночью протянули понтонный мост? До самой косы? В районе Гуровки? А десант где? Близ Лозовой? Ясно, понял! Понял! Есть! Спасибо! Объявить боевую готовность! — обратился он тут же к комбату Архипову. — А вы поедете со мной, Коралов!

— Слушаюсь, товарищ комдив! — отчеканил адъютант.

Не прошло и полчаса, как начался бой.

Голубое небо после ночных сумерек обрело серебристый цвет. Снаряды густо высвечивались в утренней мгле, неслись навстречу земле и людям.

...Прошло утро, наступил полдень, приближался вечер, а бой не прекращался. Строчили непрерывно автоматные очереди, небо то и дело разрезали немецкие «мессершмитты», но, не успев развернуться вдоль линии фронта, попадали под обстрел дубновской дивизии, что находилась в селе Даньково, в шестидесяти километрах от Вишневки, и вынуждала врага повернуть обратно. И тогда весь ход боя вела уже тяжелая гончаровская артиллерия. Стонала земля. Дым и огонь смешались с клубами пыли, образуя в поднебесье оранжевые и светло-коричневые облака. Бушевал, ревел и стонал, словно живой, Днепр. Волны его ударялись о берег и вместе с галькой оставляли на берегу мертвые тела...

На второй день гитлеровцы, видно определив местонахождение

ние штаба вишневской дивизии, направили туда свой огонь.

Семья Крепиных, взяв с собой в узелок еду, пробралась на огород в окопы. Мимо них то и дело пролетали снаряды и рвались где-то рядом. Казалось, земля стонала от бесчисленного количества кровоточащих ран.

Когда обстрел несколько стих, Оксана и Анна Евсеевна направились домой, чтобы помочь армейскому повару приготовить обед и доставить на передовую.

Чернозем от снарядных взрывов превратился в пыль. Она поднималась вверх и оседала на одежду.

Около летней кухни лежали осколки. Левая ее стена превратилась в груды мусора и битого кирпича. Стол был перевернут и присыпан землей. Стены хаты перекошились, потрескались. В саду не было ни единого целехонького деревца. Обгорелые вишни лежали на земле с выкорчеванными корнями.

Но армейская кухня уцелела.

Прибыла первая машина с ранеными.

К ней подбежали все, кто был во дворе. Подошла и Оксана. Мысли были о Коралове: «Если увижу его раненым, не выдержу, заплачу. И тогда... всем-всем станет ясно. Ну и пусть... Только бы он был жив...»

Но первым Оксана увидела комбата Архипова.

— Что с вами? — вскрикнула девушка.

— Голова и вот нога. Черт побери. А ты Ваську встречаешь?

— Нет, нет, — смутилась девушка. А потом осмелела: — А вы ничего о нем не знаете?

— Когда меня увозили, слышал его голос. Жив еще... Ну, а в каком он состоянии, это уже не так важно. Главное — голова пока на плечах...

— На носилки, — обращаясь к Архипову, приказал командовавший санитарями и ранеными хирург Пелехов.

— Некогда, Валерка, разлеживаться. Ты давай меня малость подремонтируй, и я снова туда...

— А это посмотрим. Тут ты не командир. А медицина не сердце девичье — на уговоры не поддается...

— Я не собираюсь медицину уговаривать.

— Ладно-ладно... Скажи-ка лучше, убитых много?

— Около тридцати человек. Так что со мной? — спросил Архипов, когда Пелехов осмотрел его.

— Легкое сотрясение и вывих ноги. Постельный режим.

— Да ты что?

Но капитан медицинской службы Пелехов действительно имел не девичье сердце. Он приказал комбату Архипову лечь

на свободном топчане в палатке, что служила полевым госпиталем.

Архипов до больничной койки не дошел. Его внимание привлекла машина, на которую устанавливали бачки с едой, и он направился к ней.

— Меня захвати, — подмигнул Архипов шоферу. — Только врачу ни гугу, — погрозил он пальцем.

Шофер попытался возражать, но комбат уже уселся в кабине. В кузове пристроились трое: шеф-повар, Султан и Оксана. Они в три захода будут кормить фронтовиков.

...Весть о том, что комбат снова вернулся в строй, тотчас облетела весь батальон.

— Как? Его же увезли в санчасть в бессознательном состоянии, — удивился Иван Карасев.

— Да небось сбежал из лазарета. Это он уж не первый раз. Я его знаю, — засмеялся Костя Лазаренко. — Ну, фюрерчики, коль бог нашей артиллерии здесь, ползать всем вам на дне Днепра! Это уж наверняка.

Архипов остановился на бугорке и посмотрел в полевой бинокль. На той стороне, захваченной гитлеровцами, ясно просматривался весь ближний горизонт: здание бывшей пристани, карьер, глиняные хатенки, разделенные стежками-улочками. По этим улочкам метались люди. Они напоминали зеленых гусениц, переползавших с места на место. Все чаще в районе каменного карьера вспыхивали фонарики. По гулу мотоциклов и сигналам автомашин можно было предположить, что вся эта зеленая саранча движется к понтонному мосту в район Гуровки. Гитлеровцы решили форсировать Днепр. И Архипов подумал: «Только вчера были начисто уничтожены все гитлеровские коммуникации не только в Гуровке, но и в Днепрогорске, согласно данным разведчика Максима Скрипко, и снова их на берегу не меньше, чем гальки».

Началась перекличка между связистами. Замерли команды батарей, всматриваясь в синеватый блеск Днепра. Ждали приказа наводчики.

Послышался тихий плеск воды, словно захлопали крылья парохода. Шум то усиливался, то обрывался.

Архипов скомандовал:

— Осветить ракетой берег противника!

Мгновение — и красная ракета улетела в небо. Все увидели, что около ста немецких шлюпок дружным маршем приближались к косе. По понтонному мосту вереницею брели автоматчики.

— Батареи! Взять цель! — скомандовал Архипов.

Цель была взята тут же. Снаряды нарушили строй шлюпок. Те переворачивались, разрывались, и на их месте в небо поднимались фонтаны воды...

Тем временем немецкие автоматчики пытались защитить своих первопроходцев.

Архипов занял место убитого наводчика на третьей батарее. Взмокшая гимнастерка сковывала тело. Он расстегнул ворот, отпустил ремень. Майор давал наводку снарядам третьей батареи и командовал другими. Немцы повернули обратно. К противоположному берегу причалило всего две шлюпки.

— Отлично, майор Архипов. Великолепно вели бой, — сказал Гончаров, неожиданно появившийся из-за перелеска.

Архипов вытянулся, застегнул ворот, поправил пояс.

— Только вот не знаю, что с вами делать. За бегство из госпиталя Пелехов требует вас наказать! Как вы на это смотрите?

— Это как вы скажете. Да ведь только чуяло мое сердце, товарищ комдив, что долечит меня этот бой.

— Ну что ж, пока ограничимся тем, что уложим вас в госпиталь, а следующий раз накажем. В целом же благодарю, товарищи, за отличный бой.

Архипов и Гончаров направились к батарее Лазаренко и Карасева. Там в окружении бойцов стояла Оксана и, поправляя растрепанные волосы, говорила:

— Мы привезли сюда обед, а вернуться домой не успели. В машину угодил снаряд. Мы с Султаном остались здесь, чтобы помочь санитарам подбирать раненых. И подбирали. А потом как-то растерялись. Вдруг разорвался снаряд, и кто-то очень застонал. Я кинулась туда, а там Султан — мертвый, — Оксана заплакала. Затем неожиданно выпрямилась: — Дайте снаряд, я тоже буду бить фашистов!

— С ним, со снарядом-то, поначалу надо уметь обращаться, — сказал кто-то тихо.

— Ну и учите обращаться. Я скоро научусь стрелять. Вот увидите!

К Оксане подошел Гончаров и взял ее за плечики.

— Ты еще будешь стрелять и сможешь отомстить фашистам за Султана, — сказал он. — А сейчас бой прекратился. И лучше нам с тобой поехать домой.

Как только шофер Гончарова подал «газик», комдив усадил сникшую Оксану, приказал садиться Архипову, и машина двинулась в штаб.

### ВАСИЛИЙ КОРАЛОВ

На тачанке сидело четверо: два солдата, Коралов и Оксана. Девушка подсказывала кратчайший путь к Данькову, куда они сейчас ехали.

Пока мужчины вели беседу, Оксана думала о своем. О том, что скоро Василий уйдет из ее жизни... Не по их воле, а силою обстоятельств... Ну, а если бы не было этих обстоятельств? Не было войны?.. Кто он ей? Ответить себе на этот вопрос Оксана так и не могла. Только в одном она уверилась — что разлука с ним принесет ей страдания.

Родители наотрез отказались дать согласие, чтобы она ушла на фронт.

«Какой с нее воин, — говорил отец Василию, — да и нет гарантии, что дивизия прорвется. Так не лучше ли Оксане остаться здесь, нежели сразу очутиться в плену».

Тачанка поскрипывала на шляху. Все молчали. Оксана будто невзначай обернулась, да так и застыла: Василий был настолько красив, что девушка на какое-то мгновение почувствовала его для себя совсем далеким и чужим. Не тем Кораловым, которого она видела каждый день. Хотя Коралов часто казался ей человеком суровым. Но только казался. Стоило увидеть смеющиеся его глаза, заговорить с ним, и суровости как не бывало. Из-за порывистых движений его темно-каштановая шевелюра обычно свисала на правый висок и придавала ему совсем мальчишеский вид. Да и действительно он был еще совсем молод. Несколько раз Оксана видела, как Василий просил кого-нибудь из парней вырить ему ямку на подбородке, которая, видно, нравилась ему самому. Но без чьей-либо помощи он частенько резался и тогда злился, что она у него есть.

Оксана, вспомнив это, еще раз посмотрела на Коралова. Он сидел как отлитый из бронзы. Но, уловив взгляд девушки, подался вперед, схватился за подбородок, прикрывая порез...

Коралов подозревал, что на душе у девушки было тревожно, и не знал, чем развеять ее тревогу. Он накрыл своей ладонью пальцы Оксаны, и та впервые не убрала свою руку и робко взглянула на Василия... У штаба Оксана и Василий слезли, а тачанка покатила дальше. По распоряжению Дубнова, командира дивизии в Данькове, Коралов получил две лошади. Выяснилось, что тачанки лишней у Дубнова нет и ехать придется

верхом. Василий стал уговаривать Оксану остаться до следующего дня.

— Да чего вы испугались-то? Меня тату во какую маленькую к коню приучил.

Оксана застегнула жакетку с плюшевым воротничком, закинула за плечи косы.

— Какая моя? — спросила она лихо.

— Любая, — покорно предложил Коралов. — Говорят, они обе смиренные.

Оксана выбрала золотисто-рыжую, ловко вскочила, поправила платье и прихлопнула ногами. Лошадь действительно оказалась послушной.

Конь Василия, наоборот, то и дело становился на дыбы или греб передними копытами землю. Сопел и фырчал. Оксана даже засомневалась: справится ли Василий со своим необъезженным рысаком? Но прошло немного времени, и конь подчинился воле хозяина. Оксана могла убедиться, что, видать, не зря Василия называют в штабе лучшим наездником.

Тропинки пересекали дорожки, дорожки — стежки, стежки — шелеговые побег, терялись между канав и кучегур и снова стекались к широкому песчаному шляху.

Вдали от плавней виднелся нарядный уголок вербейника, а за ним поросшее мхом болото. Чуть поодаль слева приютились шесть хаток, отчего это селение издавна звалось Шестихатками. Здесь всегда было безлюдно и тихо.

Проплыли шестихатские дворики, изгороди, стога сена.

Василий потянул за узду ушедшего вперед Рысака. Тот, почуввав приближение Игривой, напряг шею, дрогнул и опять взметнулся в воздух вместе с Кораловым. Василий сердито зажал узду Рысака, затем изо всех сил ударил шпорами по бокам. Лошади поравнялись.

Василий робко взял Оксану за руку и потянул ее к себе. Но девушка рывком подалась назад и затараторила:

— Ой, тише! Игривой же неудобно идти. Вы тянете, а она бьет меня за это хвостом по спине.

Посмеялись.

— Оксанка, расскажи что-нибудь о своей жизни.

— Зараз, — ухватилась за предложенную мысль Оксанка. — Так вот. Братишка учился в Днепропетровске в техникуме, где живет сейчас моя сестренка Тоня. Только там тогда немцев не было. Уяснили?

— Уяснил.

— Приехал он однажды и стал проверять мой «Самоконт-

роль». Это такая тетрадка у меня была, вроде дневника. На одной страничке писала я все, что сделала хорошего за день, на другой — все, что сделала плохого, не специально, конечно, а уж как случилось.

Андрусь тогда рассердился на меня. Говорит: живешь как аристократка. Мол, одиннадцать лет уже, а пользы от тебя людям мало. Утро началось с того, что он разбудил меня в пять часов и сказал: «Положено спать восемь часов, ты спала девять. Записывай в «Самоконтроль»: «Поленилась встать вовремя!» Я сопротивлялась, а он и это посчитал за нарушение... Потом заставил истопить печку. И все останавливал меня, чтобы не шумела и не будила маму. А я за что ни возьмусь, все из рук валится: и нож, и картофелина, и даже кочерга. А вдобавок в суматохе и ногой встала в наполненный доверху помойный тазик... Ох и было мне тогда от него...

Коралов рассмеялся, и Оксана тоже. И уже совсем весело рассказала, как Андрусь в то же утро заставил ее доить корову. А росточком тогда она была маленькая, и вместо ведра брат дал ей кастрюлю.

— Молоко из доек никак не попадало в кастрюлю — все мимо. А над потолком в будке был куриный насест. Как разглядел петух оттуда молочные брызги, принялся созывать кур. Собралось их десятка три вокруг меня, видно, почудилось им, что я пшеном посыпаю. Кокочут все в один голос и зерна ищут на земле, а там ничего нету. А Андрусь и говорит: «Доишь ты корову так, что даже куры смеются...» В общем, молока действительно попало в кастрюлю мало...

Коралов поинтересовался:

— И все это ты потом записала в свою тетрадку?

— А как же?

— А чья это затея с «Самоконтролем»?

— Его же, Андруся. Тогда я на него сердилась, а сейчас я ему благодарна. Он ко многому хорошему меня приучил, а от плохого отучил.

Оксана замолчала. Молчал и Коралов. Девушке даже показалось, что Василий под впечатлением всего рассказанного о чем-то призадумался. Может быть, мысленно сравнивал ее с городскими девушками. Она и сама посмотрела на себя со стороны: в простенькой жакетке, в поношенных башмаках, на руках ссадины от работы, лицо обветренное, в веснушках...

И не догадывалась она о том, что именно это вызывало в Коралове нежность к ней. Вот и сейчас он посмотрел на Оксану



так преданно, что она без смущения первый раз подарила ему ответный взгляд. И Василий робко сказал:

— Сейчас война — страшное время, и погода осенняя, а мне кажется — весна... Это потому, что ты со мной рядом, девочка. Храни нашу весну, когда я уеду. Хорошо?

Оксана смущенно кивнула головой.

— Мы подъезжаем, Оксанка, — опять сказал Василий, — остановись на минуточку. Возможно, другого такого случая в нашей жизни скоро не будет. Вот что я хотел тебе сказать... Я... теперь еще сильнее буду драться с гитлеровцами за тебя. А выгоним — вернусь, найду тебя, и тогда...

Рысак поднял морду и ревниво глянул на Коралова. Оксана лукаво засмеялась:

— Он подслушивает...

Коралов улыбнулся, и тогда они оба, счастливые, невольно начали гладить, тормошить и запутывать гривы своих лошадей.

Первым их увидел Гончаров.

— Вы посмотрите на этого бравого солдата, — кивнул он на Оксану.

— Да-а! — воскликнул Костя Лазаренко. — Недурно...

На пороге хаты показалась подружка Оксаны Нина Склярская, за ней Крепин.

— Сегодня комсомольское собрание, Оксанка. Хочешь, пожду тебя? — сказала Нина.

— Да, да, Нинок. Я сейчас, — обрадовалась Оксана.

Крепин ничего дочери не сказал, но посмотрел строгим, наспуленным взглядом на нее и на Коралова...

\* \* \*

В красном уголке средней Вишневской школы было совсем тихо, когда Оксана и Нина уселись в последнем ряду. Оксана обратила внимание, что в зале были в основном одни девчонки. Парни, которым было за семнадцать, все ушли на фронт. Помладше уехали рыть окопы и противотанковые рвы.

Секретаря комсомольской организации, выбывшего на фронт, замещала член бюро Валя Орленко — двадцатилетняя смуглолицая, голубоглазая девушка. Она встала за столом и, окинув присутствующих взглядом, сказала:

— Вы еще совсем девочки, и мне трудно с вами говорить о подпольной работе в тылу врага. Трудно, потому что для этого надо быть человеком взрослым и подготовленным к этой работе. Но мы поклянемся, что не забудем Родину, что бы с нами

ни случилось! Поклянемся помогать друг другу, хранить тайну о наших людях: коммунистах, фронтовиках и патриотах! Поклянемся везде и во всем мстить врагу, чтобы приблизить час возвращения наших! Победа будет за нами!

Все встали, и, как по команде, раздалось «Клянемся!». Это прозвучало так громко, будто раздвинулись стены.

Валя продолжала:

— Сейчас проведете наблюдение за светомаскировкой. Кроме того, завтра в восемь утра соберемся у сельсовета. Пойдем на колхозные поля копать картофель. Ты, Оксана, поскольку выполняешь писарскую и другие работы при штабе, освобождаешься от уборки. Что касается светомаскировки — эта обязанность с тебя не снимается, особенно в хатах, что расположены вблизи штаба.

Дороги и улочки от центра вели к поселкам и хуторкам, окружавшим Вишневку. Валя Орленко, Оксана, Нина Склярская да еще Мария Кондратенко и Марьяна Прочно шли молча, пока Оксана не увидела на спуске шляха какую-то бумажку, развернула ее и с презрением показала подругам:

— Нацистская стряпня. Зря стараются...

— Что ты понимаешь! — оборвала ее Марьяна.

— Думаешь, что ты больше понимаешь? — вмешалась Валя. — Правду говорит Оксана, не такие у нас люди, чтобы кинуться на фашистскую провокацию.

Марьяна смолчала. А Валя взяла из рук Оксаны листовку, разорвала на мельчайшие кусочки и бросила. Валя невольно потянулась к Оксане, которая и раньше ей нравилась. По натуре она была боевая и решительная, вела же себя стесненно, скромно, очень серьезно относилась к учебе.

Сквозь толщу облаков едва пробивался лунный свет. Через окна нигде не проникали огоньки, и казалось, что жизни в этой деревне нет. Если бы не лай собак, весь этот клочок земли напоминал бы необитаемый остров. Девушки шли и шли. Они как бы совершали свой последний комсомольский рейд по родной деревне. Завтра сюда придут немцы, и кто знает, как сложится дальше их жизнь... А эвакуироваться некуда. Как-то случилось, что гитлеровская армия в одну неделю охватила кольцом всю Петровскую область.

Вдоль шляха угадывались шелюговые заросли, а между ними, словно сторожевые, колыхались вербы.

— «Ой, ты, Галю...» — тихо запела Нина.

— Не надо, — остановили ее подруги.

— Не надо, так не надо, — согласилась Нина, но тотчас

заговорила, мешая в своей речи украинские и русские слова: — Дивчата, як я гляжу на це небо, таке блескуче днем и таке чорне, як океан, ночью, иногда вспыхнет такая любовь до всего, що нет сил удержаться. Потом ця любовь переходит в жалость. Що со мной происходит, подружки?

Нина обняла Оксану и склонила голову на ее плечо.

— Со мной тоже бывает такое иногда, — поддержала ее Мария.

Нина все-таки не выдержала грустного тона, выбежала вперед и ударила гопака. А заметив на шляху белевшую астру, ловко воткнула ее себе в волосы:

— Идет?

— Очень, — подхватила Валя. — Правда, девчата?

Все, кроме Марьяны, согласно закивали. Запрокинув голову, Марьяна шла в стороне, ни с кем не разговаривая.

Нина снова запела:

— «Посияла огирочки близько над водою...»

Но и на этот раз Нину никто не поддержал. А ведь как они пели еще совсем недавно. Бывало, гурьбой ходили в дальние походы, в летнюю жарынь бродили среди зарослей верб, а на рассвете любили смотреть на утонувшую в тумане, сырую землю, пахнущую корнями увядших цветов...

Вскоре девчата разошлись по домам.





## Глава 4

### ЗАПАДНЯ

Осенняя изморось продолжалась уже вторые сутки.

Круглый, невысокий военный, откозыряв майору Архипову, быстро прошел во двор штаба дивизии.

— Мне комдива, — требовательно проронил он, остановившись рядом с патрульным. — Из штаба армии. — И подал свернутую вчетверо бумажку.

— Сюда, направо, — торопливо ответил старшина, как только взглянул в бумажку. Вытянув руки по швам, он указал головой на окно, где, по его предположениям, должен быть Гончаров.

Но комдива у себя не было. Он сегодня проснулся рано, хотя был крайне переутомлен. Чуть намечавшаяся ранее морщина через всю правую щеку в это утро пролегла еще глубже, и ее можно было принять за шрам.

Хмурое, туманное утро медленно сходило с полей. Запахи гари бередили ноздри, кукурузная ботва упиралась в набрякшие дождевые облака.

На улицу Гончаров вышел без фуражки. Ненастное утро напоминало вчерашние похороны на братском кладбище. В последний путь проводили и комиссара зенитной артиллерии, и командира танка, и наводчика батареи, и солдата Султана. Гончаров решил обойти все санбатовские палатки, чтобы узнать о состоянии раненных в этом последнем горячем бою.

Хозяйский пес Амур завертел хвостом, юля у ног Гончарова.

— Ну что, рыжий? Что-то, брат, ты не стал узнавать своих. Вчера обляял колеса моей «эмки».

Красно-желтая шерсть пса замельтешила перед глазами комдива.

Не успел Гончаров опомниться, как Амур уже повис у него на плечах и старательно лизнул в губы...

— Э-ге-ге-е, — сплюнул комдив и засмеялся. — Это не по-джентльменски...

Амур опустил на землю и застыл, в упор глядя на Гончарова.

— Ясно, ясно, значит, смеешься... Надо мной смеешься, что удалось тебе то, чего хотел.

Пелехов вышел на голос командира.

— Что? Не спится? — спросил врач.

— Да. С тех пор как началась война, катастрофически страдаю бессонницей. Кстати, я шел в санчасть. Как больные?

— Поправляются. А бессонница от переутомления, товарищ комдив.

— Может, и так, медицина, — медленно произнес Гончаров.

— Товарищ полковник, — продолжал сердито Пелехов. — Я вот все думаю, почему в западне оказалась наша дивизия? Кто виноват в этом? Ведь мы стояли насмерть! И нашу линию обороны гитлеровцы прорвать не смогли. А если было бы так на всем левом побережье Днепра? Немцы, по крайней мере, не были бы сейчас в Харькове, а мы бы не оказались в мешке.

— Может, и так, — снова медленно проговорил Гончаров.

Он ничего не ответил Пелехову, но сам думал о том же и когда обходил в это утро больных и раненых, и когда проходил мимо братского свежего кладбища.

Товарищ из штаба армии Степан Михайлов оказался давним знакомым Гончарова по гарнизону. Поэтому-то, прочитав приказ немедленно отступить и за Харьковом соединиться с войсками Красной Армии, комдив с болью произнес:

— Степа, дорогой, почему же такой приказ ты не привез пару недель назад. Там что, забыли обо мне и Дубнове?

— Просто шли кровопролитные бои. Связи не было. А вас поджидали со дня на день... Меня сюда самолетом забросили.

Гончаров молчал. А спустя минуту проронил:

— Значит, ты тоже с нами?..

— Да.

Гончаров тут же связался с Дубновым.

Распоряжение о немедленной подготовке к передислокации вмиг разлетелось по всем полкам. Местом сбора назначалась поляна с шелюговыми насаждениями близ штаба. Сюда постепенно подтягивали пушки, танки, машины с прицепами, на которые укладывалось все интендантское имущество. Штабные документы упаковывали в ящики и доставляли к броневнику.

Небольшой запас нехитрых армейских харчей был почти весь израсходован, и оставшийся мешок крупы, из которой повар уже четвертый день к ужину закручивал мамалыгу, решили также упрятать в надежное место: в тот же броневик, под брезент, чтобы не отсырела. Для больных выделили машины.

В доме Крепиных царила тревожная суеда. И никто не заметил, когда пришел Медеренко.

Как только Гончаров вышел на улицу, Крепин и Медеренко, стоявшие под грушей-прищепой, подозвали его к себе.

— Товарищ комдив! — начал учитель. — Прорвать кольцо без потерь, конечно, вам не удастся. Может...

— Мы должны прорваться! — отрубил Гончаров.

— Ну, а если все-таки не удастся? — продолжал Медеренко. — Ваши люди должны знать, что они могут вернуться сюда и влиться в наш отряд. Разрешите побеседовать об этом с вашими людьми?

— Не разрешаю! — отчеканил Гончаров. — В данной обстановке могут найтись такие, что пойдут по линии наименьшего сопротивления, захотят сразу остаться здесь, нежели вернуться сюда продырявленными. Но от нас требуется другое: соединиться с частями Красной Армии путем прорыва линии обороны противника! А уж как все это получится — покажут обстоятельства...

— Вы неправильно поняли, — возразил Медеренко. — Речь идет о людях, которым будет грозить плен или по состоянию здоровья они не смогут прорваться к нашим.

— Во всяком случае, открыто обсуждать ваше предложение не разрешаю. Поговорите с комбатами, с каждым в отдельности, чтобы они — только в критический момент — могли сказать это своим людям... и там, а не здесь, — показал Гончаров наугад в сторону Харькова.







Комдив ушел. Медеренко и Крепин, посоветовавшись, решили действовать поодиночке.

Когда Крепин попытался продолжить с комбатом Архиповым начатый с Гончаровым разговор, тот неопределенно двинул плечами, а потом пожал Крепину руку. Может быть, не само предложение растрогало майора, а то, что этот старик, изборожденный морщинами — свидетельствами его нелегкой жизни, — не хочет оставаться не у дел, твердо намерен драться с фашистами. Но неверно было бы думать, что не обрадовала Архипова появившаяся возможность действовать на случай неудачного прорыва.

Архипов с самого начала войны твердо решил: живым ни за что не достанется гитлеровцам. Но уже трижды случилось так, что в беспамятстве он был на грани плена, ибо и последнюю пулю расходовал на врага.

— Людей предупрежу и сам буду иметь в виду, — сказал Архипов Крепину. — Но что вы с нами будете делать, если вернемся к вам тяжелоранеными?

— Выходим, — ответил Павел Ильич.

Медеренко говорил только с теми, кого знал и кому верил, что раньше времени не воспользуются его предложением. Все, с кем говорил Медеренко, хотели драться открыто, беспощадно и дерзко. Но они понимали, что надо быть готовым к любому виду борьбы с гитлеровцами.

День проходил в шуме и хлопотах. Анна Евсеевна несколько раз принималась плакать, хлопоча у Оксаниного явора, который до сих пор так и не принял. Потом шла в хату, брала сыновние письма и потихоньку оплакивала их.

Думы о сыновьях сменялись тревогой об Оксане. Только вчера младшая опять просилась на фронт. Так и слышит Анна Евсеевна слова дочки: «Мама! Мы не эвакуировались потому, что поверили, будто немцев тут не будет. А ведь они придут сюда уже завтра... Я боюсь здесь оставаться!.. Отпусти меня с Гончаровым, мамочка, слышишь? Отпусти...» И мать не знала, как поступить ей.

Анна Евсеевна вспоминала и письмо, с которым Оксана обращалась к Тоне: «...Мама говорит, что я еще ребенок... О фронте и думать не должна, а ведь я уже взрослая. Разубеди ее в этом. Разубеди в этом и нашего отца...» «Судя по всему, Оксана рассчитывает, что, если соглашусь я, согласится и отец. Выходит, дело за мной. О бог мой! Так как же мне поступить?» — думы эти измучили мать.

А Оксана в этот день штопала, гладила, пришивала пугови-

цы на гимнастерках. А потом по просьбе Архипова переписала новый список его батальона. И для комиссара сделала перепись погибших на этом участке фронта.

Так и провела весь день в суете и заботах.

И ночь пролетела быстро, будто ее и не было.

Утром Оксана надела на себя две пары белья, а также свое лучшее клетчатое платье. Причесалась гладко, как, бывало, ее старшая сестра Тоня, и так же, как та, собрала на затылке в пучок волосы, отчего стала старше. Набросила на плечи жакетку и, взяв в руки цветастую косынку, вышла на улицу.

Гончаровцы и дубновцы были уже на месте сбора. Комдивы стояли близ санчасти и о чем-то договаривались. Возле Гончарова крутился Амур. Гончаров гладил его по длинной шее. А пес поднимал морду и выл, выл так жутко, что у Дубнова навернулись слезы. Вишневецкие, пришедшие проводить своих сынов-воинов, плакали не стесняясь... Гончаров разглядел, что и у пса от глаз пролегли мокрые дорожки.

Анна Евсеевна подняла с земли поводок. Один конец соединила с колышком шелюговой изгороди, другой повязала на шею пса.

Гончаров курил папиросу за папиросой, старался держаться бодро. Он уже по-настоящему осознал, что они не просто в окружении, а в далеком вражеском тылу. И пока не представлял, где именно нужно будет разорвать это злосчастное кольцо, в котором они очутились.

Комиссар дивизии доложил Гончарову, что все к походу готовы, и попросил разрешения головной колонне двинуться в путь.

Оксана стояла рядом с Кораловым. Оба молчали. Говорить не хотелось. Разлука страшила обоих. Как удержать счастье? Как пронести его по этому страшному отрезку жизни и вернуть его вновь друг другу?..

Гончаров поклонился старикам Крепиным и дал команду трогаться в путь.

— Буду жив — непременно вернусь! — твердо сказал Василий на прощание Оксане и ее родителям.

Вишневецкие неровным строем двинулись вслед за пушками и уезжавшими красноармейцами. Среди провожающих были и Крепины, и дед Григорий. Маленькие дети бежали за повозками, не понимая, что происходит, и кричали: «Дядечки, приезжайте еще в гости».

Оксана решила не возвращаться домой. Вот так, прямо отсюда, она уйдет с армией Гончарова, чем бы все это ни кон-

чилось. Вдруг она почувствовала на себе взгляд матери. «Должно быть, наблюдает за мной», — подумала Оксана. Посмотрела вокруг: отца рядом не оказалось. Девушка решительнее пошла вперед. Все быстрее и быстрее. На том перекрестке, где когда-то играла в камешки, на мгновение остановилась, оглянулась и сорвала полевой цветок близ насыпи, где раздала воду беженцам... Так она молча простилась со своими родными местами, догнала пехотинцев и широким мужским шагом пошла рядом с ними. Те ободрились: девушка, видать, всерьез настроилась их провожать. Никто не знал, что в душе она уже была бойцом.

Позади оставались тяжелые песчаные и глиняные километры. Сначала пять, затем десять, затем пятнадцать... У сада Тельмана на девятнадцатом километре был первый привал.

Здесь-то и нагнал дочь Крепин. Вначале ее приметил Амур. И не успела Оксана сообразить, в чем дело, как увидела верхом на лошади отца.

Оксану охватила оторопь. Поджав под себя ноги, она, прислонясь к старому дубу, присела и виновато смотрела в землю.

Крепин был зол голько с виду. Его измученное лицо сразу подобрело, когда он увидел на лице Оксаны просившую пощады улыбку.

— На фронт задумала бежать? — тихо сказал Крепин. — Прокую-то там от тебя никакого. Только обуза. А здесь ты будешь нужна!

Видя молчаливое сопротивление дочери, Крепин решился сказать более определенно.

— Тут тоже будут наши, и работа такая же, как на фронте. Отряд организуем, слышишь?

Оксана пристально посмотрела на отца.

Когда после отдыха на привале колонны военных снова заполнили шоссе, Крепин и дочь долго еще стояли, глядя им вслед, потом в сопровождении Амура двинулись домой. Конь, на котором приехал Крепин, был не из ретивых: пройдя в один конец восемнадцать километров, он совсем охромел, и Крепин едва волок его за собой.

«Карабин, зольдат, большавик... шнель, шнель! Ахтунг, зобака... партизан, офицер, гераус...» Оксана сердито сжала в кулак одеяло, намереваясь отделаться от какого-то неприятного, назойливого сна. Но, проснувшись, поняла, что это не сон, а страшная явь. Ставни окон были полуприкрыты. Заметив на

столе стеклянную банку с молоком и лепешкой, догадалась, что утро и уже мать побывала у Скирдной горы, где ночевала на привязи Машка. А сейчас наверняка у старшей дочери Тони... Несколько недель их разделял фронт. Теперь они на одной земле, под сапогом оккупантов. Разве выдержит мать, не повидав дочь?

Оксана услышала лай Амура, бросилась к окну и увидела, как две огромные серые овчарки набрасывались на собаку. Гитлеровцы науськивали своих псов и выкрикивали: «Большевик!» Девушка кинулась в сени. Но только высунула голову через приоткрытую дверь и попятилась назад. А через окно увидела, как Амур рычал и кидался на гитлеровцев, пока один из них не выстрелил в него. Пес взвыл и, волоча заднюю ногу, полпелся в курень.

Двор Крепиных оцепили эсэсовцы. Они, видимо, уже знали, что здесь был штаб дивизии Красной Армии, и по горячим следам решили проделать «железный» обыск, как выразился переводчик, у которого девушка попыталась узнать, чего хотят немцы. Переводчиком был учитель немецкого языка, который преподавал в старших классах, а накануне войны выехал из Вишневки и поселился на железнодорожном полустанке Оховцево.

Все в доме было перевернуто. На чердаке переводчик Марфушкин нашел припрятанный за дымоходом небольшой сундук, в котором хранились два отреза, костюм Крепина и одежда сыновей. Все это гитлеровцы уложили в кошелку, которую прихватили в кладовке. Когда Оксана попыталась вынуть оттуда свою цветастую косынку, подарок от старшего брата, первым ударил ее по лицу Марфушкин. Затем толкнул напомаженный гитлеровец. Девушка упала. Третий удар — сапогом по плечу, четвертый — прикладом по спине... И тут в хату ворвался еще один немец и выпалил: «Карабин!» Он показал на клуню.

Оксана была потрясена. Она даже не поверила в услышанное. «Откуда оружие? Не могло этого быть. Отец сам осматривал каждый угол, чтобы случайно не оказаться виновными, ведь здесь стояла целая армия, и разве уследишь, где кто что оставил или просто-напросто забыл...»

И все же в закутке в погребе действительно оказалось оружие — разбитый автомат. Его, конечно, не видели ни Павел Ильич, ни Анна Евсеевна, ни Оксана.

Оксана плакала и говорила, что ни она, ни отец, ни мать не знали об этом автомате и что никто из них и пользоваться им не умеет. Марфушкин не переводил этого гитлеровцам, а

снова и снова бил ее по лицу. Наконец, забрав все ценное в доме, грабители ушли.

А тем временем Крепин на самодельной повозке с упряжкой для одной коровы перевозил к Агатову оружие, припрятанное у Скирдной горы для партизан.

## Глава 5

### ФРИЦ РАУШЕ

Два мальчугана, заметив оккупантов, юркнули в заросли камыша. Гитлеровцы, увидев их, закричали:

— Рус! Айда суда, ходи суда!

Ребята кинулись наперегонки прочь.

— Хальт! Хальт! Стрелять бдемо! Бдем... — закричал один из них. Второй взял наизготовку пистолет.

Мальчишки остановились. Гитлеровцы приблизились к ним. Они что-то неистово вопили. Затем смуглолицый и сутулый неожиданно понизил тон и заговорил почти ласково, показывая на огромную глазастую лягушку, застывшую рядом на бугорке. Другой, такой же смуглолицый, но стройный, посмотрел на ребят, на деревья и закричал:

— Шечь! Шечь!

Ребята поняли: надо разжечь костер.

Несмотря на то, что они направились к зарослям и вскоре вернулись с охапками камыша.

Сутулый кинул на землю коробок спичек. А когда в воздухе заиграли сполохи красно-синего огня, он что-то снова рявкнул. И ребята поняли: это была команда снова отправиться за камышом.

Когда мальчишки возвратились обратно, гитлеровцы уже сидели на разостланной плащ-накидке, поджав под себя ноги. Они о чем-то оживленно спорили. Стройный то и дело произносил: «Италине». И ребята догадались: это были итальянцы. Они и правда отличались от тех, которые, оставив мотоциклы под дубом, пошли к конторе сельпо. Те были светловолосые, а эти черные. Но как бы там ни было, и те, немцы, и эти, итальянцы, служили Гитлеру, и поэтому все их называли «гитлеровцами». Так их называли между собой и мальчуганы.

На земле около итальянцев лежал кусок пергаментной бумаги, а на нем запеченные лягушечьи ножки.

Белобрысый мальчуган так и ахнул. Он схватил за локоть своего веснушчатого дружка, и оба они, недоумевая, дружно шмыгнули носами. И уж совсем удивились, когда итальянцы стали заглатывать их одну за другой, почти не пережевывая.

Мальчишки, заметив, что гитлеровцы не смотрят на них, понеслись в разные стороны по домам.

В центре Вишневки в приземистой сельской хате издавна помещалась контора сельпо. В левой половине размещалась бухгалтерия, в другой правление. Хата эта была крыта соломой, а по краям — камышом с круговым козырьком, который служил ловким убежищем для воробьев. Окна по форме продолговатые, небольшие.

Во дворе бывшего сельпо теперь хозяйничали гитлеровцы. Столы и стулья они вышвырнули на улицу. Взамен им доставили из области полированный стол, шкаф, диван, стулья и два мягких кресла.

В Вишневке люди жили в хатах-мазанках. Земляной пол для крепости покрывали глиной. Летом его выстилали свежим разнотравьем, а в зимнее время соломой, сеном или домоткаными дорожками. Кроме русской печки, в каждом доме имелась лежанка или плита-мазанка с двумя конфорками, где можно готовить обед, жарить и парить.

И вот стояла теперь посреди такого сельского двора привезенная гитлеровцами новая мебель, привлекая внимание селян, которые, проходя мимо, останавливались здесь просто из любопытства. Семидесятилетний дед Григорий, прослышав про такое, тоже рискнул расстаться с печкой, на которой просидел безвылазно более трех лет. Жил он в шести дворах от сельпо. С трудом, но все же одолел он это расстояние, чтобы посмотреть, как будет «входить на престол» в его родной Вишневке приходец из другой страны.

Ведь это он, дед Григорий, со своими сверстниками строил молодую Страну Советов. Это он выступал на митингах против помещиков, боролся за народную власть и равноправие... Сразу же после гражданской войны Грицько выстроил себе хатенку и разделил ее на две половины: кухню и гостиную, которую в деревне называли залой. В зале, убранной по всем правилам и обычаям, соблюдавшимся на Украине, собирались гости.

Вскоре Грицько обзавелся семьей, стал активным колхозником...

В его хате на самом почетном месте висел портрет Михаила Ивановича Калинина. Портрет был обрамлен наилучшим в доме холщовым рушником: с кисточками и кружевами, вы-

шит красочным орнаментом — полевые гвоздики посреди колосьев. Рядом с портретом Калинина предназначалось место для особо отличившихся детей в семье. Но так как у Грицько родился всего-навсего один-единственный сын, то это почетное место впоследствии и досталось ему, Федору, погибшему на финской войне.

Над портретом сына висел другой рушник: льняной, без кружев и кисточек, вышитый менее красочными нитками, чем тот, что висел над портретом всесоюзного старосты. Узор на нем был по-своему замысловат: прямые, широкие, с синими и зелеными окошками дорожки растекались по всему полотну.

В хате у деда Григория стояли сундук, стол, несколько стульев. Имелась в доме длинная запасная скамейка на случай прихода гостей.

В тот день, когда гитлеровцы вступили на советскую землю, дед Григорий занемог. Не хотелось ему смириться с тем, что от фабрик, заводов и мостов, выстроенных руками крестьян и рабочих, остались только остоны. Однако в глубине души теплилась надежда: «Враг не удержится... Россию поработить трудно...»

Навалившись на костыль, дед Григорий едва дошел до бывшего сельпо. Приглядевшись, минуту помолчав, неожиданно выпалил:







— Так все оце богатство для ихнего царя? А-я-я. Подумай, яка цаца?! Для его задницы треба все такє блескуче? Тьфу! Не панувать ему тут, хлопци. Ось побачиты.

Прохожие больше стали смотреть на деда Григория, чем на новую мебель и на гитлеровцев. Радовались за него, что он еще крепыш и не сдает.

А когда кто-то, не разобравшись в замысле старика, зло спросил: «Что, старый, вышел встретить, значит?» — дед Григорий чуть было не ударил говорившего своей клюкой. А потом собрался с силами и рубанул: «Мухомор ты эдакий! А ты знаешь, що такє Жовтнева революция? А я в ней с первого до последнего часу бывся...»

Тем временем гитлеровские солдаты в сенцах установили деревянный барьер, около которого поставили старый стол и два плетеных стула. Тут же приспособили полевой телефон, согревающий рефлектор и походную плиту. В кабинете в окно вмонтировали вентилятор. Наконец, поставили полированный стол, стулья, кресло и все остальное.

Белобрысый солдат по имени Ганс заметил на средней стене в застекленной раме гвоздику в кувшине. Взглянул на часы, вскочил на стул и сунул под стекло портрет Гитлера. Спрыгнул на пол и довольно одернул зеленый мундир. Глаза Гитлера с портрета смотрели прямо на стол.

Во двор въехала легковая машина. Окна ее были занавешены маленькими шторками, едва отличавшимися от густого зеленого цвета машины.

Первым вывалился коренастый молодой эсэсовец. Он придержал дверку, и из машины с портфелем в руках вылез высокий рыжеватый Фриц Рауше, которому и было поручено возглавлять работу всего района. Форма на нем была новая.

Шел Рауше важно, медленно, не глядя по сторонам. Несколькo секунд задержался у старого дуба, посмотрел вверх и что-то сказал своему адъютанту.

— Што он говорить? — обратился к соседу, местному учителю, дед Григорий.

— Он говорит, что здесь можно повесить сетку, чтобы полежать. Гамак называется...

— Хи-и-и?! Не успел комара задавить, уже за панську люльку заговорил. Це зилля\*, а не людына! — проронил дед Григорий и пошел домой, почти совсем не опираясь на костыль.

Оберштурмбаннфюрер СС — командир штурмбана, пере-

---

\* Сорняк.

шагнул порог своего кабинета, расстегнул китель и прошелся от одной стены к другой. Затем уселся за стол, тихо шепча:

— Майн гот! Куда закинула меня судьба?

С тех пор как Фриц Рауше вступил на русскую землю, он слишком часто стал вспоминать своего бога. Все его здесь угнетало: и дороги, и небо, которое, кажется, так и вжимало в землю.

На шее у Рауше на чуть заметной цепочке висел золотой крестик, который повесила ему жена, еще когда он пошел на военную службу и задумался о своей карьере. И все шло бы так, как было задумано, если бы Фриц Рауше, человек неограниченного темперамента, знал всему меру. Но за любовные интрижки с женами высокопоставленных лиц его отправили на Восточный фронт, в Россию.

И снова судьба его не обидела.

Близкий друг, Франц Блиндт, — в свое время они вместе начинали военную службу, однако тот заметно «обскакал» Фрица, давно был удостоен Железного креста — к счастью, встретился ему во Львове и сумел оставить оберштурмбаннфюрера на оккупированной территории Украины в тихом и безобидном месте, как полагал он, — на Приднепровье. «Здесь, — рассуждал Франц, — ты сумеешь наверстать упущенное...»

Так фриц избежал фронта.

...Прошло три дня. Не поднимая головы, Рауше сидел у стола, постукивая по пресс-папье. Когда порывистый ветер распахнул окно и раздвинул шторы, Рауше поднялся и уложил на подоконник тяжелые предметы. Потом прошелся по кабинету, мысленно что-то прикидывая, потирая ладони, шепча: «Айнц, цвай, айнц, цвай...» Затем по телефону доложил в жандармерию:

— Готовлю инструкцию из трех пунктов и одновременно комплектую полицейский состав. О сроках выполнения доложу позже.

Фриц Рауше протянул руку к позолоченной шкатулке, вынул оттуда плитку шоколада и, довольный собой, подмигнул своей супруге, которая улыбалась с фотокарточки. Правда, смотрела она куда-то мимо Фрица. Шоколад таял во рту, а Рауше пытался уловить взгляд Эльзы.

Шоколад за щекой растаял, а Фриц бессмысленно топтался по кабинету, так и не уловив взгляда Эльзы. Она оставалась верна фотообъективу...

Рауше поднял голову и увидел Ганса. Остановив свой взгляд на зеленом мундирчике солдата, он спросил:

— Вас... лёс? (Что случилось?)

Солдат одернул мундирчик и доложил, что уже давно рвется на прием какой-то человек. Настоятельно просит его принять.

Рауше подошел к окну, затянул шторы еще плотнее и снова спросил:

— Что ему угодно?

— Не знаю, — несмело ответил Ганс.

Рауше призадумался. Он вспомнил, как в Польше его друзья были убиты в своих кабинетах лицами, пришедшими будто бы к ним на прием...

Он приказал Гансу обыскать этого человека и обезоружить вплоть до перочинного ножа.

Солдат вышел в приемную и увидел, как гость смотрел в небольшой лоскут бумаги и что-то нашептывал. Ганс подошел поближе, посмотрел на бумажку, но ничего не понял. Значились там какие-то непонятные каракули. Это были немецкие слова, написанные русскими буквами.

Когда Долинич уже направился было к двери оберштурмбанн-фюрера, солдат громко произнес:

— Хальт! Стой!

Долинич опустил руки по швам, крепко-накрепко прижав их к крутым толстым ляжкам.

Ганс стал ощупывать мягкое тело Долинича. Поначалу он вынул из кармана его брюк клочок бумажки, затем огрызок карандаша, ключи и перочинный нож. Все это положил на стоящий рядом стул.

Долинич был толст и неповоротлив. Белое флегматичное лицо его было безжизненно. Заплывшие глаза обычно избегали взгляда собеседника.

Ганс снова оглядел Долинича, еще и еще ощупал его толстый, выпученный, словно тыква, живот. «Не взорвется ли эта машина в кабинете шефа?»

Ганс решил позвать второго солдата — писаря.

Тот приказал Долиничу раздеться.

Китель Долинич снял быстро. А вот как быть дальше? Он вспомнил, что нижнее белье не менял уже вторую неделю. А вдруг его отправят отсюда в одних кальсонах, и он через все Соркинское, мимо школы, по центру пойдет вот так. Ему захотелось уйти отсюда, убежать. Он попытался и оказался за порогом приемной.

Ганс по сравнению с Долиничем был тощий, но обладал

необыкновенной физической силой. Он небрежно взял Долинича за ворот, и тот снова оказался в приемной...

Долинич мечтал совсем о другом приеме. Он хотел служить новым хозяевам верно и преданно. И теперь он был зол на всех: на Рауше, на этих солдат, но больше всего на себя. Как он рискнул прийти к оберштурмбаннфюреру в том белье, что носил еще при красных? Ведь, по сути дела, это же неуважение нового порядка, который ему так по душе!

Пока Долинич раздумывал, Ганс рывком приоткрыл дверь, подтолкнул Долинича в плечи, и тот очутился в кабинете Рауше. Долинич был ослеплен высокой статной фигурой эсэсовца в начищенных до блеска сапогах. Восхитил Пантелея и крутой, с залысинами лоб (где-то он слышал, что это признак большого ума). Волосы, разделенные посреди головы на пробор (это Долинич видел впервые), блестели так же, как сапоги.

Наряду с восторгом Долинич испытывал и страх, который вызвал у него выдвинутый вперед подбородок Рауше. «Должно быть, спесивый», — мысленно прикинул он.

Гитлеровец прошелся по кабинету, как бы проделывая очередную разминку. Исподлобья сквозь белесые ресницы оглядел Долинича. Затем сердито произнес:

— Ну-у? — и замолчал.

Долинич вытянулся и певуче, с пафосом выкрикнул:

— Хайль Гитлер! — и застыл с вытянутой вверх правой рукой. Левой продолжал крутить на куртке пуговицу...

Гитлеровец рассмеялся, почесал безымянным пальцем свой сухой нос и иронически выдавил:

— Ха-й-ль...

Наступило молчание.

Вся эта комедия смешила Рауше. А Долинича будто прижимала к полу. Его уже страшил не только выдвинутый вперед подбородок, но настораживало и выхоленное розоватое лицо Рауше.

— Чьего хцешь? — по-польски спросил Рауше.

— Вам служить! — Долинич поспешно заговорил на смешанном русско-немецком языке.

— О! Шпрехен зи дойч? (Говорите по-немецки?)

— Этвас. Немного, — ответил гость.

— Коммунист?

— Нет! Не был и не буду!

— Врешь! У вас все коммунисты, даже дети. То есть, я хочу сказать, они тоже заражены красной пропагандой, — Рауше говорил по-польски, и Долинич все понимал.

— Как знать... Я докажу своей работой, что ничего общего не имею с красными и их пропагандой...

— Хорошо! — произнес Рауше. — Измена — повесим! — продолжал он, взглядываясь в Долинича.

Наконец Фриц Рауше предложил Долиничу сесть. И тут потянуло затхлым, пряно-солоноватым зловонием от его небрежно заправленной в сапог онучи. Долинич от испуга попытался ноги убрать под стол. Там что-то бряцнуло, затем грохнуло. Долинич испуганно подхватился и вновь вытянул руки по швам. Рауше подал знак сесть.

Долинич так шлепнулся на блестящий стул, что по звуку можно было подумать, будто кто-то ладонью прихлопнул его по голому заду.

Но Долиничу все уже было нипочем. С того дня, как отступила Красная Армия, Долинича щекотала мысль стать старостой крупного села Вишневки. И вот он дождался удобного момента, чтобы поговорить об этом по существу.

Рауше вынул из шкафа бутылку «Советского шампанского», умело открыл ее и подал Долиничу наполненный шипящей жидкостью бокал. Налил себе. Долинич не посмел отказаться. Он только пожалел, что не захватил с собой флягу настоящего домашнего самогону. Да, посмотрев на редкий зачес гитлеровца, усомнился: «Таким-то небось подавай все первосортное. А что моя самогонка... Разве станет пить?..»

Легко охмелев, Долинич и вовсе расхрабрился и осмелился высказать свое желание стать старостой.

Рауше внимательно выслушал его, но не торопился с решением. Он закашлялся, тонкими пальцами постучал по пресс-папье. Затем вопросительно осмотрел Долинича. Секунду-вторую помедлив, сказал:

— Альзо! Гут! Толко кознить! Слать нах фатерланд! Ферштейн? (Понял?)

— О, я, я! Делать аллес все гутен! — обрадованно выпалил Долинич.

Рауше не мог разобраться в этом бессмысленном словесном surrogate.

А Долинич в ответ все кивал виновато головой:

— Выполню все, все, герр господин, что прикажете!

— Ху-у-у! — застонал гитлеровец, вытирая носовым платком затылок, и утомленно повалился на стул.

Долинич! понял, что добился своего, и сочувственно сгримасничал, глядя в упор на своего хозяина. Тот осторожно и медленно с переносицы смахивал пот...

Так Долинич стал старостой Вишневки, Соркинского, Якимовки и других ближайших сел и хуторов.

Мечта сбылась, и он, пообещав Рауше на следующий день приступить к работе, вышел из кабинета.

Долинич не чувствовал под собой земли. Ему казалось, что он облаком плывет над землей...

Не теряя времени, он строил планы на завтрашний день: «Перво-наперво собрать помощников и на свой лад подготовить для работы служебный кабинет». А сесть решил он там, где сидел ранее председатель сельсовета. Только, конечно, «сельсовет» он переименует в «старостскую». Ну, а потом... потом, может быть, станет как господин Рауше...

«Да будет царство твое!» — шепотом окрестил он свои бывшие мечты.

## Глава 6

### ИХ БЫЛО НЕМНОГО, НО ОНИ БЫЛИ

Их было немного, но они были.

Они — это бывший главбух Оховцевского железнодорожного узла Долинич. Если судить по прапрадедам и прапрабабушкам, этот человек никогда не был аристократом, но, как только стал Долинич старостой Вишневки, в доме его появились две прислуги. Одну из них, которая готовила, Клаву-беленькую, с целью освоения арийской кухонной стряпни Долинич пристроил в районную жандармерию на месячные курсы поваров для немецких солдат и офицеров.

Они — это жена Долинича Меланья, тяжеловесная особа, круглолицая, медлительная, восторженно поверившая в судьбу мужа, ставшего, по ее понятиям, теперь большим государственным человеком; худошавая, веснушчатая дочь старосты Люся и его сын Гриша.

Они — это и новый начальник полиции, он же переводчик Федор Марфушкин; рядовой полицай, соркинский конюх Труба, которого с детства односельчане считали умоиступленным, и молодой, энергичный красавец Яков Стецько, заявившийся в Вишневку сразу же после отступления Красной Армии. Об этом человеке ходили разные слухи: толковали, что он дезертировал из Красной Армии, а родом он из здешних мест;

кто-то поговаривал, будто видели его в районном комитете партии и не подпольщик ли он, пустили молву, будто Стецько недавно вернулся из заключения; затем широко пошли слухи, что он будет священником в вишневской церкви.

Вот и весь гласный официальный актив, добровольно вызвавшийся помогать гитлеровцам. Но были и негласные, которых вишневчане называли попросту доносчиками, а гитлеровцы — «репетиторами», видно оттого, что те точь-в-точь должны были изобразить или как бы отрепетировать им, эсэсовцам, свою жертву «в деталях». Это делалось с той целью, чтобы гитлеровцы и сами, без сопровождения этих «тайных агентов», могли опознать того, на кого сделан донос.

Однако «репетиторы» не пользовались уважением у своих хозяев. Не скупясь на слова, эсэсовцы разговаривали с ними так: «Говори, идиот, кто против великого фюрера?..», или: «Зобака, скажи, кто в лесу «пуф-пуф» с карабином?..» Такой тон обращения охладил желание некоторых «репетиторов» сотрудничать с фашистами.

Остались действовать только немногие: склочные и беспринципные люди, которые были такими во все времена!

Местные представители новой власти пришли к зданию







бывшего сельсовета. Долинич в том же галифе и кителе и напяленном поверх прорезиненном плаще, Стецько — в габардиновом макинтоше, Марфушкин — в зеленой куртке, Труба — в фуфайке.

— Ну, дружи! — начал Долинич. — Забудемо, що було, и памятайте, што будет. Значит, новая власть будет, дружи мои! И новые порядки, и новые предписания, и даже по-новому столы повернем. Все красное — геть отсюдова! К чертям собачьим! А портреты вождив наших он туда, Труба, отнеси. В закуток... под куриный насест, хи-хи!.. Ну що зеньки вылупил? Неси, кажу!

Труба несмело сказал, что, может, портреты куда-нибудь в чуланчик пока спрятать, а потом снова можно будет повесить на стенку.

— У тебе, Труба, в голове студень, а не мозги, — возмутился староста. — Надо — растаял, надо — сгустился. Полицай должен быть што броня. Коли бьют по нем, звенит, но не треснет; коли льют по нем, он только поблескивает, а коли он бьет — все ложится намертво плашмя. Ложится и гибнет, больше не ворочается. Махай с этими портретиками до сортира, як я сказал, да поскорее.

...И Труба пошел.

— Ну, отнес? — спросил Долинич, когда тот медленно шагивал обратно.

— А як же, — едва процедил Труба.

Староста передвигал усилиями своего мощного корпуса письменный стол, за которым намеревался восседать, из угла в угол. То мешала ему стена, то свет падал наискосок, то ветер поддувал из форточки в левое ухо...

Вдруг через окно он увидел три сторбленные фигуры, которые, прячась за ветками деревьев, уносили портреты, только что выброшенные по его наказу «в закуток». Долинич вздохнул и промолвил, едва шевеля сморщенными иссиня-белесыми губами:

— Чу-да-ки. Ну и пушай. Скоро встряхнем всю Вишневку... Попутно и портретрики найдутся. Слышь, начальник полиции? Надобно бы обыск проделать у наших селян, как ты полагаешь? Да поживее...

— А что искать? — поинтересовался Марфушкин.

— Як шо? Политическую писанину всякого рода надо изъять, чай, будет дурман у них возбуждать...

— Поверь мне на слово, староста, в ближайшее время они сами ее аннулируют. Поймут, что красным крышка и что все то, что было ими написано, теперь макулатура.

Так говорил Марфушкин, а сам так же, как Долинич, всерьез забеспокоился и долго смотрел в проулок, куда скрылись с портретами их односельчане, бросившие, как он понял, вызов и им и немцам.

А Долинич все двигал стол.

— Под партизанскую пулю мою голову подставляешь? — обрушился он на Трубу, который сказал, что стол надо оставить посредине.

— А-а, значит, тут, — виновато сказал бывший конюх и показал на левый угол, — и сквозняк не проймет, и пуля пролетит мимо, и булыжник...

— Ты, брат Труба, хоть реденько, а кумекать можешь, — одобрил староста.

— Я ж жандармерий, — с обидой сказал Труба.

Все невольно засмеялись. Но вот Марфушкин прервал смех своей размеренной речью.

— Жандарм, а не жандармерий. А проще — полицейский, да и не только проще, а правильнее. Жандармский пункт — в области, которому мы и будем подчиняться. Его возглавляют господа эсэсовцы, а мы всего-навсего сельский, даже не районный, полицейский актив. Сошки мелкие в мире жандармерии... Ясно? — переспросил он Трубу.

— Як же? Пойняв... — смущенно ответил тот и отошел к Стецько, которому давно уже надоела затея Долинича с передвижкой мебели.

Труба и Стецько уселись на подоконник и закурили. Стецько молчал. А Труба не очень связно говорил. А говорил он о том, что в Вишневке «богацько хороших дивчат». А «таких гарных хлопцев», как Стецько, «никилы не було», а церковь открывают в бывшем клубе, и девчата по старой привычке придут туда; раньше «ходили танцювать», а теперь «на вас подивыться». А потом неожиданно заговорил о том, что, если бы его взяли, он обязательно пошел бы на фронт. А его «забракували по здоровью».

— Меня мама на пол уронила, и я не все правильно сообщаю... А як бы правильно... — загрустил Труба, — я бы тут не був...

— Так, по-твоему, все, кто тут остались, неправильно сообщают?

— А, конечно. А может, скажете, их мама тоже не уронила?.. — как бы с сочувствием протянул Труба.

— Дурак!.. — не выдержал Стецько. — Выгоните этого идиота к чертовой матери.

— К сожалению, мы должны дорожить каждым человеком, — полушепотом сказал Марфушкин, слышавший разговор Трубы со Стецько.

— Теперь надо на дверь табличку прилепять, — выдохнул Долинич. — Мол, староста Вишневки такой-то, чтоб не спутали посетители, а то ж тут рядышком будет полиция. Ты, Марфушкин, состряпай по-немецки и по-украински такую адресину, а то запутаются люди. Мои забредут до тебя, твои до меня.

Марфушкин кивнул головой.

— Ну лады, а теперь до церкви, — скомандовал Долинич. Все шли молча. Вдалеке, на опушке, лаяли собаки, где-то хриплым, истошным голосом закричала старуха, послышалась пьяная ругань, а затем протяжный девичий стон... Труба тяжело задышал, закрыл глаза. Затем открыл их и посмотрел на Стецько. Тот не крестился. Не крестились и остальные.

У здания бывшего клуба уже были люди. Весть о том, что в Вишневке будет действовать церковь, разлетелась скоро и, ничего не скажешь, была охотно одобрена людьми пожилого возраста. Единственным бойким местом, где можно тут встретиться, был ранее базар. Теперь будет и церковь...

Долинич в тот же день, как стал старостой, вывесил около лавки на столбе объявление, в котором призывал всех верующих прийти властям на помощь, а точнее, принять активное участие в переоборудовании здания клуба под церковь. И люди пришли.

Немощные старухи суетливо вытаскивали стулья. Теперь они стояли во дворе и палисаднике. Кто-то принес домашние иконы, подсвечники. У кого-то нашлась и поповская риза. Все это складывалось пока у входа на три сдвинутых стула.

Меньше всех интересовался происходившим Стецько. Он давно уж приглядывался к худенькой на вид девушке, что стояла рядом с полной женщиной. У женщины на руках была огромная черная с белыми пятнами кошка, она гладила ее и что-то приговаривала. Кошка мурлыкала... Полная женщина и была жена Долинича Меланья.

Может быть, из-за кошки и обратил внимание Стецько на девушку. А может, из-за того, что уж очень призывно она на него взглядывала. Не то что другие. Вон хоть бы те, что сбились стайкой под кленом: одна постарше, вторая чуть моложе первой, а третья совсем молоденькая. Было заметно, что они с грустью смотрели на здание бывшего клуба. Чем-то эти девушки напомнили Стецько его школьные годы еще при Советской власти. Сердце дрогнуло и забилось чаще, и Стецько

поспешил отвести взгляд от клена. Внезапно увидел рядом с той худенькой веснушчатой девушкой Долинича. «Кто она ему? И что нужно ей, почему она с таким лукавством глядит на меня? Довольная, счастливая, будто живет на другой планете. А может, и правильно так? Может, я зря задумываюсь о прошлом?.. Ведь война каждому жизнь надломилась... Пускай все идет так, коль по-другому не могло получиться!»

Не успел поразмыслить Стецько, как услышал голос старосты:

— Иди сюда, красавчик! Познакомься, це моя Люська, единая дочка моя...

Стецько приблизился.

Люся уже расстегнула зеленый плащ в салатовых кругах на манер капустных листьев. Была видна пристегнутая к платью брошь «заяц на колеснице».

Пока Стецько подходил, Долинич успел шепнуть жене:

— Не давайте зевака! Лучше парубка для Люськи не сыскать!

Случилось так, что Стецько опомниться не успел, как уже очутился в гостях у Долинича.

Домработница Клава уже достала из подполья огромную бутыл с самогоном. Меланья хлопотала с закуской. А Люся появилась в светлых туфельках, с белой лентой на голове и, видно, в самом лучшем своем платье — голубого цвета, с пышной юбкой, окаймленной белой лентой внизу.

Долиничу не сиделось: он то потчевал гостя, то вскакивал и накручивал патефон.

Такое внимание старосты подействовало на Стецько так, что душевных тревог вмиг как и не было.

Он, не стесняясь, прижимался к Люсе. А та сидела, боясь пошевелинуться, чтобы не допустить опрометчивого жеста и не оттолкнуть этого словно свалившегося с неба красавца. Люся витала где-то в облаках, забыв обо всем. Ведь грезы и мечты ее теперь стали явью. И пусть немцы, пусть война! А может, если бы не война, и не видать ей такого красавца?..

Стецько расхрабрился и даже запел. Он знал много разных песен. И голос у него величольный: чистый, сочный баритон. Люся была просто-напросто в восторге. Старые Долиничи тоже.

Временами Стецько задумывался... Но от задумчивости совсем легко переходил к многословию, потом снова пел:

Болиť мене голова  
Та й межи плечима,

Треба б минн дохторика  
З черними очима.

Та й не того дохторика,  
Що вин дохторуе,  
Ай такого дохторика,  
Що в личко цилуе.

Еще долго пили и много ели. Бутыль опустела, и Долинич захрапел. Маланя с трудом проводила его в спальню.

Вернувшись к столу, она повела разговор о том, о сем, чтобы поближе познакомиться со Стецько. И выяснила, что он, как и они, семья Долиничей, доволен тем, как все происходит, и что он, как и они, мечтает поехать в Берлин.

Прислуги Клавы убирали со стола. Студень остался нетронутым, а от поросенка, возле которого сидел Стецько, оставалось только рыльце.

Вечерело. Клавы принялись к ужину стряпать украинские вареники. Люся и Стецько посидели на скамейке около хаты и двинулись через огороды в плавни. Говорить им было не о чем, и они молчали, глядя на отдаленные песчаные бугры, откуда начинались поля, а влево нескончаемо далеко тянулись кучегуры. По этому бездорожью один-одинешенек шел человек, опираясь на сучковатую палку.

Стецько не увидел, а будто почувствовал, как пристально всматривался в него этот человек.

А человек этот был Крепин, и думал он: «Кто ты, парень? Почему стал изменником? Я не удивлен, что на этот страшный путь сошел Марфушкин, всегда всем недовольный человек, или Долинич, рвущийся к наживе и карьере, или безразличный ко всему Труба. Он болен. Ну как же ты, совсем молодой, зеленый, рискнул на такое? Ровесник младшему моему... Учился в такой же школе, как и он, воспитывал тебя такой же комсомол. Так почему же ты стал врагом ему и врагом своему народу?.. Или просто трус?.. Мелкий приспособленец, боишься невзгод? Подумал ли ты, во что это легкомыслие тебе обойдется? Опомнись, выбирай поскорее другой путь, пока не поздно, пока запачкана только совесть твоя, а руки еще нет».

Поравнявшись, Крепин замедлил шаг, поздоровался. Стецько ответил ему как-то смущенно, опустив глаза. Люся дернула своего спутника за рукав:

— Чего это хмурь опять на тебя нашла?

— Да время-то невеселое, — ответил он ей нехотя, но так громко, что Крепин услышал и подумал: «А может, это наш человек? Нет. Клим бы знал...»

Павел Ильич пошел напрямик к бывшему клубу, не оборачиваясь и уже не замедляя шага. И все-таки будто невзначай тихо обронил:

— Время такое, что перед каждым экзамен поставило. Только ведь кто выдержит, а кто и завалит...

Стецько не ответил и только крепче вцепился в Люсину руку.

— Люся, а Люся! Ты хотела, чтобы я жил у вас?

— Да... если...

— Что «если»?

— Не знаю. Хотела бы... — смутилась она вдруг. — Только вот как родители...

— Родители этого хотят не меньше тебя, — насмешливо ответил Яков.

## Глава 7

### НОЧЬ НАД ВИШНЕВКОЙ

В небе долго и назойливо гудел немецкий самолет. Потом он улетел. Но от наступившей тишины стало еще более жутко и неопределенно, как в первые дни войны. Оккупированная гитлеровцами земля молчала, как бы передыхала и набиралась сил.

— Тишины такой давно не было. И как вы шли? — спросил Павел Крепин, подавая в ведре Валерию Пелехову остуженный кипяток.

Глухо залаял Амур. Он еще не оправился после схватки с гитлеровскими овчарками. Лай его был не такой пронзительный и звонкий, как раньше. Однако Крепин встревожился:

— Кому понадобилось сейчас прийти в такую поздноту?

Крепин поднялся по лесенке из погреба, закрыл за собой выход и накидал поверх дверцы сена. Сюда, в эту половину клуни, он недавно завез целую подводу и перенес из хаты свою постель. Жене и дочери объяснил, что в хате спать не может, только на воздухе засыпает.

Встревоженный хозяин вышел из клуни. На приступочке около хаты сидел человек без шапки и босой. И еще чуть поодаль стояли трое и о чем-то шептались.

— Максим? — удивился Крепин, когда к нему придвинулась плечистая фигура. — Ранен? — волнуясь, спросил он, сгреб в охапку Скрипко и по-отцовски расцеловал.

— Я нет, остальные ранены.

— Сколько вас?

— Четверо. Не много?

— Рады всем. Следуйте поодиночке за мной! — чуть погромче скомандовал Крепин. И повел их в клуню, где находились уже и другие их однополчане.

Встреча была радостной и горькой. Костя Лазаренко даже воспрянул духом, увидя перед собою друга Виталия Карасева. Юрий Лукьянцев и Игнат Верещак принялись рассказывать своему комбату, как удалось им поджечь гитлеровский «опель». И что они продырявили из пулемета офицеров, которые вынимали из багажника какие-то трофеи. Тем временем Скрипко помогал Валерию Пелехову делать перевязку на обожженном лице Михаила Никифорова. Этот паренек третьи сутки не произносил ни единого слова. Кроме ранения, он был еще и контужен. Крепин пошел в хату, собрал все кружки, стаканы, взял последнюю паляницу и понес гостям. Нашлось съедобное и в погребке, который стал теперь убежищем для будущих партизан. Здесь в двух кадушках хранились засоленные в зиму помидоры и огурцы. Под лавкой стояли три кувшина с молоком, миска со сбитым маслом и горшок с раженкой.







Хотя парни и были голодные, однако не все охотно взялись за еду. А вот Костя Лазаренко вообще отказался от всего. Тогда Крепин растопил над керосиновой лампой в стакане масло, размешал со сметаной и настоятельно попросил его выпить. Костя с трудом осилил эту смесь и вскоре уснул.

— Вы спрашивали, Павел Ильич, как мы добрались и тяжело ли было? — продолжил начатый ранее разговор Пелехов. — Было тяжело. Глубокий немецкий тыл для раненого красноармейца — та же волчья пасть.

— По дороге тут вблизи никого не встречали? — спросил Крепин.

— До центра Вишневки подкинул нас какой-то паренек на машине. Да чуть было с ним не угодили в гестапо. Хорошо, встречный старичок остановил нас, попросил закурить у шофера да, видно, проникся сочувствием к нему и предупредил, что немец недалеко машины прощупывает. Так мы по окраине села пошли пеши...

В разговор вклинился Максим Скрипко и сказал, что их группа старалась идти по безлюдным местам, лесами и полями, избегая встреч с кем бы то ни было. Как старый разведчик, он знает, что во вражеском тылу не каждому земляку можно довериться.

Архипов громко застонал.

— Вам плохо, товарищ комбат? — по старой привычке обратился к тому Пелехов.

— Я уже не комбат! — с трудом, но требовательно сказал Архипов. — А состояние паршивое, хотя ты и вынул пулю из моего плеча... но... — он снова замолчал, третий раз потеряв сознание.

Костя Лазаренко тоже стонал, все чаще прося воды.

Крепин дрожащей рукой подносил ко рту Кости кружку, одновременно теребя за рукав гимнастерки Пелехова:

— Помоги ему, сынок... помоги...

— Все, что мог, сделал, — отвечал Валерий. — У него большая потеря крови, воспаление легких. Нужен срок. Будем надеяться, что поправится, — продолжал Пелехов, прикрывая грудь Кости фуфайкой. А затем снова потянулся к Архипову, расслышав, как тот в бреду позвал Гончарова.

Выждав, когда успокоится Архипов, Павел Ильич полушепотом стал расспрашивать про Гончарова, Дубнова, Коралова,

про всех, кого знал, — кому удалось прорваться через вражеское кольцо, кому нет.

— Линию фронта под Харьковом мы прорвали, — так же полушепотом рассказывал Скрипко. — Потому как нагрянули наши дивизии неожиданно, гитлеровцы поначалу растерялись. А потом скумекали и бросили против нас все свои силы. Смяли разведывательный батальон и дивизию Дубнова. Оставшаяся небольшая группка от нашего разведбатальона присоединилась к батальону Архипова, и на обходе Харькова нас снова окружили фашисты. Казалось, вся артиллерия Гитлера повернула на нас свои дула. Но и мы их припорошили как следует. Ну да силы были неравные. Наши редели — их пополнялись. О прорыве кольца не могло быть и речи. Оставалась одна мечта: не попасть в плен. Вот и ползли трое суток от прифронтовой полосы в тыл к немцам. Хорошо, что разговорчик у нас с вами тут состоялся и помнили, что есть еще Агатово, где можно начать базировать партизанский отряд.

— Да, в Агатове у нас добротная земляночка и оружие уже припасено, — подтвердил Крепин.

— А вам-то как жилось, Павел Ильич? — спохватился Скрипко. — Как Оксанка, Анна Евсеевна?

— Да так, как всем. Дважды уже перевернули гитлеровцы в моем доме все вверх тормашками. Забрали одежду. За разбитый автомат, что нашли здесь в погребе — какой-то дьявол додумался оставить, а я недосмотрел, — чуть было не убили Оксанку. Вот с тех пор захворала. Частенько плакивает...

— Так вы подбодрите ее, скажите, что и Василий и Гончаров живы. Прорвались к нашим! Да мы сами ей это скажем, — предложил Максим.

Но Крепин остановил его.

— Успеется еще. Она растревожится, расспрашивать начнет. А у нас, хлопцы, свободного времени нет. Здесь оставаться опасно.

Крепин оповестил всех, что руководитель партизанского отряда Клим сегодня прибывает из Петровска и встретится с ними. И что он, Крепин, будет носить теперь кличку «Неизвестный». Так как оба они, Медеренко и Крепин, местные жители и в здешних местах их все знают, то и партизаны согласились с тем, что имена их должны быть строго-настрого законспирированы.

Другие же могут носить свои имена, предосторожность нужна только при арестах и заданиях.

Было решено немедленно уйти в лес. Тяжелобольных Павел Ильич взялся доставить на самодельной повозке.

Бесшумную ночь вытеснил шумный рассвет. Вишневчане потянулись с жалким скарбом к переправе, видно, на городской базар. Среди них ехал и Крепин. У него в повозке, сплетенной шелюговыми лозами, под хворостом лежали Архипов, Никифоров и Костя Лазаренко. А за повозкой на разных расстояниях группками шли Скрипко, Пелехов, Карасев, Игнат Верешак и Юрий Лукьянов. Все они были в штатском. Собрал для них Павел Ильич из одежды все, что мог.

Крепин проехал кучегуры и приближался к столбовой дороге. Вдруг из-за осокорника кто-то выкрикнул:

— Молодцеват ты у нас, старичок. Сказано, хозяин. Что, Павлуша, пенечки собираешь? А ну-ка остановись. Посудачим, подымим, ежели на самосад богат. Не знаешь, кого гитлеровцы по селу ищут?

Крепин узнал голос Рузанко. Односельчанин еще что-то говорил. Но Павел Ильич вдруг услышал хриплый, душераздирающий лай Амура. И старику почудилось, что это он ему подает знак о приближающейся беде, о том, что в его доме уже гитлеровцы и что он вместе с доверившимися ему людьми должен спешить.

— Закурить хочешь? — спросил Крепин, глядя на Рузанко... — Возьми, — бросил он тому кисет с табаком. — А мне надо бы торопиться к переправе. Понимаешь, дочь Тоня обещалась сегодня приехать, хочу встретить. Заскучал больно. Машка, торопись, торопись, лентяйка, опаздываем!.. — Он хлестал корову длинной герлыгой сколько было у него сил. У Машки дрогнул зад, и она по неровной дороге уже не шла, а бежала. Бежала, легко перешагивая кюветы, воронки, занесенные песком, окопы и бугры... Рузанко как вкопанный еще долго стоял на том месте, где оставил его Крепин.

Наконец добрались до Агатова. На далеком расстоянии Крепин увидел Медеренко и испугался: почему тот прибыл раньше назначенного часа?

А тот торопился уже навстречу и расцеловал всех так крепко, будто прожил с этими людьми всю свою жизнь. Очень был рад им.

— Ну так сколько же вас, молодцов? — спросил он.

— Восемь.

— И нас двое. Десять человек. Для начала неплохо. Будем считать отряд сформированным. А пока — на отдых и на лечение. Врач свой, хату мы приготовили, остальное тоже. Распо-

лагайтесь. Вот ваша улица, вот вам и дом... — пошутил Николай Николаевич.

— Кстати, — после минутного молчания продолжал он, — меня уже ищут гитлеровцы. Вас они не беспокоили еще?

— Да уж они сейчас в моем доме...

— Откуда известно?.. — заволновался тот.

— Как только мы отъехали примерно метров двести от дома, услышал я лай своего пса. Прохожие мне подсказали, что, мол, кого-то ищут гитлеровцы.

Крепин выпряг Машку и на длинной веревке привязал ее к одинокой осине чуть ли не у самого Днепра. Потом высмотрел местечко, где можно было бы оставить повозку, наполненную пеньками. Крепин вскинул на повозку несколько коряг и затащил ее между вербами и тополями в закуток к самому озеру. Это он сделал, чтобы их не выследили гитлеровцы и ничего не заподозрили.

Белый свет опустился над Днепром. Изморозь покрыла зеленую траву, припорошила кружевные листья дуба, мохнатой паутиной окутала на деревьях кору. Это были первые заморозки в этом году. Машка мотала головой и не решалась пастись на снежном поле. Осоловевшими глазами она смотрела то на хозяина, то на деревья, то на поляну.

Медеренко — Клим все еще не спускался в землянку. Он призадумался о том, что его уже ищут враги. И поплыли в памяти воспоминания о родном крае. Он вырос здесь и все еще никак не мог насытиться запахами родной степи; он безгранично любит свое село, особенно когда оно в расцвете мая навсось прошито весенними бледно-розовыми узорами цветений, когда, кажется, и скалы покрываются розовым бархатом и солнечные блики над землей сверкают, искрятся как хрусталь.

Однажды в такую весеннюю пору он встретил Галю, тоненькую, как молодая калинка. Встретил и полюбил. И вот уже многие годы не оставляет его эта счастливая весна... Галя стала его подругой жизни. И вместе с ней и весна навсегда вошла в его дом...

Гали не было сейчас в Вишневке, Николай отправил жену к матери за сто километров отсюда. А сейчас вот заскучал по ней, как и всегда бывало, когда они были в разлуке.

Павел Ильич, как только вернулся в землянку, затопил печку и вскипятил ведро воды. «Понадобится для больных...» — скупко ронял он. Затем принялся готовить завтрак. Крепин,

старый опытный хозяин, привык запасы хранить на черный день. А черных дней у них впереди еще будет немало. Но все-таки и сегодня к завтраку, кроме картофеля, была отварная в початках кукуруза. Крепин считал, что надо есть то, на что сезон кончается.

Клим отказался от завтрака и, не теряя времени, поближе познакомился с каждым членом отряда.

Затем состоялось первое партизанское собрание. О планах и задачах говорили пока вкратце. Пелехов доложил о здоровье всех прибывших в отряд. Состояние было у большинства неудовлетворительное. А посему вся ответственность за судьбы людей возложена Климом на самого же Пелехова. А тем, кто был более-менее здоров, предстояло заняться сбором разведывательного материала для подготовки диверсий.

— Нам нужен человек, который владел бы немецким, — сказал Клим. — Максим Скрипко хорошо знает язык, но для наших целей не подходит. Где бы ни появился, сразу вызовет подозрение: кто, откуда, зачем прибыл, у кого живет. Считаю, что нам могла бы подойти Оксана Крепина. Девочка серьезная, небогатливая, смелая. Думаю, что сама охотно согласится с нами работать. Слово за вами, — обратился Клим к Крепину.

— Да ведь она слабо знает немецкий язык, — удивленно ответил тот.

— Подумаем, как подучить ее. В принципе-то вы согласны?

— Ну как же могу быть не согласен?

— А как думаете, Анна Евсеевна согласилась бы отпустить Оксану жить в Днепропетровск?

— Это зачем же?

— Там школа немецких переводчиков. И мы хотим устроить туда Оксану. Пусть сами немцы ее и подучат, — объяснил Клим.

— Да как же это? — заволновался Павел Ильич. — Да и не примут ее немцы.

— Крепину не примут, — улыбнулся Клим, — а Рассину с великим удовольствием.

— Какую Рассину? — снова удивился Павел Ильич, хотя тут же вспомнил подругу детства его жены, вместе с ней работавшую в наймах и позже ставшую женой хозяйского сына Рассина.

— Ну это к примеру, — уже строже сказал Клим. Он посмотрел на Архипова, который от боли заскрежетал зубами.

Потом сказал, что пока все могут быть свободны, а с Павлом Ильичом продолжил разговор об Оксане.

— В Днепровогорске мне сделают справку, будто Оксана — воспитанница дворянина Рассина, расстрелянного в тридцатых годах. Кстати, Оксана и жить сможет у Рассиной. Я уже беседовал с ней. У Рассиных действительно была воспитанница, а когда Рассин был сослан в Сибирь, девочку забрали в детдом, так как хозяйка долгое время болела. А сейчас можно пустить слух, что воспитанница вернулась и решила учиться в школе переводчиков.

— Да ведь в городке-то наша Тоня живет. Вдруг встретятся? Как ей все рассказать? — забеспокоился Павел Ильич.

— Тоню надо предупредить, что Оксане придется много заниматься и лучше им не встречаться.

Разгоряченная фантазия Крепина рисовала самые разнообразные ситуации, которые могут пагубно отразиться на судьбе дочери. Впервые в жизни Оксана будет жить одна, да и в школу к немцам хорошие люди не пойдут, а так, прощелыги какие-нибудь. Чего доброго, собьют девочку с истинного пути. Отцовское сердце колеблется, но не может не согласиться.

В землянку заглянул Игнат Верещак:

— Товарищ Неизвестный! Похоже, ваша дочь тут невядалеке прохаживается, но подойти не решается.

— Я же не велел ей подниматься с постели. Она три дня лежала в жару. Мать говорила, лихорадка у нее.

— Это к лучшему, что она пришла сюда, — сказал Пелехов. — Я ее осматриваю. Ведь вы не показывали ее врачам?

— Какие сейчас врачи! Мать напоила ее столетником да компресс холодный к голове прикладывала...

— Вот и простудили! — уверенно сказал Валерий. — А почему же вы мне ничего не сказали про Оксану, когда мы были у вас?

— Да у нас каждая секунда была на учете. Задержались бы на несколько минут в доме, все бы уже болтались на виселице... Хорошо, что так обошлось.

Крепин вышел из землянки и вскоре вернулся с Оксаной. От неожиданности девушка ахнула. Минуту она не могла собраться с мыслями и, не зная, как себя вести, радостно выкрикнула:

— Так это вы здесь?.. Вот здорово!

Она прильнула к раненому Косте, а затем к Архипову. Погладила по руке третьего больного, у которого от бессилия да же не вздрогнули сомкнутые веки...

Оксана выглядела совсем взрослой женщиной, с житейским опытом, со всеми ее горестями и утратами, будто она далеко перешагнула свой возраст. Она посмотрела на учителя и сказала, что слышала от Вали Орленко, будто прошлой ночью эс-совцы избили его мать, требуя, чтобы она сказала, где он.

— А разве мать в Вишневке? Я же просил ее уехать к Гале и ее родителям!

— Не успела, значит... — двинула плечами Оксана.

Несколько минут все помолчали, с горечью глядя на Клима, тот опустил голову и задумался.

— А у нас сегодня тоже делали обыск, — тихо произнесла Оксана. — Только что ушли... Хорошо, что мама была на огороде, а ко мне, лихорадочной, побрезговали подойти. Долинич так и сказал: «Мабудь, ты, девка, помрешь и без нашей дубинки...»

Павел Ильич заскрежетал зубами. Клим скуривал одну за другой закрутки.

— Вот что, — начал Пелехов, — проводи меня, Оксанка, сейчас же к матери Клима. — Пелехов заметил недоумение на лице девочки и, взглянув на Медеренко, объяснил: — Да, теперь нет больше твоего учителя Николая Николаевича Медеренко, а есть Клим. Но это знаем только мы. А отца твоего мы зовем теперь Неизвестный. Кроме нас, никто этого знать не должен. Поняла?

— Да, да, — горячо проговорила Оксана. — Честное комсомольское, поняла.

У Павла Ильича выступили на глазах слезы, и он отвернулся, чтобы никто не заметил минутной отцовской слабости.

— А не застукают вас? — спросил Клим у Пелехова.

— У меня байка для полицейчиков готова. Скажу, что последовал их примеру и теперь хожу по домам, врачу — на пропитание, мол, зарабатываю.

— Передай матери, Валерий, чтобы при первой же возможности уходила к Гале, — требовательно сказал Клим. — О себе дам знать. Пусть не волнуется. А ты, Оксанка, поскорее выздоравливай, — повернулся Клим к Оксане, подсевшей к отцу. — Намерены мы тебя отдать в школу немецких переводчиков.

Оксана даже вздрогнула, услышав такое.

— Но я не желаю работать с немцами!

— А ты и не будешь работать с ними, — улыбочиво ответил Клим. — Работать будешь с нами. Поняла? И сейчас твоя задача — скорее выздороветь. Отправляйся домой и выполняй все

предписания Валерия и Анны Евсеевны. Ты нам нужна здоровая.

— А что я для вас буду делать? — настойчиво спросила Оксана.

— Найдем тебе дело. Язык врага надо знать. Ты и будешь его знать.

Лихорадочный румянец постепенно сходил с щек Оксаны. Павел Ильич смотрел на дочь и думал: «Трудно твоя жизнь начинается, деточка. Трудно и беспокойно». А дочь с сомкнутыми губами в упор смотрела на отца: «Значит, так должно быть, тату...»

## Глава 8

### ЗЕЛЕНАЯ, 2

Фрау Маргарэт шумно протопала по коридору и остановилась около канцелярии. Из приемной до нее донеслись мужские голоса — и она решила повернуть обратно, дабы, не теряя ни одной секунды, приступить к ведению очередного урока: «Раса и определение ее по морфологическим признакам». Маргарэт — чистокровная немка, и уж она-то с особым пристрастием будет прививать своим ученикам — на сей раз оккупированным украинцам — не только любовь к арийской расе, но и научно обосновывать отличие ее от других рас. Для этого фрау Маргарэт решила широко популяризировать теорию Гобино — Лапужа, утверждающую, что представители «германской расы» имеют превосходство над всеми другими народами мира, так как они светлопигментированные, а это наивысший человеческий тип, который чаще других встречается среди феодальной аристократии; что германские культуртрегеры — носители вавилонской, греческой, египетской и римской культуры и что, наконец, немцы — длинноголовые, то есть они имеют совершенную форму черепа. Итак, арийцы — «высшая» раса, все остальные народы — «низшая». Фрау Маргарэт мысленно готовилась ко всем вопросам, которые паче чаяния возникнут на этот счет у будущих фронтовых переводчиков «низшей» расы.

Ну, скажем, светлопигментированные люди есть на всем земном шаре и, как убедилась фрау Маргарэт, даже здесь, на Украине. В ее только группе у доброй половины украинцев и цвет глаз, и профилировка лица, и форма носа как у арий-



цев. Так, может быть, теория Гобино — Лапужа об оценке людей по чисто внешним морфологическим признакам ненаучна? Маргарэт так не думает и не хочет думать. Сегодня на уроке она настойчиво будет убеждать будущих переводчиков в превосходстве «высшей» арийской расы!

Маргарэт носила эсэсовскую форму с зигзагами на рукаве и многими отличиями. Подойдя к двери бывшего 8-го класса «А», она выпрямила свою сутулую старческую фигуру и, перешагнув порог, хрипло, но с достоинством произнесла: «Хайль Гитлер!»

Группа трижды грохнула в ответ те же слова, и Маргарэт внимательно посмотрела на каждого. По выражению лиц она поняла, что от приветствия никто не уклонился, за исключением одной... Как полагалось, она поднялась вместе со всеми, но растерялась и так застыла...

— Зетцен зи зих, — предложила Маргарэт всем сесть. — А ты не желаешь почитать фюрера? — сердито обратилась она к светловолосой девушке.

Та молчала. Староста группы доложила, что девушка новенькая, на занятия пришла первый раз. Маргарэт окинула старосту злым взглядом и еще громче закричала:

— Так проинструктируйте ее! И предупредите: никаких скидок на ее возраст и всякого рода политическую незрелость. И вообще, здесь не детский сад. Как эта новенькая попала в школу? Кто она? Кто ее рекомендовал?

Староста подошла к шкафу, вынула папку с делом Оксаны, одновременно отвечая:

— Рекомендуют ее местные власти... Это воспитанница раскулаченного Рассина. Здесь написано, что он погиб на Колыме...

Фрау Маргарэт внимательно полистала дело, но так и не смогла найти повод для скандала (в документах Оксаны все было предусмотрено!).

Эсэсовка тут же приступила к уроку. Она говорила путано, бессвязно о каких-то неписаных законах для «высшей» расы, о ее правах, о могуществе, о скором арийском мировом господстве на всем земном шаре...

Оксана записывала все, о чем говорила фрау, рассчитывая обо всем услышанном проконсультироваться потом у Клима. А заодно и сказать ему, с какой уверенностью эсэсовка говорила о «приближающемся всемирном арийском господстве». Она-то, видать, настоящая фашистка и наверняка тоже заинтересует партизан, как и тот... И опять Оксана передумывала все сна-

чала. Не забыла ли чего, все ли учла при выполнении первого задания.

Приглядываясь по просьбе Клим, где находится штаб-квартира коменданта города, Оксана начала с того, что несколько дней сряду с документом в руках ходила по улицам Днепропетровска, делая вид, что ищет школу переводчиков. Гитлеровцев в городе уйма, разных по чину и форме. Пойми, какой из них комендант, кто в каком чине. (Оксана в немецких воинских званиях тогда еще не разбиралась.) А еще сложнее узнать, кем они работают, где живут, где спят. Тем более что городок Оксане еще и самой мало знаком.

Расспрашивать о гитлеровцах у местных горожан ей категорически не велел отец, появляться часто в одном месте не советовал Клим. Он просто говорил, чтобы она прислушивалась к разговорам будущих переводчиков, местных полицейских, к уличным беседам гитлеровцев. Оксане еще в школе очень легко давался немецкий язык, и всегда за всех своих подружек она писала контрольные работы, так однажды докладывала директору школы ее учительница по немецкому языку, и это-то и припомнилось Климу, поручившему Оксане первое задание.

Однако за три дня блуждания по городу Оксана убедилась, что подобным образом никаких сведений не заполучить. И она, охваченная нетерпением, решила действовать на свое усмотрение.

С наивным выражением лица девушка подошла к зданию на Центральной площади, где столпилось десятка два гитлеровских солдат. Смело направилась к маленькому, неказистому офицеру, которому с перепоя, видно, было не по себе.

— Мне нужен комендант! — отчеканила она по-русски, а затем повторила как могла по-немецки.

— О! Майн гот! Чего захотела. А зачем тебе он? — спросил наспиртованный гитлеровец.

— Я хочу в школу переводчиков. — Оксана сунула под нос офицеру свое заявление.

Тот пошатнулся и ткнул кулаком в сторону здания школы.

— Это вон там.

— Я была там, — возразила Оксана. — Говорят, нужно разрешение коменданта...

Гитлеровец ничего не понял и истерически позвал переводчицу. «Эй, юберзетцер, ком хер!»

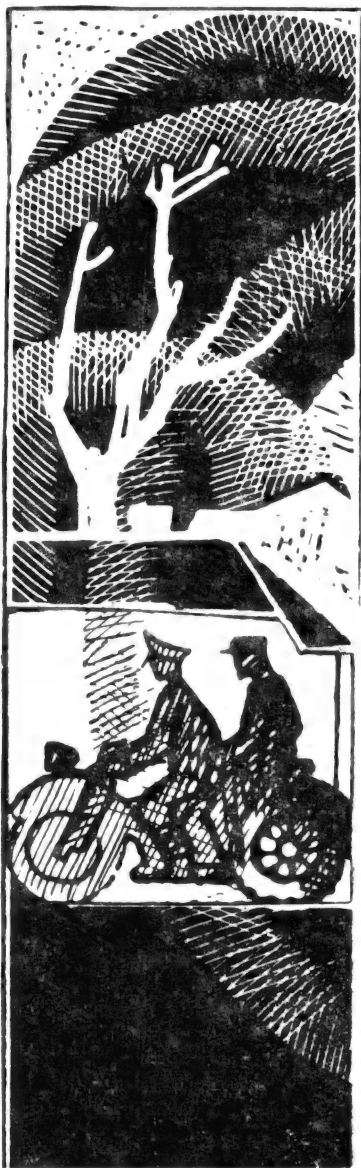
Вскоре рядом с ними появилась переводчица.

Оксана любезно повторила ей все сначала, но заволнова-

лась: «А что, если действительно она проведет меня к коменданту? Что я отвечу, если он спросит, кто отказал в приеме в школу? Ведь я никого и в глаза не видела». И тут ей пришла в голову мысль сказать, что несколько раз приходила в канцелярию, никого не заставляла, и посоветовали ей учащиеся заручиться согласием коменданта... Ведь главное — нужно было увидеть его самого, заметить, какой он собой, чтобы потом выследить, где живет.

Переводчица, жгучая брюнетка, посочувствовала будущей коллеге и, не вдаваясь в подробности, охотно подсказала:

— Комендатура, красotka, третий дом отсюда. Видишь красный кирпичный домик в глубине двора? Только сейчас уже поздно, там никого нет. Да и сам комендант уже неделю не работает. Болеет. В такие дни он занимается дома, Зеленая, 2. — Переводчица замолчала, посмотрела на пьяного гитлеровца. — Не обращай на него внимания, — обратилась к Оксане. — Это не лучший тип немецкого офицера. Так вот, иди к коменданту на Зеленую, 2, — повторила она. — Кстати, он обожает красивых девушек, и именно таких, у которых есть причина попасть к нему на прием... А что? Не будет же он ходить по улице знакомиться...





— О чем это вы? — нахмурилась Оксана.

— О, успокойся, красотка! А зачем же, ты думаешь, принимают в школу переводчиков чертовски милых девушек? Тебе-то он наверняка не откажет...

— Ничего подобного. Я видела в школе много парней, даже больше, чем девушек.

— Это в первых группах. А сейчас так не будет. Можешь мне поверить. С этой работенкой вполне справляются женщины, особенно если они похожи на оливковые веточки, как ты... — Переводчица приблизилась к Оксане и ущипнула ее за щеку.

— Хочешь, я провожу тебя к коменданту? Он будет мне очень благодарен... очень...

Оксана обернулась и злым голосом отрубила:

— Обойдусь без провожатых...

— Ну-ну! — засмеялась переводчица. — Скажи коменданту, что тебя Юлия прислала, из гестапо...

Оксана осмелела и спросила:

— А какой он из себя-то, комендант?

— Не прогадаешь, — хохотнула переводчица. — Одни ямочки чего стоят — на подбородке да на щеках. И очень ему идут, Генриху Криту...

Оксана поблагодарила и направилась вдоль бульвара.

На прием к Криту девушка, конечно, не пошла. Но прежде чем передавать сведения Климу, Оксана, на свой страх и риск, решила разведать обстановку в районе Зеленой, 2. Вдруг переводчица ее обманула?

Два дня она приглядывалась к этой улице. По ней маршировали только немцы да ездили их «опели». Каждый день мостовую подметал какой-то старичок.

В третий вечер Оксана заметила, что по тропинке, что тянулась сбоку мостовой, вереницею идут гражданские люди. Туда и обратно. И так дважды за вечер. Пошла следом и девушка. Оказалось, что за Латвиновским Яром есть клуб, где горожанам «крутят» какие-то немецкие детективы...

Оксана решила тоже ходить в клуб. Около трех километров степью по осеннему вязкому бездорожью она вышагивала туда и обратно каждый вечер. Правда, немецких марок у нее не было, чтобы попасть в клуб, и она крутилась около кассы, как бы поджидая кого-то, пока ее «спутники» не «освободятся» и она вместе с ними снова пройдет мимо Зеленой, 2. Пройдет, стоит малость, вернется и снова пройдет...

Оксана проделала уже несколько «сеансов», а Крист ей так на глаза и не попадался.

Жизнь в его особняке протекала за плотными шторами.

И вот, совсем уже не рассчитывая на удачу, она решила вновь прогуляться по тропинке. Моросил дождик. И тут-то Оксана вдруг заметила, как Крист (она сразу узнала его по описанию Юлии) садится в машину, затем появились еще два гитлеровца и сели в ту же машину, но на заднее сиденье.

Вечер этот был для нее очень удачен. Когда она снова возвращалась из «кино», комендант опять ей встретился.

Прибыл комендант домой в сопровождении тех же гитлеровцев, и они вместе с ним вошли в особняк. Свет зажегся вначале в крайнем окне левого крыла, по всей вероятности, там был кабинет. Дольше всего свет горел в третьем окне ~~правого~~ крыла; здесь наверняка была спальня. Домик был ничем не примечательный, двухэтажный.

Раньше тут жил мастер-краснодеревщик. В первые дни войны он ушел на фронт. Жену его убили гитлеровцы. Обо всем этом Оксане рассказали две местные девочки, с которыми она как-то разговорилась. Они тоже возвращались из клуба.

И теперь, выполнив просьбу Клим, в сопровождении Рассинной Оксана явилась в школу переводчиков. С ее документами знакомились два ээсмана и гестаповец. Ей задали несколько вопросов (каждый из них носил один и тот же смысл) — как она относится к новым властям, осознает ли, что будущая ее работа будет связана с поездками по фронту и что, на случай ее пленения красными, она обязана хранить все секреты. В противном случае будет убита людьми из фатерланда, которых немало и там, в советском тылу...

Оксана держалась очень спокойно, и переводчик, как поняла девушка, из русских дружелюбно сказал:

— Господа! У фрейлейн близкий человек замучен Советами... И все мы признательны вам, что вы освободили нас от большевистского террора!

Оксана едва нашла в себе силы опустить голову в знак согласия...

Ее зачислили в группу Маргарэт.

...И вот первый день занятий идет к концу. Разглагольствования немки о «высшей» расе, о том, что могут они, наци, и чего не могут другие народы, потрясли Оксану до глубины души. В тот же вечер она встретилась с отцом и Климом. (Оксана даже мысленно только так теперь называла бывшего учителя, чтобы привыкнуть и в случае чего не проговориться.) Девочка буквально разрыдалась и просила взять ее в вишневские леса,

твердила, что одной ей ни с каким делом не справиться. У отца от жалости сжималось сердце...

Наконец Оксана собралась с силами, рассказала обо всем, что узнала о Кристе. Сверх всех ожиданий партизаны получили очень важные и необходимые сведения.

— А ты слезы лила, глупая, — говорил Клим. — Да знаешь ли ты, какое дело сделала? А еще твердила, что одна без нас пропадешь!

И все-таки он не мог удержаться, чтобы не предупредить Оксану о возможной опасности, просил беречь себя и старательно учиться.

— Как убережешься, если фрау Маргарэт так и норовит ударить по голове. А одного нашего парня, говорят, по ее наказу расстреляли за то, что он отказался смотреть на экзекуции в саду. Люди сами себе копали ямы...

— Готовь о ней такие же данные, как о Кристе! — вступил в разговор отец. Подтвердил это и Клим.

— Хорошо! — прощаясь, сказала Оксана.

Девушка проводила близких ей людей к круче. Затем по безлюдным местам они спустились к переправе через Днепр.

Хотя муж Рассиной, в прошлом небогатый помещик, действительно был арестован и умер где-то на Дальнем Востоке, сама Алла Карловна не затаила зла на Советскую власть. Родом она была из бедной крестьянской семьи, рано осиротела, рано начала батрачить. И хоть случай сделал ее женой мелкопоместного дворянина, она всей душой приняла Советскую власть и ее новые порядки. Да и Рассин легко отказался от своего прошлого. И пострадал он по недоброму навету недобрых людей. Алла Карловна скоро в этом убедилась, но сделать уже ничего было нельзя.

Медеренко хорошо знал Рассину, доверился ей, используя версию с ее мужем, пострадавшим от Советской власти.

Оксана понравилась Алле Карловне, и та всегда перед сном заходила в ее комнату. В тот вечер Оксана лежала на диване, подложив под голову руки — это любимая ее поза, — и думала: «С Кристом мне просто повезло, а как узнать, где живет фрау Маргарэт? В воинской части, в городе?.. Одна, с семьей? Получится ли это у меня?»

Неопытная девушка многого еще боялась. У нее не было представления о работе и возможностях своих друзей, и она с отчаянием думала: «Ведь их так мало, а гитлеровцев так много!»

— Оксаночка! — вдруг начала Алла Карловна. — Сегодня спять Тоня приходила. Тревожится она за тебя. Обижается, что не у нее живешь. А мне бы очень не хотелось, чтобы ты ушла от меня к ней. Трудно мне, старухе, будет одной. Да и платят мне за тебя хорошо. А как мне жить иначе?

— Не беспокойтесь, Алла Карловна. Я останусь у вас. У То-ни тесно. Я не смогу там заниматься. А потом, — Оксана улы-нулась, — я ведь теперь все-таки Рассина.

Старая женщина на радостях предложила вместе поужинать. Рассина похвалила Оксану, что не бросает учебу и в войну.

— Николай Николаевич сказал мне, что дает тебе уроки, чтобы у тебя время не пропало зря.

Оксана догадалась, что мог говорить Рассиной учитель, и легко вздохнула.

...Шли дни. Как-то на пути из школы домой Оксану встретил Костя Лазаренко. Девушка заволновалась: такой договоренно-сти не было. Но улыбчивое лицо Кости не предвещало беду. Он приблизился к Оксане и мимоходом прошептал:

— Спустись к кручи!

Не останавливаясь, Костя свернул в ближний проулок.

Оксана между домиками по крутой тропинке добралась к низовью кручи. Природа здесь устроила своеобразный заповед-ник. Репей, колючка и полынь срослись в единый пласт, похо-жий на панцирь, который кожухом окутал землю. На возвы-шенности кручи виднелся навес из переплетенных веток клена и березы, чуть поодаль — акациевая изгородь, а за ней целая седая поляна. Эта лебедя будто высеяна кем-то. За лебедой два огромных дерева — дуб и верба, откуда потянулся молодой нескончаемый дубравник вперемежку с вербейником.

Именно это место и пришлось по душе партизанам.

Клим и Неизвестный ночью прочистили тропинку до самого дубравника, притащили от чьей-то разобранной изгороди не-сколько досок, чтобы можно было не только сидеть, но и поле-жать, расчистили и вторую, запасную, тропинку, замаскировав ее, как и первую, шарами перекасти-поля. С тех пор на правой стороне Днепра партизаны чаще всего встречались здесь.

Оксана поравнялась с Костей буквально на подходе к вер-бе. Тот пригнулся к девушке и шепнул:

— Ша... Только не пищать... при всякой неожиданности.

— Я и пищать-то не умею, — возмутилась Оксана.

— А сейчас наверняка сумеешь. Спорим?

Не успели они очутиться у входа в «лесную гавань», так называли в шутку свое укрытие партизаны, как Оксана не то



что запищала, а остолбенела: спиной к ней стоял гитлеровец. «Так это тот «живой фриц», с которым мне придется сейчас говорить», — вспомнила Оксана разговор с Климом. Но «гитлеровец» повернулся, и девушка увидела, что это Максим Скрипко.

— Время терять не будем. — обратился Максим к Оксане. — Надо кое-что уточнить. Уверена ли ты, что Криста зовут Генрих? Откуда у тебя эти данные?

— Переводчица Юлия из гестапо его так называла...

— Отлично. А доводилось ли тебе с ней еще встречаться? Она бывает в школе переводчиков?

— Нет.

— А знает она, где ты живешь? Что уже учишься?

— Не думаю... С тех пор я с ней не виделась.

— Фамилией твоей интересовалась в тот день?

— Нет.

— Та-ак... Кажется, здесь все чисто, — ответил Максим и, взглянув на свои часы, обратился к Косте: — Герр лейтенант, перевоплощайтесь! Наше время...

Оксана не успела опомниться, как перед ней вырос и второй «эсэсовец».

Костя щелкнул каблуками:

— Готов выполнять все ваши указания, герр майор!

— А вы кому служите, милейший? — пошутил Максим, поигрывая Костиным аксельбантом.

— Я, как всегда, верен любимой «адке» \*. Можете не сомневаться, что при нашей взаимной любви мы еще немало с ней наломаем дров...

— Проверим, а то вот этим канатом отхлещем тебя как следует, — сказал смеясь Скрипко.

— Согласен, если будет кого и по чему хлестать...

— Ну, хватит дурачиться. На сколько завел?

— На двадцать два тридцать. Время, когда Крист сосредоточенно будет «сочинять» свой последний доклад...

И только сейчас, когда Костя посветил фонариком, Оксана рассмотрела, что на парнях гитлеровская форма была не зеленая, а табачного цвета.

— Вас же сразу узнают, что вы задумали! — вскрикнула Оксана. — На немцах форма зеленая, красивая. А это какая-то линиялая.

— А мы и не немцы, мы румыны. А что цвет такой, то пока

---

\* Адская машина (взрывной механизм).

лучшего у Гитлера они, видать, не заработали. Ну ладно, много будешь знать — скоро состаришься, — закончил Максим.

Оксане хотелось узнать, откуда все же у партизан такое обмундирование, но она понимала, что сейчас не до любопытства. А Костю она все-таки спросила, как его рана, не беспокоит ли.

— Хорошо, что напомнила, — спохватился Максим. — Раненый офицер, не забудь руку подвязать!

Костя перекинул через голову связанный широкий бинт и удобно расположил на нем свою простреленную руку.

— Присядем на дороге!

— В путь! — вдруг решительно скомандовал Максим. — Да, чуть не забыл, — обратился он к Оксане. — Возьми эти свечи. Света в городе не будет несколько дней. Мы дел натворили немало. И еще. В день похорон Криста остерегайся угодить в заложники. И последнее. С той стороны никто к тебе не явится несколько дней. Опасно. А сейчас, чтобы не вызывать подозрений, иди домой и ложись спать.

— Скажите, а батко будет с вами?..

— С нами сейчас будут все, даже ты... — поспешно ответил Скрипко. — А теперь не желай нам удачи, пошли лучше к черту!..

— К черту... — едва вымолвила девушка.

Мотоцикл загремел не сразу. Сначала два «гитлеровца» подкатили его к шоссе, положили на обочине дороги и заматались у колес, будто устраняют неисправности, а затем рев мотора разрезал загробную тишину.

Оксана не находила сил сдвинуться с места. Нет, больше ее не одолевали сомнения и страх. Просто не было сил подняться. Но она заставила себя встать. И когда мотоцикл свернул на Зеленую, а затем остановился у дома 2, девушка была уже дома.

\* \* \*

...Криста и его адъютанта хоронили через сутки... Все гитлеровцы надели черные повязки на рукава мундиров; в тот день не работали военные учреждения. На улицах, в магазинах и на каждом перекрестке у всех мужчин проверяли документы. Горожане были удивлены, что особенно тщательно документы проверялись у румынских офицеров. Эта южная оккупированная часть Украины была подарена Гитлером Румынии. Однако «верховная узда» принадлежала все-таки циммекам и кристам. И вот пошли слухи, будто ищут двух румынских офицеров, изменив-

ших фюрерским властям и совершивших уже не первое покушение на видных чинов фатерланда.

\* \* \*

...В партизанской землянке шло собрание. Максим Скрипко рассказывал все по порядку, как они с Костей подкатили на мотоцикле к штаб-квартире на Зеленой, 2 и как дежурный солдат, ответив, что Крист у себя в спальне, долго не решался пустить господина офицера, ссылаясь на позднее время.

— Я показал удостоверение и инспекторскую командировку. Сказал, что прибыл из области по важному делу, касающемуся лично коменданта. И что задержу его внимание на несколько секунд. Солдат уступил мне дорогу... Но так как я румынский офицер, то дал мне сопровождающего немца. Это несколько осложняло ситуацию. Но я решил не отступать.

Криста застал в пижаме. В комнате было тускло, и это подбодрило меня. Представился, показал документы и сказал, что завтра к пятнадцати часам он, Крист, должен прибыть в управление к Циммеку с докладом. Крист насторожился. Я решил это отнести за счет языковых изъянов в моей речи и поспешил объяснить, что я румын и, вероятно, не очень точно говорю по-немецки. Крист почти обиделся и сказал, что герр офицер мог бы в этом не отчитываться, он сам отлично разбирается в форме и знаках отличия союзников по оружию, которые пришли на помощь его отчизне. Крист сам объяснил свое недоумение. Он уже готовится к отъезду по новому назначению (куда — умолчал), и, дескать, обергруппенфюреру Циммеку больше чем кому-либо известно об этом. Он даже направился к телефону... видно, прояснить точнее, зачем прибыли мы. Можете понять мое состояние? Ведь я не был уверен, что разговор не состоится. Но... связь сработала на меня.

С самого начала я заподозрил, что переводчик Циммека, сфабриковавший нам командировки и удостоверения, осведомил нас не во всем правильно, и начал наугад, буквально как мог, исправлять положение. Говорю ему, что возникли некоторые разногласия и даже жалобы от офицеров, подчиненных ему, Кристу. А посему для него же самого лучше будет, если он завтра лично побывает у Циммека, и, разумеется, конфликт будет исчерпан. Ибо, по сути дела, Циммек к нему хорошо относится.

Крист нехотя согласился и тут же посетовал, что нет света, а его офицеры не запаслись свечами.

Я охотно предложил ему свои услуги. Сказал, что со мной

едет в госпиталь раненый лейтенант, тоже румын, и для врачей мы везем два десятка свечей (оттуда заказали) и что можем поделиться. С его разрешения отошел позвать Костю, так как он был на улице. Мой провожатый остался с ним.

Мне показалось, что у Криста вновь возникло недоверие. Он вызвал своего адъютанта и еще одного какого-то офицера. Но мы продолжали действовать.

Возвращался я первый, Костя за мной — с двумя портфелями: в одном — свечи, в другом — «адка». Но нес он их вместе. И получился как бы один большой портфель с двумя ручками.

Все телохранители сидели справа от Криста, мы же умышленно подошли к нему слева. У Кости на подвесе перебинтована рука. Крист посочувствовал... Потом принялся копаться в каких-то папках на столе.

Не теряя ни секунды, Костя поставил на пол два портфеля одновременно и основной из них, со взрывчаткой, придвинул к ногам Криста. Из второго портфеля вынул четыре свечи, а потом расчувствовался, и еще две, мол, берите, ничего не жалко...

Уходили мы, как и вошли, с одним портфелем, по крайней мере, так все это выглядело при тусклом свете. Я сказал Криту, что должен больного лейтенанта срочно доставить в госпиталь, а оттуда мог бы снова к нему заглянуть. Но так как время было позднее, мы договорились, что буду у него завтра утром и мы обмозгуем вместе некоторые вопросы. Пообещал попытаться уладить все его дела...

Смех заполнил партизанскую землянку. Максим смущенно продолжил:

— Выбрались мы благополучно. В том, что часовой механизм со взрывчаткой сработал вовремя, мы убедились, когда доплыли до середины Днепра.

Кто-то подтрунил над Максимом:

— А ты не сбился, когда толкал Криту зазубренную речь?

— Я действительно говорил, как школьник на первом экзамене. Но, к счастью, Крист оказался покладистым экзаменатором. Слушал, не перебивая... Видно, Криту не впервой иметь дело с собратом другой нации. Он даже подсказывал, как верно произносить по-немецки слово «господин».

— Боевое вам спасибо, друзья! — обнял руководитель отряда Максима и Костю. — Чудо, а не парни...

Максим вскочил по стойке «смирно»:

— Разрешите, товарищ командир, к чудо-парням Максиму Скрипко и Константину Лазаренко присоединить Виталия Кара-

сева, обеспечившего великолепную аварию на электростанции, Павла Ильича, прошу прощения — Неизвестного, и Валерия Пелехова, вовремя подоспевших со шлюпочкой, и Оксану Крепину за точно собранный материал... и счастливое напутствие...

Все сидевшие в землянке заулыбались в ответ на это полусерьезное-полушутливое обращение.

— Что верно, то верно. У Оксанки сейчас везучая полоса. Мы только поручили ей собрать необходимые для нас данные об эсэсовке Маргарэт, а она через Анну Евсеевну уже сообщила: «Вчера фрау Маргарэт взорвалась вместе с мотоциклом в городе». Мы не одиноки, товарищи! — закончил Клим. — И это очень здорово! Павел Ильич, — обратился Клим к Крепину, — все успели записать?

— А что он записывает? — раздался чей-то глуховатый голос.

— Товарищи, мы ведем запись дел отряда. Это будет отчет нашим, когда они сюда вернутся, — тихо объяснил Клим. — Неизвестный — здешний, он лучше всех знает места и хорошо сохраняет тайник, где хранятся наши записи.

Это сообщение вызвало радостное оживление и как бы придало еще больше сил членам партизанского отряда.

## Глава 9

### ЗВЕЗДОЧКА

Бывший областной центр Петровск был захламлен всякой всячиной. Здесь и разбитые башмаки валялись близ мостовой, и отовсюду ветром сносило к бульварам смятые окурки с отпечатками губной помады. Недокуренные немецкие сигары шоколадного цвета можно было увидеть в витринах бывших магазинов, в замочных скважинах, на подоконниках и фундаментах.

Город будто опустел. Люди под постоянным страхом куда-то торопились, сторонясь представителей новой власти, облаченных в черный, зеленый или табачный цвета, а на Горной улице, где разместилась центральная жандармерия, совсем не появлялись местные жители. В немецких управлениях то и дело фабриковались «ферорднунги» (распоряжения): немедленная облава на проспекте Маркса, где будто бы скрывается советская подпольная организация; о засаде на евреев в подвале чулочной фабрики; об окружении особняка в Стекольном переулке, где,

по предположениям агентов-доносчиков, скрывается бывший секретарь обкома партии Гаврилюк; о расстреле коммунистов, содержащихся в городской тюрьме.

В число учредителей нового порядка входили немцы, румыны и небольшая часть итальянцев. Всю работу возглавлял обергруппенфюрер СС Килка, командир обергруппы высшего соединения.

Только после наведения порядка в городе обергруппенфюрер откомандировал своих работников в районы. Тогда и прибыл Фриц Рауше в Вишневку.

Когда в Петровске висели уже немецкие плакаты, понемногу начала налаживаться торговля, заработали предприятия, и город чем-то стал напоминать Килке Мюнхен со старинной ратушей, он придумал герб города: мадонна в льняной размаханке, вышитой украинскими узорами, и в таком же чепце.

«Штандарты» великого рейха поздравили обергруппенфюрера и предложили представить к награде всех установителей нового порядка.

Получил тогда Железный крест и Фриц Рауше. Марфушкин и Долинич узнали, что в связи с этим событием их Фрицу предстоит отпуск, и задались целью преподнести ему сюрприз — короче, отблагодарить за все сделанное для них.

Однажды они увидели, как Фриц открыл шкатулку, чтобы положить туда письмо от жены, прибывшее только что с новой почтой. Прежде чем положить письмо, Рауше вынул из шкатулки игрушечную мартышку из плюша. Долинич не удержался:

— Любите, мабуть, оцих чертят?

Марфушкин перевел.

Рауше был в хорошем настроении и пустился в рассуждения о том, что ему, офицеру фюрера, некогда заниматься игрушками, а вот жена его Эльза обожает ходить в зоопарк, не оторвешь ее от клеток с обезьянами, стоит подле них часами.

Еще тогда задумали Долинич и Марфушкин за любую цену приобрести живую обезьянку и в удобный случай преподнести ее Рауше. Такой случай наступил. С этой целью Труба и был откомандирован в область.

Задание не из простых. И Труба неодобрительно бурчал:

— И в джунглях тэпер обезьянку не найты...

— Требуется обезьяна, говорят тебе. И искать без супротива! — прикрикнул Долинич.

— Да по мне, хоть целый зоопарк имейте. Так где ж его взять? Вся живность эвакуирована...

— Я сам бачыв на толчке в Петровске — один из-под полы

продавав обезьянку, — говорил Долинич. — Туда надо ехать.

— А шо вин за прынци? Откуда у нього обезьяна?

— Не прынци, а из рабочей прислуги цирка. Гастролер. А в таких все бувае.

И Труба уехал. Находясь несколько дней в Петровске, он то и дело вспоминал этот разговор с Долиничем и делал уже не одну попытку встретить подобного «гастролера». Дважды он едва не угодил под облаву, когда гитлеровцы со всех концов окружили Стекольный переулок. Дело в том, что осведомители доложили в жандармерию, будто бывший секретарь обкома частенько появляется тут. Теперь встал вопрос не арестовывать его, а по его следам определить местонахождение подполья.

Труба появлялся на толкучке ежедневно вместе с ранними его завсегдатаями. Первый его вопрос или совет с прохожими, где купить обезьянку, всех удивлял. Время было — не до развлечений. Люди разучились смеяться. И Труба был согласен, однако выполнить задание он должен, иначе — амба!

Его уже многие приметили. И вот как-то подошел к нему квадратный, низкорослый мужчина и сказал:

— Говорят, ищешь обезьяну? Какой породы?

— Та хоть какой.

— Могу устроить тебе надрессированную шимпанзе. Умница. А для чего тебе?

— Для подарка в Берлин.

— О, мое существо как раз подойдет для этого. С профессорским образованием...

— Без брехни. Сколько?

— А сколько можешь?

— Я в ценах на такой товар мало шо понимаю. Могу только сказать, сходно или не сходно, — сказал Труба.

— Не меньше как четвертак с крупного куска.

— А шо це за четвертак?

— Двадцать пять тысяч...

— У мене с собой двадцать две...

— Сойдет... Остальные — дам адрес, подвезешь. Поверю. По рукам? — спросил незнакомец.

— Ну шо ж, по ладоням! — ответил Труба.

У Трубы подкосились ноги при первой встрече с шимпанзе. Это было и вправду весьма смышленное существо, но значительно больших размеров, чем он предполагал. Хозяйина дома она встретила тем, что полезла к нему в карман за конфетой, а Трубу укусила за палец, ибо он посмел обмануть ее: протянул пустую ладонь.

— Она шо ж, разглядела, поняла, шо у меня ничего нема в руке?

— Конечно. Самая умная и понимающая была в нашем цирке. В шутку «профессором» мы ее звали. Да вот накануне эвакуации захворала, даже на ногах не стояла. Мне, как старому служащему цирка, подарили ее. Сказали, мол, выходишь Звездочку нашу, побереги до нашего возвращения. А Звездочкой мы ее прозвали потому, что с первых дней дрессировок она очень полюбила и сразу же различала красную звездочку. Как только, бывало, выходит на сцену, сразу ищет ее, значит, там и ее место. До купола доберется за пять секунд, если на потолке изображена звездочка, и именно красная. А не окажись ее там или она другого цвета, смотришь, Звездочка закапризничает и не будет работать. Одним словом, с характером. Обижать ее нельзя, она может объявить голодовку на несколько дней. И к себе не подпустит.

— Не жалко вам Звездочку? — спросил Труба. — Вы призывкли к ней, она к вам.

— Жалко. Ну что поделать. Я выходил ее, она выздоровела, а кормить нечем. Война... На детей не могу смотреть, как они мучаются голодные, а тут еще один человечек. Не покормишь — плачет. В цирке ее баловали, давали все, что повкуснее, а у меня и плохой еды нет. А ведь на немецком хлебе из опилок много не протянешь.

Циркач начал готовить Звездочку в дорогу.

— Это возьмите с собой, — подал он Трубе кожаный мешочек. — Там краски и кисти. Звездочка любит рисовать. В цирке ей это часто доводилось делать. Ведь сразу нельзя ее лишить всего. Худо будет, если снова заболит. Поэтому скажите ее будущим хозяевам, чтобы они хоть изредка давали ей бумагу, картон, дощечки. А уж Звездочка сумеет ими распорядиться.

Чем больше циркач рассказывал о своей подопечной, тем чаще Трубе приходила в голову тревожная мысль: «Ту ли обезьяну он везет для Рауше? Ведь она даже имя носит такое, которое наверняка Рауше ошеломит! Да ведь выбора-то никакого...»

Прощалось со Звездочкой все семейство циркача очень трогательно. Дети тискали обезьяну, гладили, обнимали, а та ласкалась к ним, словно котенок, и ни за что не хотела оторваться от уютного дивана, на котором вместе с ними провела целых шесть месяцев. Звездочка схватила кусок расчески, лежавшей подле нее, и принялась расчесываться.

— В дорогу собирается, — сказал хозяин. — Видно, поняла: чему быть, того не миновать...



На улице было прохладно. Припорошил землю и крыши первый снег. Мороз затанул лужи, на окнах пустых комнат, покинутых эвакуировавшимися хозяевами, вырисовал незамысловатые узоры. Дым винтом тянулся в небо, предвещая заморозки, и циркач забеспокоился:

— Не простудите Звездочку. В крепкие морозы не выпускайте на улицу. Лечению она поддается плохо.

Он принес откуда-то огромный саквояж, и Звездочка заметалась: поняла — это для нее. Обезьяна удобно расположилась в саквояже. Циркач прикрыл ее одеяльцем.

— А она спокойная! — удивился Труба.

— Потому что не знает, куда едет. Думает, на гастроли, — с сожалением сказал циркач.

— Оно почти так и есть. Худо ей не будет... — обнадежил покупатель хозяина.

Гурьбой провожали Звездочку на железнодорожный вокзал. Циркач, теперь располагая деньгами, купил ей конфет, печенья. Правда, все это было самодельное, домашнее и, может быть, не совсем вкусное, но Звездочка насытилась и уснула.

Всю дорогу Труба боялся заглянуть в саквояж, дабы не потревожить свою, как он считал, счастливую находку. На остановках он оберегал ее от толчков, ограждал от беспокойных пассажиров, осторожно поднимал боковую стенку саквояжа, впуская воздух. В Вишневку они добрались без каких-либо трудностей и приключений.

В кабинете Долинича Стецько рассказывал о том, какие сейчас у него планы насчет увеличения церковного дохода. В этот момент и появился Труба, да не один, чем вызвал неописуемый восторг присутствующих.

Шимпанзе усадили на стул, и та принялась расчесывать и приглаживать шерсть. Это вызвало смех. Звездочка, как когда-то зрителям, поклонилась. Восторгам не было предела...

Обезьяну решили тут же передать будущему ее хозяину — Фрицу Рауше.

— Он, кстати, сегодня здесь! — подхватился Марфушкин. — Поидемте к нему немедленно!

Фриц Рауше сидел у зеркала и выщипывал на висках седые волосы, как вдруг приоткрылась дверь и на пороге появилась шимпанзе. Поскольку за ней никто не следовал, то Фриц вскочил со стула, схватился за голову и в испуге выпалил: «Галлюцинация? Привидение?»

Боясь рассердить представителя «высшей» расы, через секунду к нему в кабинет пожаловали Долинич, Стецько, Тру-

ба, Марфушкин и еще два немецких вооруженных солдата.  
— Это наш подарок вам, прелюбезный господин Рауше, а точнише, ваший жинци Ель... Ель... тьфу, Эльзе то есть, вона ж любить цых чертят, обезьянок, — выпалил староста и смутился за свою нелепую речь.

Рауше припомнил состоявшийся недавно в этом кабинете разговор.

— Альзо, — обратился он к переводчику Марфушкину. — альзо гут, гут! Внимание с вашей стороны ко мне... Передайте всем огромное шпасибо.

Последнее слово он сказал по-русски. Раздались жиденские хлопки. Пока шла беседа, Звездочка уже освоилась и бесцеремонно взобралась на стул Рауше. Хозяину пришлось стоять...

— О! Такая смелая! Откуда? Цирковая? И стрелять умеет?..

Все то, что говорил Рауше, Марфушкин дословно переводил. Труба растерялся. Действительно, такого разговора у него с циркачом не было, и он в смятении поглядел на Марфушкина:

— Ни-ни, вона спорцменка.

— А как ее зовут? — спросил эсэсовец по-польски.

Труба замаялся и виновато процедил:

— Звездочка.

— Звездочка? — точь-в-точь повторил Рауше за Трубой и посмотрел на Марфушкина.

— Stern (Штерн), — пересказал переводчик.

— Was? (Что?) — крикнул гитлеровец. — Der fünfzechige Stern? (Пятиконечная звезда?)

— Нет, нет! — поправил его Марфушкин. — Просто Звездочка, это ласкательное имя такое.

— Все равно, — возразил Рауше. — Дрек! Впрочем, погодите, — вдруг приостыл Рауше, и его лицо приняло сентиментальное выражение. — Если у вас есть имя Звездочка, то почему у немцев нет имени Nakenkreuz?

Все переглянулись.

А Труба спросил:

— А шо це такое?

— Свастика! — перевел Марфушкин.

Все молчали.

— Nakenkreuz! Nakenkreuz! — повторил Рауше, глядя на шимпанзе. — Не совсем подходит. Слишком официально...

А мысленно прикинул: «Государственный знак и обезьяна... За такое можно и карьерой поплатиться... А может быть, использовать часть этого слова? Kreuz — крест. Нет, мрачно. А Naken? Naken — пика. О! Отлично!»

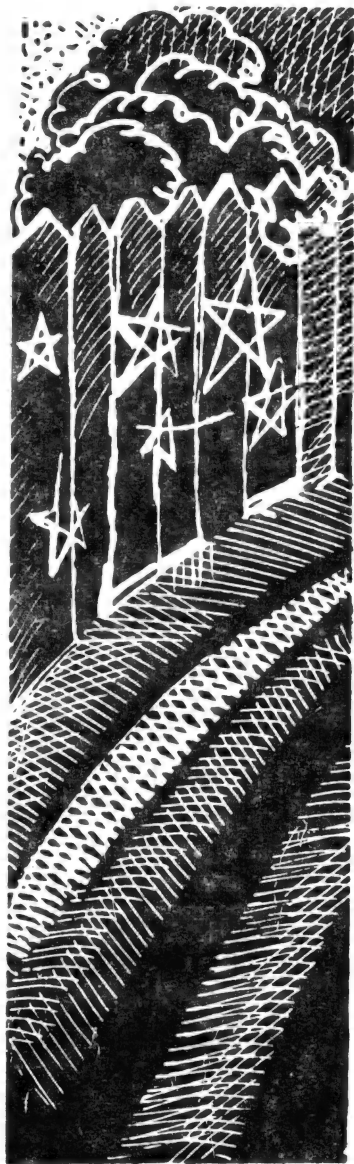
— Отныне ее будем называть Хакен! Итак, Хакен, здравствуйте! — милостивым голосом сказал гитлеровец и подал шимпанзе руку.

Та непонятливо посмотрела на человека в зеленом, а когда Рауше решил погладить ее по голове, она укусила его за палец. Тот не возмутился, а, напротив, захотел, ласково повторяя: «Хакен, Хакен, ну, Хакен...»

Однако обезьяна совершенно не реагировала на новое имя, да оно и понятно: она слышала его впервые.

Прошло несколько дней. Хакен занимались все понемногу, а ухаживать за ней поручили Трубе. Он кормил и поил ее, через день купал в специальном глубоком корыте, изредка выходил с ней во двор на прогулку. Рауше все больше и больше восхищался Хакен и уже сообщил Эльзе, что наконец из России он привезет ей то, о чем она мечтала всю жизнь. Хакен чаще стала бывать в кабинете Рауше, а в последнее время вместе с ним садилась за письменный стол. Однако по-прежнему не реагировала на новое прозвище.

Однажды Рауше вернулся из района и ужаснулся: все чемоданы с трофеями были сдвинуты на середину кабинета, раскрыты, и вещи, находящиеся в них, очутились на полу в разбросанном и смятом виде.





Поначалу Рауше не мог понять, что же произошло, пока не увидел, как Хакен, вся закутанная в голубом крепдешине с огромными красными маками, спала на том диване, где всегда отдыхал он.

Все это Рауше расценил тогда как необходимое баловство в скучной и однообразной жизни Хакен.

А Хакен постепенно менялась: свирепела, словно поняла, что попала в «чужой» для нее дом. Она без причины объявила обещанную циркачом голодовку и была крайне вялой на протяжении трех дней. Реагировала только тогда, когда ее называли Звездочкой (так втихаря к ней обращался Труба), но по-прежнему еще более настойчиво садилась за стол к Рауше. Будто знакомилась с его делами. Гитлеровца это умиляло. Рауше не терял надежду до выезда в Берлин приручить Хакен.

Больше всего оберштурмбаннфюрер боялся пожара. Частенько он оставлял на виду спички, но предупреждал солдат, когда уезжал по делам. Только зря Рауше волновался. Звездочка никогда не любила играть с огнем, даже в цирке.

Все шло гладко. И теперь Рауше усложнил испытания с Хакен: он оставлял на столе не только спички, но и бумаги, опять предупредив дежурного. Тот то и дело понюхивал в щель. Горелым не пахло — значит, в кабинете порядок.

В то утро Рауше уехал в ближние села и обещал вернуться скоро.

Труба утром навестил шимпанзе, покормил ее. Тогда он впервые услышал звуки, похожие на плач. Ему даже показалось, что и глаза у Звездочки повлажнели... «Заскучала», — подумал Труба и вспомнил слова циркача: «...лишить ее сразу всего будет худо». Он тут же достал мешочек с красками, кусок картона и положил это все перед Звездочкой. Та озорно схватила мешочек, нашла петлю, заделанную сверху, и просунула в нее голову. Таким образом, на ней оказался своеобразный фартук с нашивными карманами, а в них — художнические принадлежности. Звездочка чем-то смахивала на заправского художника.

Труба торопился в полицейский пункт за нарядом и не стал дожидаться, когда обезьяна начнет рисовать. Как только Хакен осталась одна, она открыла шкаф с одеждой Фрица Рауше и сразу узнала тот парадный костюм, в котором он впервые ее встретил. Легко потянула за рукав. Костюм очутился у ее ног. Поначалу она сорвала Железный крест и упрятала в свой фартук-мешочек. Затем она вывела огромную красную звезду на полé мундира. А рядом зигзаги, точки, запятые... Все это оста-

вила на полу, потом мазнула в двух-трех местах по шкафу, вокруг себя...

В несколько секунд засверкала пятиконечная звезда на спинке дивана... Делала это Хакен невероятно быстро и ловко.

Затем шимпанзе вынула из столика какие-то инструкции и снова облепила их красными звездочками. От гербовой свастик и ровных типографских строк не осталось и следа. Вскоре на сейфе, на стуле, на стене и даже на полу засияли звезды...

В коридоре послышался шум. Хакен вскочила на подоконник, толкнула раму и прыгнула на землю. И запестрели пятиконечные звезды на стене бывшего сельпо. Потом Хакен перескочила в соседний двор, и там на стене хаты выросла звезда, а затем на полицейском пункте, на заборе, ограждавшем особняк Долиннича, на толстом дубе близ церкви...

Зашумели, забегали люди, дивясь существу, которое не хотело смириться со свастикой... А Хакен как бы напоминала людям: «И вам они, красные звезды, нужны, и вы о них не забудьте!»

А в церкви шло венчание. Стецько благословлял молодоженов, Долиннич стоял в стороне, ухмылялся, радовался тому, что все так ладно течет в его жизни, Марфушкин и Труба обсуждали какие-то дела, люди, сторонясь полицаяев, постепенно расходились по домам.

Вдруг раздался женский голос:

— Люди хорошие, поглядите! Обезьяна предсказуе, шо наши соколы скоро вернутся! Вона ж велика умнычка, сколько звездочек нарисовала! Ей-богу, душенька ее чуе. Вернуться наши, слава богу. Це така оказия не зря. Святъ, святъ! — перебрелась женщина.

Труба выскочил на улицу, а за ним и Марфушкин.

Хакен сидела на крыше переднего крыла церкви и расчесывалась... А когда ее окружили немецкие солдаты вместе с подросшим Фрицем Раушем и он ласково позвал ее: «Спустись, Хакен, ну иди сюда, обещаю тебя не тронуть», — обезьяна швырнула Железным крестом в голову хозяина и затем еще чем-то и пустым флаконом... Рауше вынул пистолет и с яростью ненавистью выстрелил в Хакен...

Но та успела взобраться на самый купол церкви и через приоткрытую дверку нырнула к колоколу: там и скончалась...

А когда Рауше вошел в свой кабинет, теперь уже превратившийся в храм красных звезд, схватился руками за грудь и едва смог вымолвить:

— Проклятая россиянка!..

### ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ

Прошло восемь военных месяцев.

Зима была в полном разгаре. Студеный ветер дул с севера. Ветровен наворочали высоченные снежные сугробы, похожие на снеговые барханы. Мороз сковал Днепр.

Долиннич теперь уже твердо знал: партизаны в Вишневке есть. Это они обстреляли машину с охраной Фрица Рауше. И хотя никто из гитлеровцев не был убит и даже не был ранен, однако староста немедленно приказал начальнику полиции Марфушкину усилить розыски бывшего коммуниста Медеренко и доставить его местным властям. Староста не верил, что бывший вишневский парторг остался на оккупированной немцами территории только потому, что из-за болезни не успел эвакуироваться, как утверждают все селяне.

У Марфушкина появились свои люди — осведомители.

Сапожник Ефим, высоченный хромой матерщинник; сухопарый, болезненный Рузанко и бывший полевой бригадир скуластый Данило, неизвестно как увильнувший от мобилизации. Настоящей дружбы у них никогда не было, и встречались они чаще всего на базаре. Словно бабки-сплетницы, любили поспудачить о чужой жизни, побрехать о том, о сем, вспомнить старину. Вот, мол, сказывали наши деды, как при царе жить на Руси было хорошо. Приволокешь домой на одну копейку фунт соли и барствуй себе добрых пару лет. А одежда? Сапоги стоили семь чеканок, бушлат — три, рубаха — две. Ну и житуха же была! А цчас? Злыдни... «Ша! — обрывал кто-нибудь из троих. — На Соловки загремишь...»

После такой «откровенной, задушевной беседы» разбегались они в разные стороны до следующего базара. Но долго еще одного мучила совесть, другого преследовал страх за высказанную мысль, третий, Рузанко, как правило, примчась домой, сразу же припадал к иконе богоматери и просил снять грех, совершенный только что в поддержке слов лукавых Ефима и Данилы... И богоматерь прощала... На Соловки Рузанко не попал, не попали и его дружки, а грянула война...

Встретили они ее тоже одинаково. У всех нашлись дефекты в здоровье, и за винтовку им взяться не довелось.

Пришла новая власть. И тут-то возродилась их давнишняя дружба. Теперь безбоязненно они появлялись вместе на базаре,

еще пуще ругали «старое» — чувствовали себя новыми хозяевами нового положения. А стремления их сводились к одному: абы гроши!

По воскресным дням собирались они чаще всего у Ефима и «пережевывали» всю гитлеровскую стряпню в местной газетенке, от первой буквы до указания адреса издателя. Затем маршировали прямехонько в церковь, чтобы ударить поклоны за будущий «рай». Там их и приглядел Марфушкин. И они с остервенением взялись выслеживать Медеренко.

Рай не наступал, а расстрелы начались... Фриц Рауше приказал: завести на мужчин картотеку с обязательной графой — «место работы». Началась перепись... Были такие, что уклонялись от регистрации. Их вылавливали и отправляли в обещанный «рай», который именовался смертью. Расстреляли нескольких подростков. Зачастили по Вишневке облавы.

Дружки поочередно сторожили у дома Медеренко, пытаясь схватить в заложницы его мать.

...Гитлеровцы и полицаи уже дважды прочесали все Приднепровье, в том числе и район Агатова; вновь обыскиали каждый дом, но схватить бывшего учителя им так и не удалось, хотя на сей раз Марфушкин многим вишневчанам пообещал хорошее вознаграждение за голову Медеренко.

Медеренко на время переправился на правый берег реки, в Днепропетровск, где скрылся у друзей.

О переписи Крепин узнал от Трубы, который зашел к нему домой для выяснения вопроса о «роде его занятий». Крепин объяснил ему, что последние два года он был пастухом, что сильнее всего на свете любит поле, лес и воздух.

Труба стал уверять Крепина, что до весны и лета далеко, а немцы угоняют за тридевять земель всех, кто сегодня не у дела. Угоняют и расстреливают... И как ни странно, именно Труба помог Крепину устроиться сторожем на ближнюю ферму. Сюда было завезено пятьдесят краснопятнистых коров, два таких же быка, несколько пар лошадей, три борова и десять свиноматок. Пополнение фермы шло за счет налогоплательщиков — местных жителей, которые обязаны были телят-одногодков из-под своих коров сдавать на ферму.

Крепин приходил на службу вечером, как и полагалось сторожу. Но как только Большая Медведица раскидывалась в небе колесницей, его заменяла Анна Евсеевна со своим верным другом Амуром. Пробежит, бывало, Амур кругом по всему хозяйству, проверит, все ли тут свои, и вернется к хозяйке.



Если же она задремлет, он садился рядом и, не шелухнувшись, нес дозор. Нес честно: всматривался не только в каждый ближайший шелюговый кустик, в каждую тополевую тень, но даже в круглый диск луны. Амур лаял на луну удивительно смешно. Бранил ее на разные голоса то громко, то тихо, то дерзко, то снисходительно. Когда золотой подсолнух бледнел с рассветом, Амур довольно встряхивался, победоносно валился брюхом наземь, но все еще сердито поглядывал в небо своими ослепевшими от усталости глазами. Смотрел... ждал... но не лаял. Чувал, что не приблизится больше это загадочное чудовище ни к ферме, ни к коровам, ни к хозяйке, ни к его поводку...

Амур был привязан к своим хозяевам. Скучал по ним, ждал и, главное, не умел этого скрывать. Вот уже третий день Крестин не появлялся на дежурство, не приходил и домой. Если Анна Евсеевна сердилась, что ее «чоловика» кто-то видел в центре села, а не во дворе у себя дома, она тут же из-за злости переставала о нем думать. Амур же наоборот. Он продолжал беззлбно, безревностно скучать. И все это кончалось тем, что пес находил в каком-нибудь закутке старую, выброшенную вещь, принадлежавшую Павлу Ильичу, тащил ее к тому месту, где усаживался сам. Чаще всего за Амуром странствовала старая-престарая брезентовая рукавица Павла Ильича с одним напальчником, которую он выбросил на свалку еще в прошлом году. Легко и удобно ее было переносить с места на место. Не ленился Амур перетаскивать и валенок с галошей. Правда, тут не всегда ладилось — сначала терялась галоша, потом валенок, и Амур добирался до места с одной онучей... Но поверх нее он протягивал лапы, и клал на нее свою морду, и так лежал, пока кто-нибудь из «старших» не шлепал его за эти проказы собственным его поводком...

Анна Евсеевна в последнее время начала догадываться о делах мужа, когда гитлеровцы заматались в поисках Медеренко.

Она ни в чем не хотела им перечить, а лишь тревога за их жизни ни на миг не покидала ее.

С очередного дежурства Анна Евсеевна с Амуром вернулись раньше обычного. По знакомому только матери предчувствию сегодня домой должна бы навеститься Оксанка. И ей хотелось бы встретить дочь хорошим, как прежде, обедом. Но все запасы продуктов были конфискованы гитлеровцами. При последнем обыске нашли даже упрятанные в закроме полмешка пшеничной муки. В самые голодные дни ни муж, ни она сама не

смели прикасаться к этому запасу хлеба. Он хранился для детей и особо желанных гостей.

Теперь матери нужно было пустить в ход все свои кулинарные способности, чтобы сделать что-нибудь вкусное. Война погубила весь урожай. Большая часть ржи и пшеницы так и сопрела в поле в стогах или на току, необмолоченная, не собран картофель, на который в сорок первом году и без того не было урожая. И сейчас приходилось питаться жиденькими щами без мяса и картошки да испеченной тыквой, что хранилась в подполе и на чердаке. Хлеба в доме почти не водилось, за исключением кукурузных коржей, которые тоже доставались Анне Евсеевне нелегко. При помощи шила она вылущивала зерна из початков, затем несколько раз веяла их на ветру, отделяя от шелухи, а после этого засыпала по две-три горсти в деревянную ступу и толкла. Ветряная мельница давно была разбита. Это малоприятное занятие изнуряло ее. Почти полдня в будке, где был недавно фронтальной госпиталь, отзывалось томительное «тук-тук-тук»... В результате кукурузные зерна раскалывались на крупички, и Анна Евсеевна из всего этого закручивала тесто, затем опрокидывала его на противень и держала до двух часов в накаленной русской печке. Под конец созревала какая-то крошащаяся, полуразваливающаяся масса, напоминавшая огромную лепешку или корж.

Сегодня Анна Евсеевна решила потолочь не кукурузу, а пшеницу и испечь пару паляниц. Тем более что и муж поговаривал о каких-то предстоящих праздниках.

Второй день на землю валил обильный снег, будто небо продырявилось. Пурга спрятала дороги и стежки, превратила всю землю в белую снежную массу.

Анна Евсеевна не сразу узнала мужа, когда он вошел весь белый, словно Дед Мороз. Казалось, все снежинки избрали своим приютом именно его, крепинскую, шапку из черной смушки, его бушлат, брюки, сапоги с длиннющими голенищами, прикрывавшими даже колени, самодельные рукавицы. В ушах, на ресницах, на бровях, на подбородке висели снежинки...

— Ты что ж, и ночевал в подворотне? В руки метелку — и снежна баба. Лиха година тебя носит, — разгневалась жена.

— Ох, женки! Волос длинный, а ум короткий. Вечно выдумываете то, чего нет на самом деле. За зайцем с утра охотился, чтоб тебе гостинца принести. Та и сам изголодался при новой власти, аж под ложечкою печет. Целился, целился и никак. Все мимо... Вместо зайчатки конину бери, — бросил

Крепин на пол завернутый в брезент огромный оковалок конского бедра.

— Ты рехнулся. Я конину бачить не могу.

— А гитлеровцы в своей газетке написали, что конина мясе съедобное и годится для колбасных изделий...

— А что сами жрут, не пишут? После них все улицы закиданы банками из-под тушенки та серебряными бумажками из-под шоколада. А нам конину предлагают. Где ихний рай, про который все дни на базаре толкуе Данило? Бусурмане они!

— Не слушай его, он наймит и провокатор. Его дело смуту в народе сеять. Я вчера чуть было не пристрелил его, как побачил, что в тенечке около церкви ему Марфушкин сунул в руку деньги.

— Це за що ж? — спросила Анна Евсеевна.

— Да уж, видно, есть за что...

Крепин, передохнув, принялся снимать с себя одежду.

— Ты шо ж, и правда можешь стрелять и в зайца и в Данилу? А есть хоть чем? — замысловато спросила жена, глядя в упор на мужа.

Крепин улыбнулся:

— Хитришь? Тебе все надо знать. Ну что ж, знай: есть чем стрелять!

Несколько помолчав, Анна Евсеевна продолжила:

— Гитлеряки так тут закоренились, шо кажется, никогда их отсюда не выгоните.

— Выгоним! Только надо всем подружнее взяться. Доносчики и изменники многому мешают.

— Этой сатаны всегда бывает богато. Особенно коли война. Их треба бить еще больше, как чужаков. Чтоб не плодились, паразиты!

— Так и думаем... Вот что, стара. У меня мало свободного времени. Послезавтра наш праздник, и надо еще кое-что успеть сделать...

— Какой же праздник-то?

— Забыла? День Красной Армии. Значит, к вечеру я снова уйду. А пока сейчас возьми эту конину, хорошо прожарь с луком, морковкой, перчиком, картошкой. В двух-трех казанах, думаю, поместится. Потом свали мне все это в ведро, дай огурцов про запас, побольше кукурузников спеки и еще добавь харчей, каких можешь. Все уложи в сумку. Я снова на несколько дней уйду.

— Не уходил бы... — заволновалась жена. — Я думаю, сегодня Оксанка домой приедет.

— Она не придет, учеба у нее сейчас трудная. А придет вечером Тоня с детьми. Она подменит тебя на ферме, малость отдохнешь, отоспишься. Меня спросят, скажете — приболел, потом пошел дочерей навестить и, видно, там и свалился.

— Для кого продукты-то? — спросила жена, укладывая в кошелку огурцы и помидоры.

— Для наших! — коротко ответил Павел Ильич. Он любил это слово.

И жена больше ни о чем не посмела спрашивать.

— А вот и Тоня, — сказал Крепин, вглядываясь через окно на бугор посреди шелогуемых кустов.

В хате стало шумно. Тоня и внуки бросились бабушке на шею. Звонкоголосые, они о чем-то наперебой рассказывали ей, и Анна Евсеевна забыла о своей печке. Павел Ильич сам принялся заправлять чесноком конское жаркое, а сверху поливать соусом из лука и соленых помидоров. Чесночно-горький запах в хате вскоре стал острым и для этого голодного времени даже приятным. Мало-помалу и Анна Евсеевна начала забывать о том, какое мясо у нее готовится в печи. Даже попробовала его на соль, добавила две щепотки и снова попробовала. Но когда обед был готов и все уселись за стол, Анна Евсеевна ни к чему не могла притронуться. Однако виду не показывала. Она видела, как проголодались дочь, внуки, муж. Ей хотелось накормить их досыта, но вкуснее в доме ничего не нашлось, кроме конины. «И пускай, — думала она про себя, — лишь бы не заболели...»

После обеда, как и всегда, Павел Ильич отдыхать не стал. Отозвав Тоню в сторонку, шепотом сказал ей:

— Давай ключи от комнаты... А вы, значит, три дня в Вишневке будете?

— Даже четыре, отец.

«Вот и хорошо, — прикинул в уме Крепин. — Вот и квартира для наших — Клима да Тараса. Не придется Оксанку подвергать опасности. — Подумал и усмехнулся: — Надо же — в мыслях, и то теперь не Медеренко и Гаврилюк, а Клим да Тарас».

В тот вечер Крепин, как положено, принял дежурство, обошел хозяйство, потолковал со скотоводами, пожаловался на недопомогание.

В комнатушке Оксаны горела тусклая керосиновая лампа, и сквозь щели деревянной ставни едва проникал свет. Отец сделал три условных стука, потом повторил их еще раз.

Во дворе особняка было тихо, спокойно, будто и не было войны. Мирно вытянулись в небо тополя и сосны, прикрытые хлопьями снега, из-под белоснежных шуб едва выглядывали верхушки молодых яблонь и абрикосов, что накануне войны высадила Рассина. Где-то промчался «опель», подал два сигнала, ему в такт закукарекал петух. «Дурак, — засмеялся Павел Ильич. — Выдаешь себя. Немцы теперь сразу идут туда, где по ночам петухи поют, наверняка курятинка к обеду будет...»

Оксана открыла дверь и тут же, на пороге, сказала:

— Тебя ждут там, в чулане. Чтобы не мешать хозяйке, я пока что отправила их туда. Пускай уснет Алла Карловна. Она и так мало отдыхает из-за меня...

— Тут мать вот прислала тебе и нашим ребятам... полный обед.

Вскоре зашипело, забулькало на сковородке. А девушка сама с собою заговорила по-немецки. И как всегда в приятную минуту, она вспоминала Коралова: «Вася! Во ист ду?.. Ох! Вася... Их бин дайне Оксана... Альзо? Вася! Где ты? Я твоя Оксана. Так? Вася!»

А в это время в комнатке Оксаны при свече совещались трое: Клим, Неизвестный и Тарас.

Секретарь подпольного обкома, плотный, коренастый мужчина с белыми висками и густой курчавой шевелюрой, сразу же вызвал у Крепина огромную симпатию. Задумчивые, карие, умные глаза человека, которого теперь звали Тарасом, казалось, уже видели, как будут выполняться намечаемые задания.

— Прибыл я сюда, чтобы несколько нарушить ваши планы, — начал он, повернув в сторону Крепина свое волевое, загорелое лицо с сильным, округлым подбородком. — Временно заберу от вас Клим. Он полезнее сейчас в другом месте. А здесь, к сожалению, гитлеровцы, да и полицаи не поверили придуманной версии в отношении Медеренко и правильно поняли его роль. Так что придется вам, Неизвестный, остаться вместо Клим. Он вернется, конечно, к вам, если появится маломальская возможность. Добавлять людей пока что в ваш отряд не будем. Коллектив спаянный. Вы их хорошо изучили, да и они вас уважают. Думаю взять от вас еще и Скрипко.

— Максима нельзя от нас брать, — уже как начальник заговорил Неизвестный. — Да я без него и не управлюсь...

Секретарь засмеялся.

— Ну что ж, похвально, что вы так сработались, а что касается вашего «не управлюсь», вы скромничаете. За плечами опыт первой войны, вы умелый организатор. Хоть кличка у вас Неизвестный, вам тут все известно: и люди, и их характеры, и настроение. Не каждый хозяин смог бы дать этим людям то, что дали вы, Павел Ильич. А главное, не в каждого бы поверили они, а значит, и не вернулись бы сюда.

— Да, это верно, — подтвердил слова секретаря Клим. — В Неизвестного наши крепко верят, а вот немцы недооценивают его, — с улыбкой продолжил он. — А нам это на руку.

— А куда же Скрипко, если не секрет? — поинтересовался Крепин.

— Не секрет. Хотим ему поручить возглавить отряд в Сехихатках. Теперь о вашем отряде. Задание по совершению диверсий на железнодорожных линиях ко Дню Красной Армии мы с вас снимаем. Его выполняют другие люди. Вам же предстоит в районе Силькова освободить лагерь военнопленных. Он небольшой, всего из двух барakov. Хотя лагерь этот пересыльный, пытки и убийства там изуверские!.. Желательно, чтобы ко Дню Красной Армии люди были на свободе, товарищ Неизвестный.

— Примем все меры! — ответил тот.

— Скрипко я уже послал в разведку, — сказал Клим, — сегодня ночью вернется. Он и предложит план действия.

— Квартира для нас готова? — спросил Тарас, повернувшись к Павлу Ильичу. — Или здесь останемся?

— Нет! Пойдем к моей старшей дочери. Соседи ее эвакуировались, а кто расстрелян гитлеровцами. Сама она четыре дня у Анны Евсеевны с детьми будет.

— Место людное там?

— Самое подходящее, чтоб нас не приметили.

Это было утром двадцать второго февраля сорок второго года. День начался как обычно. По улицам двигались грузовики, сменялись с ночного дежурства гитлеровцы и группами возвращались в свой гарнизон. После взрыва на Зеленой гитлеровским офицерам запрещалось жить в обособленных квартирах. Все они находились теперь в объединенном немецком гарнизоне в Гуровке, откуда ежедневно на работу и с работы сопровождалась целым эскортом. В связи с этим количество патрульных, в частности около жандармского управления,

комендатуры и других заведений, увеличилось втрое. Городок оставался все еще на осадном положении.

Однако подпольная жизнь продолжалась.

Вот и сейчас Павел Ильич распоряжался завтраком, а Скрипко уже докладывал о результатах разведки.

— Проехал я на поезде трижды взад-вперед по назначенному курсу. Никаких признаков лагеря. Безлюдно, пустырь перед глазами. Мороз дикий, даже туманно вокруг. Гляжу, недалеко белая полоска днепровского льда. Значит, где-то здесь, думаю. Вышел, сориентировался. Пошел по полю. И вдруг вижу две вышки и два каких-то барака, или, скорее, шалаша, обнесенных проволокой. Делаю большой круг влево и к лагерю со стороны леса пробираюсь. Вижу груды камней посреди двора. Один гитлеровец ходит по двору и кричит, обращаясь к двум заключенным с повязками на рукавах: «...Сейчас сюда явится комендант Бриндер». Так узнаю фамилию нашего «именинника». Смотрю, за лагерем справа особняк. Спрятался за куст, наблюдаю. Вываливается оттуда детина килограммов на сто с лишком, едва ляжки передвигает. Жир пошел, видно, в плечи, потому что шеи нет: голова и туловище. Рожа блестит. За ним еще пятеро. Все с ду-







бинками. Ударил колокол, и потянулись наши парни на улицу. Выстроили их в колонну по пять человек. Переводчик сказал: «Кто хочет служить фюреру — на круг!»

Никто не вышел.

Это приказание повторялось трижды. И никто на круг не выходил. Тогда Бриндер приказал: «Бегаты!» Все стояли. Кто-то выкрикнул: «Смерть Гитлеру!» Комендант не уловил, откуда это донеслось, и выстрелил в воздух. И снова скомандовал: «Бежать!» Колонна двинулась сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее... Некоторые упали. Бриндер бил их сапогом, но они не могли подняться... Так около часа. Затем, когда люди уже валились как снопы, гитлеровцы с помощью дубинок поднимали их и приказывали сваленные глыбы камня перекладывать с места на место...

— Все. Ясно, — прервал Гаврилюк. — Как решили, сегодня в ночь!

К лагерю добирались лесом. Этот безопасный и окольный путь был знаком только одному Павлу Крепину, и теперь он шел впереди. Добрались благополучно, но рано. До глухой ночи пришлось ждать не меньше часа. Поэтому снова вошли в глубокий лес. А в полночь ползком окружили лагерь.

— Костя и Виталий, ваша задача — разделаться с часовыми на вышке. Ты, Максим, бери с собой двоих, и прорвитесь при первой же возможности в бараки. Не забудьте, что проволока под током. Я с остальными окружу дом, — распорядился Неизвестный.

Когда разбились по группам и все заняли свои рубежи, Виталию и Косте повезло. На вышках никого не оказалось. Двое гитлеровцев возле одной из них распивали шнапс.

У Кости, кроме автомата, был с собой и бесшумный трофейный «зауэр». Он мигом вынул его из кармана и решительно двинулся вперед. Немцы, заслышав чьи-то шаги по хрупкому снегу, оглянулись. Лазаренко крикнул: «Хенде хох!» — и, не дождавшись ответа, четырежды выстрелил. Часовые замертво упали, не успев отстреляться.

Виталий, прихватив немецкие автоматы, ринулся вслед за Костей к воротам. Иван Верещак и Архипов уже перелезли через ворота в лагерь и открывали двери бараков. Максим пытался сбить замок с ворот. Полураздетые люди, кое-как напяливая на себя лохмотья, вывалились во двор, налегли на ворота и разломали их. Затем рванулись в лес, на станцию, в поле. Максим только успел сказать: «Товарищи! Слева немцы, берите направо!»

— Спасибо, товарищи! — кричали хриплые голоса пленных.  
— С Днем Красной Армии! — поздравлял Костя Лазаренко пробежавших мимо него людей.

Крепин, чтобы сохранить людей, не подпускал никого близко к особняку Бриндера. Оттуда доносились пьяные голоса, музыка, женский визг. Была возможность уйти незамеченными. Но тут из особняка появился пьяный офицер, с недоумением уставился на распахнутые ворота лагеря и кинулся обратно в особняк. Там раздалось дружное: «Карабин!» — и вскоре из окна последовали выстрелы.

Отступать было нельзя. Застрочили партизанские пулеметы. Из особняка никто выйти не решался. А с чердака, из окон и дверей в партизан посыпались пули... Так продолжалось довольно долго. Надо было дать уйти освобожденным пленным. И только когда был тяжело ранен Максим Скрипко, Неизвестный скомандовал отступить. Хотя партизаны прекратили огонь, из особняка Бриндера так никто и не вышел.

## Глава 11

### СВАДЬБА

Двое суток не сомкнул глаз партизанский врач Валерий Пелехов. За эти сорок восемь часов он проделал все возможное, чтобы вернуть жизнь лучшему из лучших бойцов-климовцев. Однако сознание так и не вернулось к Максиму Скрипко. Он скончался в ночь на двадцать пятое февраля...

Тарас, пришедший сюда из Семихаток, где находилась его штаб-квартира, стоял у изголовья мертвого Максима, стараясь не плакать. Неизвестный не скрывал слез, не скрывали и другие.

— Семья у него есть? — спросил секретарь.

— Холост он, а мать и отец живут в Астрахани, — ответил Клим. — Единственный сын он. Отец — рыбак. Максим рассказывал, что и он рвался с отцом в море. А отец не решался брать его с собой и каждый раз перед путиной рассказывал ему всякие сказки-небылицы, чтобы вызвать у того страх. Максим разгадывал хитрость отца и из Астрахани сам добирался на любом транспорте в Гурьев, где выгружалось отцовское судно. Отец радиogramмы слал матери, чтобы не волновалась.

Потом армия, школа разведчиков...

— Жалко хлопца, — сказал Тарас, помолчал, потом развернул переданную ему Климом какую-то бумажку.

Крепину показался знакомым этот листок, Максим частенько заглядывал в него, о чем-то думал, читал. И вот сейчас Гаврилюк — Тарас развернул листок и вслух медленно прочитал:

— «Листовка-обращение к красноармейцам, командирам и политработникам, сражающимся в тылу противника. Каждая группа бойцов и каждая часть Красной Армии, оказавшиеся в тылу противника, должны рассматривать себя как выполняющие боевое задание. 15/VII—1941 г. Главное политическое управление».

Тяжелым голосом Костя произнес:

— Максим болезненнее всех переносил то, что очутились мы здесь, а не на передовой. Видно, эта листовка придавала ему бодрость.

— До последнего вздоха, — твердо произнес Гаврилюк, — капитан Максим Скрипко был верен делу партии и как герой выполнял самые сложные боевые задания разведчика и бойца. Его жизнь — пример для всех нас, товарищи. Вот это мы и запишем на этой листовке. А вы, Павел Ильич, сохраните ее в вашем тайнике.

Дрожали руки партийного секретаря, когда писал он скупые слова о мужестве и героизме рано ушедшего из жизни человека. Не мог утишить боль партийный секретарь. И когда Крепин с отчаянием сказал: «Прямо не верится, что нет больше Максима», — Гаврилюк в тон ему повторил: «Да, не верится. Да, горько, горько, что не дожил до лучших дней».

Похоронили Максима под заснеженной березой на окраине поселка Латвиново близ леса, где уже покоились его друзья — воины, погибшие еще при отступлении.

Именно отсюда, от Максимовой могилы, брала свое начало партизанская тропинка и петляла посреди снежных холмиков, разветвляясь и теряясь где-то в глубине леса. По ним, по этим разветвлениям, и разошлись товарищи Максима. Клим и Тарас свернули вправо, к железнодорожному вокзалу. Незнакомый, покашливая, повел своих людей на левый берег Днепра. Там их ждала агатовская землянка и те же боевые дела. Только теперь уже без смелого и неутомимого Скрипко. А у всех еще перед глазами стояло живое лицо Максима: обветренное, немного грубоватое, немного застенчивое, с глубоко посаженными черными глазами. А его сильная кряжистая фигура в памяти вставала как монумент...

Тем часом по Вишневке галопом неслась тройка лошадей, сопровождаемая звоном бубенчиков и хмельным разноглосьем. Только что состоялось венчание священника Стецько с дочерью старосты Долинич. Пестро разодетую невесту и красавца жениха сопровождали Труба, Долинич и Меланья, Марфушкин с супругой, четыре эсэсовца, два еще каких-то мало-знакомых вишневчанам полица, Данило, Рузанко и Ефим. Не было здесь только Фрица Рауше. После истории с обезьяной оберштурмбаннфюрер начал сторониться своих русских помощников. А после того как была обстреляна его охрана, он стал приезжать в Вишневку редко и, как правило, в неопределенные дни и часы.

Кучер, щуплый, низкорослый подросток, сидел на переднем сиденье, закутавшись в овчинный тулуп, и почти не подгонял лошадей. Они и так неслись рысью, словно старались уйти от непривычного и гулкого звона бубенчиков. Белым пухом обросли их гривы и морды. Люся, поглядев на своего супруга, заметила, как уши его, выглядывавшие из-под каракулевых капелюхов, от мороза стали иссиня-красными, на правах жены требовательно проговорила:

— Яша! Сейчас же повяжи капелюхи!

Но Яша не откликался. С независимым видом он почесывал на кончике носа бородавку (которая, как ни странно, не портила его лица, а, напротив, будто удлиняла нос) и размышлял о себе, о ней и о них в целом. Словно морозная стужа выдула из его головы легкомыслие, и он призадумался: что происходит сейчас с ним и зачем он сделал все это?

Люся толкнула в бок мужа, как бы стараясь отогнать от него все ненужные мысли.

— Я знаю: ты о нас думаешь, — кокетливо вымолвила. — Правда, Яша?

— Да, думаю. Ты ведь обо мне ничего не знаешь, — Стецько посмотрел на Люсю, которая должна была стать теперь для него самым близким человеком, и захотелось ему рассказать про себя: что вырос он в детдоме, потом пошел в фабзауч, стал мастером токарного дела, мечтал стать артистом, да все не верил в свои силы и пошел в учительский институт.

— А тут война, взяли меня на фронт, — говорил и говорил Стецько, уверенный, что Люся не все слышит из-за звона бубенчика, да и пусть не слышит, просто ему надо было говорить. — Полтора месяца отвоевал, а потом в одном бою в брошенной деревушке приотстал якобы... Прикинул, поразмыслил: война мне ни к чему, пускай другие дерутся. Я копну не зажи-

гал и тушить не пойду. Немцы так немцы, русские так русские. И те и другие местами люди, местами нелюди...

Люся спросила:

— Яша! Зачем ты мне про все это рассказываешь?

— Надо же нам когда-нибудь познакомиться. Мы ведь теперь муж и жена.

— Яшенька! Ты такой красивый, и я так тебя люблю, что мне все равно, кто ты. Главное — ты теперь мой. Помнишь, как ты целую неделю не приходил? А когда наконец появился в доме, я кинулась к тебе и сказала: «Ты или никто».

Стецько будто отрезвел. Тотчас вспомнил, как Долинич затащил тогда его к себе и как Люська с разлохмаченными волосами с хорошо отрепетированным трогательным жестом действительно кинулась к нему на грудь. Тогда-то Яков и пообещал ей, что днями состоится их венчание — не все ли ему равно. И вот она его жена. И хоть не любовь их соединила, а война, все правильно, ведь по-другому-то не случилось. «Такова уж моя судьба», — успокоенно подумал Стецько и, вспомнив просьбу жены, подвязал капелюхи.

А староста, ехавший в других санях, которые то и дело сползали с дороги, покрикивал на возницу:

— А ну, Ванька, не дреми!





Стегай коня пожестче, чтоб бубенчики, як церковный колокол, звенели. Пушай все селяне знают, який сьогодні важний день. А ну, стегай, Ванька, ось оцю коняку, що злива. Вона чегось дуже на меня косяки бросает...

И возница размашисто взмахнул кнутом.

Лошади понеслись вихрем.

Долинич от удовольствия козым голосом потянул:

Эх, бубенчики,  
Да два бубенчики,  
Да три бубенчики,  
Да разбубенчики...

Ой-ля-ля,  
Тра-ля-ля,  
Трули-люли,  
Тран-да-ля...

И слова и мотив этой песни принадлежали Долиничу. Он сочинил эти куплеты только что, когда увидел, как жители села вышли из хат и созерцали свадебный поезд. Правда, он не слышал, как вслед его ляляканью кто-то крикнул:

— Тебе хорошо трули-люли трандалять, есть от чего: сам проданся гадам и нас продаешь, наших детей на рабство в Германию гонишь, а сам за наши кровные гроши особняк себе раздул.

В ответ на эти слова бубенцы прозвенели где-то уже далеко за заснеженными кучегурами.

Снова надвинулась откуда-то пурга. Подул ветер сильнее. Он колот глаза, рвал лицо, сверлил надбровье. Один из гитлеровцев, как щенок, зацокал зубами.

— Ванька, сворачивай на огороды и чеши напрямик до хаты! — скомандовал Долинич кучеру. — Морозец что-то не в духах...

И полозья саней потянулись по нивам.

Свадебное пиршество началось с того, что обе Клавы повязали рушниками всех сватов и свидетелей жениха и невесты. Затем подали на стол в бутылках горилку и самогон, а также закуски: студень, огурцы, капусту, соленые помидоры.

Меланья так зашлась от мороза, что не расставалась с меховой шубой. Невеста же мигом разделась, покрутилась перед зеркалом и направилась к Мурке. Та сытыми глазами окинула шумных гостей и замурлыкала. Люся повязала ей на шею бант.

Яков внимательно осматривал вторую половину хаты Долиничей, где ему предстояло жить с Люсей.

В этот день невесте завидовали, пожалуй, все женщины, которые были приглашены на свадьбу. Жених у Люси действительно был на славу: высокий, красивый, статный, одет хорошо. Люся уступала своему жениху.

Клава-светлая и Клава-черная — так отличали в этом доме прислуг, носящих одно имя и схожих между собой, — заискивали перед молодым хозяином и завидовали Люське.

Подбоченившись, они перешептывались.

— Люська щаслыва... Нэ тэ шо мы, — говорила первая.

— А завжди бывало так, що бідна дівка нещаслива. Женихи не любять спати на голому пръпичку. Им подавай посеребренные кровати с шелковыми одеяльцами. Любовь у них к таким горячее... — горестно отвечала вторая.

Наконец все уселись за стол, и вскоре загремели марши и немецкие мелодии. Это гитлеровцы принесли с собой пластинки и теперь управлять патефоном назначили Трубу.

В первый день свадьбы было много тостов в честь жениха и невесты.

Во второй день тосты посыпались в адрес отца невесты. Какникак староста — хозяин положения. В его руках судьбы людей всей деревни...

Третьим днем все пошло сызнова. Открыли новую бутылку самогону для похмелья и снова, опьянев изрядно, весь день пели...

Дым клубами висел под потолком залы и заслонил слабый свет блеклого зимнего солнца, которое впервые за три дня заглянуло сюда через широкие, оттаявшие окна нового особняка.

Ветер стих. Мороз припал к земле, скрипуче отзывался под ногами прохожих.

Клава-черная несла из сарая поленья в хату и, проходя мимо калитки, услышала старческий голос:

— От-твори ка-алитку, дочка!

Клава метнулась к забору, повернула закрутку.

Во двор вошли двое: дед Григорий и Павел Крепин.

— Староста дома? — спросил второй.

— А як же?.. Где ему быть, колы дочку замуж выдает.

— А немчура у вас тоже е? — добавил дед Григорий.

— О, дидусю, были да сплыли. Опосля обеда як пошли испражняться, так ще и не вернулись. У нас закрытый каменный нужник ще не достроен, а тут, в старим, дощатом... с дырками... они не могут... сквозняки... Хи-хи... — захлебнулась



смехом Клава, поднимая с земли оброненные полена. — Там, в полиции, есть закрытый нужник, недавно выстроили, мабуть, немцы зараз там, — добавила она.

— Для нас, дивчино, они хоть бы и навечно остались в нужнике, — подшутил дед Григорий. — Нам треба потолковать со старостою.

Крепин насупленно смотрел в сторону. Затем поморщился и чуть подался вперед. Усы его, как две стрелы, дрогнули, поднялись.

— А-а-а, здоровеньки булы, наследники социализма, — встретил их Данило, появившийся в сенцах вместе со старостой.

— Добрый день, строители гитлеризма, — в тон проговорил Крепин и удивительно громко чихнул. — Мы к тебе, — обратился он тут же к Долиничу.

— Вернемся в хату, — проявил гостеприимство хозяин.

— Дидусь правду кажет насчет гитлеризма — свои слова чихом подтверждает, — вступил в разговор Ефим. — Хочешь, я зараз покажу тебе, как немцы танцуют. Одно наслаждение, аромат весны, вкус шоколадного напитка...

— Значит, вы уже по-ихнему и танцуете? И посему, шо они вас с ума сводят, вы их угощаете? — сказал Крепин.

— Так мы хлопцы добрые, можем и тебя угостить. Налей усачу стакан водки с верхом, — сказал Стецько.

Крепин и ему ответил в том же духе:

— Сопляк! Я не лакей, и водка эта не для меня. Сперва со старшими обращаться научись!

И тут Труба вовсю закрутил свой патефон. Рузанко и Ефим вышли на круг и, взяв друг друга за поясницы, медленно зашатались, двигая плечами.

Крепин услышал обращенные к нему слова Стецько:

— Не сердчай на меня, усач. Ты мне нравишься, ей-богу. Что-то есть в твоём лице здорово симпатичное. Непонятно только, почему ты в сторожах топчешься? Фигура у тебя бургомистерская... И вид важный, серьезный... Тебе надо бы чин другой, — непонятно почему заюлил Стецько.

— Власти другой не хочу. Всем доволен, только недоволен тем, что и я и люди все едим зерно вместо хлеба, а у вас сдобные паляницы! Откуда берете муку? — спросил Крепин, глядя на Долиничу.

— А кому ж есть паляницы, як не нам? Чудак... — выпалил староста. — А где берем муку — дело хозяйское.

— Народную мельницу тоже дочке в приданое отдаешь? Одну немцы разбили, а ты и в ус не дуешь, видно, вообще не

собираешься ее восстанавливать. А другую-то зачем разобрал? Во дворе у тебя, где строишь новый нужник, лежит весь механизм от Якимовского ветряка. Как же это все получается? — продолжал Крепин.

— В войну хто што сгребе, то и позже. Прилаживаются все к жизни, кто как может. Ось я так змог... А вы можете шкандыбать туды, отколя пожаловали...

Задумав операцию с ветряком, Гаврилюк долго беседовал с Павлом Ильичом, обсуждали, как лучше вести себя Крепину. И решили, что тихим и сговорчивым Крепину прикидываться не следует — не поверят. Но и на рожон не лезть. Так примерно и вел себя Павел Ильич. Но он знал свой недостаток. Порывистость, горячность немало в жизни приносили ему зла. Вот и сейчас сдержит ли он себя, чтобы не вынуть из-за пазухи пистолет и не пустить пулю в лоб хапуге? Непослушная рука дрожит и тянется к курку...

Дед Григорий ничего не знал о замыслах партизан. Встретились они с Крепиным случайно, разговорились о нужде народной и поэтому вместе очутились здесь. Но, словно почуяв беду, он оттолкнул Крепина от Долинича и обложил старосту матом. Наступила разрядка. Долинич опешил. А Павел Ильич, припечатав ладонью по столу, закончил:

— Ладно! Мы собственными силами поднимем разбитый ветряк, но никого из вас к нему не подпустим! Запомни это, Долинич.

— А нам и не потребуется. Мы из района мучку доставим бесплатно, за так, сколько надо будет, — ответил Крепину Рузанко.

Теплые клубы воздуха хлынули наружу и словно вынесли заругавшихся мужчин.

Дед Григорий двинулся в угол двора.

— Мы пришли до тебя, староста, с доброю мыслью, за советом, — начал он. — Браниться мы не собирались. Но не думали и не гадали, что ты из общественного добра себе нужник городить задумал. Оно и понятно: катки, что служат для мучного помолу, тебе пригодятся для подпорок, и тогда вид у твоего сортира станет не абы какой, а дворянский. По шапке хозяйну. О, и весы туточки! А ковшик тебе для какой лихой годины нужен?

— Воду выгребать. Тут рядом еще будет летняя душевая, — выкрикнула в защиту хозяина Клава-светлая.

— А крыло от мельницы зачем? Дверки банные вытесать хочешь? Крапива ты людская, а не мужик. Зробишь себе из

дощечек, невелика цаца, а я его для народа заберу. — Дед Григорий взял крыло за один угол и, натужась, потащил его по снегу. — А мы-то думали, что это ты Якимовскую мельницу поближе к центру переносишь и для этого разобрал ее, — продолжал возмущаться дед Григорий. — Вот и пришли спросить, когда ж она закрутится, может, если треба, и свои услуги предложить. У Павла-то голова даже мастеровитая, да и у меня на плечах не метелка. Хотелось беззащитным вдовам, их деткам и старикам жизнь облегчить.

— Оставь его, — Крепин взял деда Григория за плечи. — Разве не видишь, что тут только часть лопасти крыла. Все равно надо будет новую мастерить. Чего время тратить тут? Пошли.

— А я и не разглядел, ей-богу. Кажись, слепой стал от такой житухи. На, забери обратно, — бросил дед Григорий под ноги Долиничу часть разоренного крыла. — Богатей, куркуль!

— А ну, уматывайте подобру-поздорову! — рассвирепел Долинич. Выйдя вслед за Крепиным и дедом Григорием за калитку, сказал: — Ты, Крепин, запугивать меня берешься. Может, оттого, что дочка твоя в переводчицы немецкие готовится?

По тону Долинича легко можно было догадаться, что вопрос этот для него важный, ведь по натуре он трус.

Крепин сделал вид, что не считает нужным отвечать старосте, а у самого в мыслях затаилась тревога: «Откуда он знает? Ведь Оксана учится под другой фамилией и далеко отсюда. Даже на официальный запрос ему сами гитлеровцы ответят, что там такой нет.»

— Всех обхитрить хочешь? — допытывался Долинич.

И Крепин в расчете на нехитрый ум старосты многозначительно сказал, что Оксана живет у средней дочери потому, что при каждом обыске ее здесь избивают, а если и пойдет когда-нибудь учиться немецкому языку, то для себя, ведь теперь новые власти и их язык надо знать всем. Переводчиками быть не всем же, да она еще и слишком молода для такой серьезной работы. Сами же, мол, немцы и в газетах пишут и говорят, что обучение их языку должно скоро стать массовым... Долинич почувствовал себя неловко и не знал, что ответить Крепину.

Дед Григорий бросил на Крепина испытующий взгляд. Он всегда мысленно сравнивал Крепина с могучим дубом, который, оттого что роняет ветки свои, только обновляется и становится крепче. И когда в Вишневку пришли немцы, дед Григорий уверовал в то, что уж Крепин-то никогда не станет их рабом. И вдруг услышал, что дочка его будто бы учится на перевод-

чицу или может пойти учиться немецкому языку. Дед Григорий задумался: что бы это значило?

Дед Григорий не додумал свою думку, так как неожиданно для себя на здании жандармерии увидел красное полотнище — самый настоящий советский флаг!

— Погляди-ка, Павло! — выкрикнул он. — Вот так фокус! Флаг, наш флаг на жандармерии-то. А куда же дьявольскую свастику девали? Сорвали! Браво! Пушай гитлеряки знают, что власти мы ихней не хотим, нам надо ту, що алою кровью, как этот стяг, завоевана!

Крепин молчал, и дед Григорий настороженно посмотрел на него. Тот внешне был спокоен. Но дед Григорий заметил в светло-зеленых глазах Павла Ильича счастливую улыбку.

А тут еще Крепин молодцевато сказал:

— Значит, кореш, насчет ветряка подумай, каких людей привлечь нам на подмогу. Конечно, поднять его своими силами все равно что выстроить Волго-Донской канал. Ну что поделати, будем пробовать. Иначе ты прав: дети, женщины и старики вымрут от голода...

У калитки дома деда Григория они расстались. По поводу красного полотнища над зданием жандармерии Крепин так и не обмолвился ни словом. Но по всему его виду и по той прямой, залихватской походке, которой он зашагал, деду Григорию показалось, что уж кто-кто, а Крепин-то знал, что так должно было случиться, да и разговор о дочке выглядел теперь как-то по-другому. «Все же он дуб-человек», — заключил про себя дед Григорий.

Крепин торопился. Под ногами скрипел снег, словно журавль колодца. Тридцатиградусный мороз, такой же колючий и злой, как три дня назад, снова сковал Вишневку. Крепин изредка рукавицей потирал свой покрасневший нос, но ему не было холодно. Счастье входило в каждую клеточку его тела. И плеснулся в его глазах летний Днепр, песчаный берег, кое-где усеянный спорышем и галькой, и волны, освещенные июньским солнцем, точно разморенные зноем. По их горбатым спинам забавно шлепают ручонками внуки, и на берегу стоят сыновья, все в него — высокие и крепкие, а чуть поодаль дочери. Они, как и дети, тоже играют с волнами... Боль сдавила сердце Павла Ильича, и недолгое счастье, охватившее его, растаяло. Кровь точно застыла, и тело пронзил знобящий холод...

«Надо наведаться в тайник, — думал Крепин. — Не забыть все точно записать: об освобождении лагеря; о смерти Максима (листочку Павел Ильич уже спрятал); о механизме от Яки-

мовского ветряка, что обнаружен во дворе старосты; наконец, о советском флаге, поднятом над Вишневкой в годовщину Красной Армии».

Задумавшись, Павел Ильич не учуял, как приблизился к зданию жандармерии. Красного полотнища на нем уже не было. Не было и свастики. Во дворе толпились гитлеровцы, о чем-то горячо споря. Здесь же под стражей двух немецких солдат стоял «опель» Рауше. Как оказалось, прибыв из района, Рауше первый заметил отсутствие свастики, вместо которой плескалось на ветру красное полотнище. И это его буквально парализовало. Как только появился Долинич, Рауше приказал ему во что бы то ни стало в три дня найти виновников! В противном случае самому старосте и полицейским несдобровать.

## Глава 12

### ТРИ ПУНКТА ФРИЦА РАУШЕ

После продолжительных мартовских заморозков пришла оттепель. С первым таянием снега в Вишневку прилетели аисты. Правда, любимец Крепиных, Тонин выкормыш Попрошайка, еще не появился.

Было это весной тридцать восьмого года. Маленький аистенок вывалился из гнезда и сломал себе ногу. Тоня подняла его, перевязала, смазав ранку йодом, посадила пострадавшего в сито, прикрыла фартуком, чтобы не выпрыгнул. Тоня кормила аиста хлебом, пшеном. Но больше всего ему пришлось по вкусу творог. Как только появлялось блюдечко с творогом, аист тут же раскрывал клюв. Прошло два месяца. Аист вырос, не помещался в сите. Тогда Тоня выпустила его на чердак. Там он учился летать. Однако по-прежнему жил на Тонином иждивении. Если Тоня не приносила творогу, он ни к чему другому не прикасался, а усаживался на приступок дымохода, опускал крылья и как бы зевал: то приоткрывал, то закрывал клюв. Тоня думалось, что так аист выпрашивает творог. И с тех пор прозвала его Попрошайкой.

Это понравилось и маленькой Оксанке, а за ней и Андриюсю... И в доме Крепиных совсем не стало ни творогу, ни печева с творогом. Озабоченный Павел Ильич недоумевал. Но вот однажды узнал, что в его доме появился еще один нахлебник. Он сказал, что дети портят птицу. Выкинул Попрошайку через чердачное окошко на крышу хаты. С тех пор аист перешел на

свои харчи, но все равно никогда не покидал этот дом. Каждую весну он возвращался только к Крепиным и первым делом с раскрытым клювом дежурил возле чердачной дверки.

Уже все аисты смастерили себе гнезда в Вишневке, а Попрошайка все еще не прилетал. Но вот в начале апреля Попрошайка, тощий, длинный, явился. Ему тоже теперь жилось нелегко. Война жгла все живое, не обошла и птиц.

В память о своих детях Анна Евсеевна чем могла делилась с Попрошайкой. Конечно, творогу в доме сейчас не водилось. Машка в этом году осталась яловая и почти не давала молока. Зимой Павел Ильич планировал зарезать корову, чтобы поддержать свою семью и партизан. А тут появились заботы с ветряком, и потребовалась рабочая сила. Разве все перетащишь на своих плечах? Было решено: Машку не забивать. Костя Лазаренко, глядя на своих исхудавших товарищей, пошутил: «Вдумайтесь только, какой грех мы собирались взять на себя. Ведь Машка тоже партизанка. Хоть не лошадиная, а коровья сила, попробуйте-ка без нее обойтись!»

— А если немцы отнимут? — заколебался было Павел Ильич.

— Всякое может быть... Но сегодня она нужна нам живая, — успокоил его Игнат Верещак.

Этот невысокий светловолосый двадцатилетний парнишка из Закарпатья в армию пришел из лесного техникума, и его зачислили в саперы. Среди партизан он был самым ловким буквально во всех делах. Сказывалась врожденная сноровка. Собственно, ему и принадлежала идея с ветряком. Выяснилось, что он хорошо разбирается в устройстве мельниц, неоднократно участвовал в сборке их. Игнат прямо-таки насел на Павла Ильича. А тот и сам уже подумывал о том, чтобы как-то облегчить жизнь односельчан. Гаврилюк идею одобрил. На радостях Игнат размышлял поставить шатровую мельницу.

— Она же сама на ветер поворачивается.

— Поворачиваться-то поворачивается, — рассудительно говорил Павел Ильич, — да у нее одни крылья по двенадцать метров. Соображаешь?

— Ну и что? — вмешался Юрий Лукьянцев. Бывший слесарь, да к тому же еще и спортсмен-тяжеловес, он готов был не то что мельницу — мукомольный завод поставить, лишь бы что-то делать.

Рассудительный Михаил Никифоров советовал не горячиться и вообще высказал опасение, не арестуют ли их всех, если они открыто выйдут на строительство.

— Что скажешь, Незнакомый?

— Должны быть ко всему готовы. А разве лагерь освободить безопасно было? Планы мои насчет вас такие. Дед Григорий, это местный наш человек, сказал, что из Соркинского ставить ветряк придут четверо мужиков — два примака и два тутошних старикашки. Если спросят про вас, скажу, что вроде с Латвиновской лесопилки да с карьера. Мельница-де всем нужна. А коль подойдет староста к нам, так даже с угрозой на него поднимайтесь. Мол, твои «лады» могут обернуться в «нелады»... Он трус, как кроль. А вдобавок два из вас, скажем Костя и Юрий, могут доложить, что при немецком гарнизоне переводчиками служите. С прошлой беседы с ним я понял: он таких боится. А вдруг ваше начальство да выше Рауше?.. — от души засмеялся Павел Ильич.

— Такое предложение годится. Я шпрехаю по-берлински, а ты, Костя? — спросил весело горьковчанин Лукьянцев.

— По-баварски, — недовольно ответил Лазаренко. — А вдруг нас встретят гитлеряки и придется «экзамен» держать?

— Оксана прошлый раз оставила свою тетрадку, — вспомнил Лукьянцев. — Где она, Павел Ильич?

— Сейчас дам, — ответил тот.

Юрий и Костя принялись листать тетрадку.

— Акценты! — воскликнул Юрий. — На меньшее мы и не размениваемся.

— По нашей части, помазок, — поддержал его Костя и прочитал: — Баварский акцент — буква «г» остается, берлинский — опускается. Например: гартен (сад) — по-баварски — «гартен», по-берлински — «юартен»; по-баварски «гут», по-берлински «ют»... Все ясно, как в аптеке! — отрубил Костя.

И стали они дурачиться, как мальчишки. Потеплело сердце Павла Ильича, будто и не было врагов за стенами партизанской землянки.

Распределились так: Юрий Лукьянцев, Игнат Верещак и Леонид Архипов — на карьер, сделать совместно с каменщиками катки и диски; Костя Лазаренко, Виталий Карасев и Валерий Пелехов должны найти два огромных дубовых столба; Павел Ильич и Миша Никифоров остались в Вишневке готовить фундамент и крылья. Разумеется, Крепин сильно рассчитывал на деда Григория с его людьми, а возможно, и на фермовских рабочих. Фураж их скоту нужен... Что же касается новых властей, как-то уверились в том, что препятствий чинить они не должны. Ведь гитлеровцы часто придерживаются мысли, кем-то из них в недобрый час изреченной: «Коль раб работает

усердно, не обязательно в него стрелять, он свалится сам...» Наверняка и от них будут ждать этого. Однако на всякий случай Крепин решил на время поддерживать дружбу с Данилой и через него разузнавать, не обозлены ли новые власти, что народ поднимает разоренный ветряк. И не готовят ли они этим людям расправу.

Встречу в Агатове наметили через два дня.

По дороге в Вишневку повстречалась тачанка. На почетном сиденье — Долиннич, Марфушкин, а за ними два полица не из местных.

— Усач, усач, — подтолкнул один из полицаев старосту. Долиннич выдохнул, как паровоз, и причмокнул:

— Ванька! Затормози!

Лошади стукнулись задами.

— Ты, Крепин, о ветряке заботился, — начал он. — А ты знаешь, что есть наказ властей: всю пшеницу — немецкому солдату? К тебе мы пока не заглядывали. Думаем, ты сознательный, сам принесешь вышеназванный продукт. Ведь немецкая власть тебя пока голубит, хотя все знают, каких трех великанов ты для красных выкормил... А тебя до сих пор не вздернули, как воблу за жабры.

— Вздернешь еще... Куда тебе спешить? — ответил Крепин.

— Может, и вздерну... — ухмыльнулся староста. — А немецку власть надо б тебе почитать.

— А это кто с тобой обожженный? — показал Марфушкин на Михаила Никифорова, который не оправился еще после тяжелой фронтальной контузии.

— По снабжению немецкого гарнизона трудится, — подшутил Крепин.

— А-а-а? Ты все с теми, кто поближе до начальства, а мы тебе не власть? — с иронией сказал староста. — Ветряк грозился установить. Ну и як же?

— Будем ставить. Собираем вот мужичков из разных мест, близких и далеких родичей наших селян...

— Ставь, ставь. Только молоть нечего будет, — засмеялся Долиннич.

— Кукуруза — тоже хлеб, — сказал Павел Ильич. — Выдержим... Всех голодом не заморишь.

— Це як сказать. В наших руках ще три пункта Рауше, — загадочно сказал Долиннич. И добавил: — Ванька, погоняй коняку. Ще треба всю Якимовку встряхнуть. Там же на пшеницу все годы был урожай.

Неизвестный и Миша пошли своей дорогой, но не успели



скрыться за поворотом, как навстречу им медленно проехал закрытый немецкий фургон. За рулем сидел конопатый немецкий солдат, а рядом — верзила Ефим. Чуть поодаль шли Рузанко, Данило и Труба.

— Видать, транспорт и грузчики за пшеницей, — сказал тихо Миша.

А Рузанко кивнул Трубе на Крепина:

— Вон у кого всегда самосад есть. Организуй-ка на всех.

Рузанко и Данило прошли мимо, а Труба загородил дорогу Крепину.

— Табак есть? — спросил он у Павла Ильича. А затем со свистом протянул: — Мы пшеницу у тебя сегодня не брали...

— Брать-то нечего. За шесть обысков все забрали.

— Все так говорят. А коли снова наведаешься, хлебчик опять находится. Поприпрятали, оказывается, — не без умысла сказал Труба.

— Не дураки ведь мы, — загадочно ответил Крепин. — Вот вас, строителей новой власти, вижу, не очень хозяева ласкают. Они сигары курят, а у вас и самосада на закрутку нет. Вот и я не дам тебе ни единой щепотки, пока не скажешь, что такое «три пункта Рауше»?

Труба по походу Крепина определил, что тот крайне возбужден. Идя рядом с ним, он заговорил сбивчиво:

— Сигар нам не дают... Сигарет тоже. И вообще хозяева любят дюже себя. А насчет пункта три, то могу по секрету продать тебе мою инструкцию-наказ. Оттель все и узнаешь.

— Что за наказ? — удивился Незнакомый.

— Это нам под расписку Рауше выдал. Только, Павел Ильич, не продай меня, а я для себя еще одну такую штуковину у Рауше дерну.

— А сколько стоит твой наказ? — ухмыльнулся Крепин.

— Два ведра табаку! — отрубил Труба.

— Ого-го! Где же его столько взять?

— Можно частями, — отступился тот.

— Торговать им задумал?

— Та ни. Для нашей ребятни...

Труба вместе с Крепиным пришел к нему домой за табаком.

Пока Труба прилаживался, как понесет ведро самосады (половина платы за наказ), Незнакомый познакомился с инструкцией. Вступление ее было длинное. После хвалебного описания Дейчланда (Германии) и ее фюрера Гитлера следовал наказ служителям новой власти. Среди прочих пунктов три выделены крупными буквами и жирным шрифтом:

«...1. В пользу Великой Германии и ее армии взыскивать своевременно все налоги у населения. Брать без ограничения в каждом доме на усмотрение представителей властей (если потребуется) продукты и носильные вещи. Примерно по следующему принципу: зимой — валенки, полушубки, меха, пшеницу; весной — пшеницу, яйца, масло; летом — все, что понадобится, и пшеницу; осенью — опять пшеницу, обувь, теплые шарфы, платки и прочее.

2. Расстреливать — лучше вешать! — коммунистов, евреев, диверсантов и партизан.

3. С весны 1942 года начать массовую отправку в Великую Германию всей рабочей силы от подросткового возраста и выше. Одновременно на оккупированной немцами территории предоставлять все условия (вплоть до уничтожения жителей и сжигания деревень!) для поселяющихся здесь представителей высшей расы — чистокровных немцев арийского происхождения...»

Неизвестный положил на стол инструкцию-наказ и задумался. Труба ухмыльнулся, глядя на Анну Евсеевну, вошедшую только что в хату, и потянулся рукой за наказом.

— Прочитал, и ладно. На што тебе, стариканьке, эта бумаженция? Ты же не большевик и не из красных гвардейцев, — сказал Труба. — А то еще при обыске немцы найдут, и в первую очередь мне, а потом тебе здоровенько поддадут под одно место... А надо бы времечко выждать... И, может, им поддадим?..

Труба пристально поглядел на Крепина... Тот ухмыльнулся:

— Испытуешь меня? Душу мою не купишь, Ванька, за красивые слова. У меня шарики в голове все на месте. Верно ты говоришь: я ни тот и ни другой. Бери табак и уматывай. А насчет «найдут» — обещаю: нет! — отчеканил Крепин.

— А ты не серчай. Опосля той проклятой шимпанзе, что красные звезды рисовала, меня с подметками сжирают. Кажуть, я все подгадил, что такую ушлую обезьянку достал, и вообще власти не очень-то мне теперь доверяют...

— Ну, ты не шибко, видать, пострадал, — сказал Крепин, а потом, помедлив, спросил: — Как же вы эти пункты выполняете?

— Первый полегче остальных... Рауше за него обещал всем премию по десять немецких марок. А со вторым пунктом худо. Большевиков у нас нема — все на фронте. Евреев тоже нет. Посему на той неделе будут расстреливать всех соркинских большевичек — жен красноармейцев, за мужичков своих.

И списки уже заготовили для отправки в Германию.

— Многих собираетесь угнать?

— Да не я, а власти собираются угнать всех, у кого есть руки, ноги и сами здоровеньки...

Труба намеревался уйти, и Крепин не стал его задерживать. Инструкция-наказ осталась лежать на столе.

Павел Ильич был бледен. Стреловидные усы его шевельнулись, и он опустил руку в карман.

— Сил нет больше видеть это отродье! — заскрежетал он зубами.

Почувствовав в руке пистолет, выбежал во двор. Следом — Михаил Никифоров со словами:

— Не вздумайте стрелять!

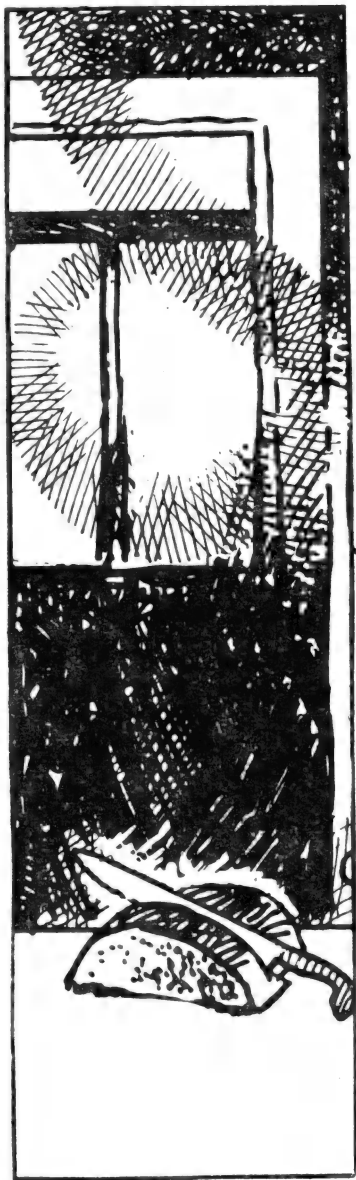
А Труба оглянулся и, будто чуя, что о нем идет разговор, поднял вверх правую руку и загадочно сказал:

— Времецко, Павел Ильич, и будет полный порядочек...

Крепин в ответ зачertyхался, уже держа в кармане пистолет наизготовку...

И тут к нему бросился Амур. Он, как всегда, любовно положил голову на грудь хозяину и ткнул носом в бороду.

Хозяин в последнее время редко занимался псом, но на сей раз обнял его обеими руками и нежно, добродушно прошептал:





— Что ты понимаешь, глупец? Тебе бы только ласку да досьта накушаться! И все же верный, хороший ты друг. Правильно, что помешал мне... А то могло бы сейчас для всех нас кончиться плохо.

## Глава 13

### ЭКЗАМЕН

«...Милый Фриц! Теперь ты все знаешь из моего письма о наших родителях, тетушках и дядюшках. И они и я проклинаем этих восточных бандитов. Их привезли в Германию рабами, а они хотят стать хозяевами. Подумать только. Стреляют в нас... Ты хотел привезти мне в подарок шимпанзе? Пожалуй, лучше пистолет... Играть сейчас некогда... надо защищаться... Жду! Всегда твоя Эльза.

2 мая 1942 года».

Оксана наизусть запомнила эти последние строки из письма жены Фрица Рауше. Когда вчера переписала перевод, задумалась: уничтожить письмо или вернуть его отцу? Ведь оно попало к нему не случайно. Труба пришел за остатком самосада к ним домой и похвастался тем, что он у эсэсовца стырил еще одну инструкцию-наказ, а заодно прихватил и вот это письмо... Крепин выпросил его и отдал дочери, чтобы та перевела и рассказала партизанам о житухе в Германии.

О чем думают и пишут сами немцы, представляло тогда интерес для каждого советского человека.

Хранить дома письмо Оксана опасалась. Она вложила его в немецкую книгу и взяла с собой в школу. И сейчас оно не давало ей покоя.

Фридерика, пожилая, мягкотелая немка, прибывшая в Днепропетровск сразу после смерти фрау Маргарэт, сидела около стола и, глядя на Оксану, о чем-то говорила, недоумевающе разводя руками. И только тогда, когда она стукнула ладонью по столу, Оксана подняла голову.

— Рассина! Что с тобой? Ты способная. Но одного понять не могу: плохо слышишь или рассеянная? Не было еще такого случая, чтобы ты сразу вышла к доске, когда я вызываю тебя. А сегодня пятый раз приглашаю...

Да, Фридерика была права. Вот уже шесть месяцев Оксана учится в школе переводчиков и не может привыкнуть к своей новой фамилии. Она просто забывает, что тут она не Крепи-

на, а Рассина, хотя занятия ведутся по двенадцать часов ежедневно и свою фамилию она слышит не один, а много раз в день.

Оксана под столом разорвала на мелкие кусочки письмо жены Рауше, упрятала их в карман жакетки, поднялась и пошла к доске. А Фридерика докладывала четверем увесистым гитлеровцам, что расселись за столом:

— Эта юная метхен овладела немецким языком успешнее других. Способности у нее большие. Обратите внимание на ее акцент и дикцию. Читай, Рассина!

Фридерика подала Оксане толстую книжку, открыла где-то примерно в середине и тут же добавила:

— Сначала по-баварски, затем по-берлински, перевод последним.

Оксане требовалось хоть какое-то мгновение, чтобы собраться с мыслями. В противном случае она растеряется и выпалит что-нибудь неуместное. А за одно нелепое слово можно поплатиться жизнью. Может быть, поэтому сейчас она еще больше растерялась. Растерялась так, что и буквы поползли перед глазами, как муравьи, а из памяти начисто вылетели хорошо заученные слова. Она опустила книгу, посмотрела на гитлеровцев и на Фридерiku и неожиданно для себя отрубилась:

— Их вайс никс! (Я ничего не знаю!)

— Ну, ну! Не бойся! Еще не пыталась читать! Ты можешь и знаешь! — настойчиво потребовала Фридерика.

Эта секунда как раз и была тем мгновением, которое вернуло Оксане самообладание. Она неожиданно рывком подняла к лицу книгу. Осмелев, забыла о присутствующих. Теперь Оксана читала текст то по-баварски, то по-берлински, то с восточным акцентом. Читала быстро, с особой певучестью в диалогах и с проглатыванием буквы «г».

Перевод она сделала не подстрочный, а общий, как было заведено в школе в последнее время. Оксана рассказала своими словами, что из прочитанной главы книги без названия немецкого автора Томаса Данна она узнала, что Бавария — это живописный край, где много животноводческих ферм и птицеферм, что живут там самые веселые в Германии люди, ежегодно зимой целыми неделями празднуют традиционные карнавалы «фашинги», и в эти праздничные дни они носят пестрые костюмы и юбки, расшитые бисером, а также шляпы-панамы и колпаки, украшенные перьями...

Один из внимательно слушавших Оксану, гитлеровцев преврал ее:

— Какой город столица Баварии?

— Мюнхен, — растерянно махнув рукой, сказала Оксана, подчеркивая этим жестом свою виновность в том, что в самом начале она не упомянула об этом.

— Гут! — ответил тот. И снова спросил: — Что из прочитанного тебе больше всего запомнилось? Я имею в виду рассказ Данна о всемирно известных произведениях живописи, которые хранятся в Мюнхене. — Последнюю фразу гитлеровец произнес высокопарно.

— Мне запомнились больше всего картины «Святые Эразм и... (она запнулась и заглянула в книгу) и Маврикий» и «Битва амазонок».

Гитлеровец засмеялся и от удовольствия привстал.

— Гут, зер гут! — сказал он. И обратился к присутствующим: — А у нее есть вкус. И неплохой вкус.

— Этого надо было ожидать. Ведь она не из мужицкой семьи, а дворянского происхождения, — сказала довольная Фридерика и протянула «Личное дело Рассиной».

На стене висела немецкая карта. По ней Фридерика ежедневно водила карандашом, рассказывая, какими темпами и как далеко зашла и идет армия фюрера по советской земле.

— А ну-ка, дворянская дочь, покажи, где сейчас наша победоносная армия? — показал на карту эсэсовец с толстой шеей.

Оксана подошла к стене и насупилась. Ей хотелось заплакать, но она проглотила подступивший к горлу комок. Подняла голову и неизвестно почему остановила взгляд на слове «Москва». Гитлеровец заметил это, приблизился к ней и, крепко дернув ее за ухо, сказал:

— Здесь русским капут! Такой город больше не существует! Он скоро получит новое название.

Оксана остолбенела от такого сообщения. Теми же штрихами типа колючей проволоки, что и Москва, были обведены Ленинград, Тула, Киев, Харьков, Сталинград. «Значит, обманывают меня отец и Клим? Или сами не знают, что не существует больше нашей столицы? А может, нас, переводчиков, вводят в заблуждение эти господа в зеленом?» — размышляла Оксана.

— Немецкая армия сейчас вот здесь, — ткнула девочка пальцем наугад в Уральский хребет.

— О! Гут! — восторженно обратился гитлеровец к Фридерике. — После получения документов направьте ее на работу в мой белоцерковский штаб! Судя по ее возрасту, она, должно быть, не очень еще заражена большевистской пропагандой!..

Оксане предложили сесть.

Экзамены продолжались долго. Кто-то отвечал, кого-то били за неудачный ответ, кому-то предложили пересдавать с отстающими, кого-то выбрали для киевского штаба, а Оксана обдумывала, как избавиться от назначения в Белую Церковь. «Придется покинуть школу сегодня же... Иначе будет поздно, — думала она. — А может быть, уже поздно? Не погубят ли из-за меня Рассину, если я уйду к партизанам? Спросят ведь ее, где твоя воспитанница? Но белоцерковский штабист подчеркнул: «после получения документов». Значит, не прийти на последние экзамены, не получить диплом — и никакого интереса я для них представлять не стану?..»

Зазвенел звонок, и Фридерика снова позвала к себе Оксану. Представители экзаменационной комиссии двинулись к выходу, и Оксана увидела ухмылку на лице учительницы.

Когда Оксана приблизилась к столу, учительница положила ей на плечо тяжелую руку и проговорила:

— Тебя ждет хорошая работа. А твою мать можем отправить в Баварию. Я рекомендую ее одному промышленнику...

Девушка помолчала, а затем вмиг ее осенила мысль. Да такая, что она и сама для себя не ожидала.

— Госпожа СС, как оказалось, моего отца красные не расстреляли (она имела в виду Рассина). Он был в тюрьме, а сейчас его освободили, и он возвращается домой. Находится где-то в деревне под Харьковом... у чужих людей... разутый и раздетый... Отпустите меня — я съезжу за ним.

— Езжай! — неожиданно быстро согласилась учительница. Отчетливо, по-русски она сказала: — Остальные экзамены сдашь с последующими группами. — Она поправила на затылке сдвинувшийся кок волос. — А мужичья, партизан не боишься? Они взрывают железные дороги. Этот скот все еще не привык к новым властям. Ну ничего, мы скоро заставим их полюбить нас! — пригрозила немка.

Оксану передернуло. Все же девушка искренне поблагодарила учительницу, ибо теперь знала, что застраховала себя: искать ее не будут и беспокоить Рассину тоже не должны.

Вечером Оксана собрала свои скромные вещички, связала в узелок, простилась с хозяйкой, предупредив ее, как отвечать, если кому-то вздумается ее искать, и понеслась к переправе. А оттуда в Агатово. Но партизанская землянка была пуста, и Оксана, встревоженная, пошла домой.

Дома тоже никого не было, за исключением Амура. Пес, вытянувшись, смиренно стоял у дверей клуни. На сей раз он не ки-



нулся Оксане навстречу, как бывало всегда, а только заскулил, помахал хвостом и посмотрел одним глазом на Оксану, другим на дверь клуни. Она догадалась: здесь кто-то есть.

Девушка осторожно открыла дверь и замерла от страха. Из-за кучи сена на нее в упор смотрел черный глазок пистолета. Руки не было видно и человека тоже. Она мигом прикрыла дверь, как бы пряча себя от пули, одновременно крикнув:

— Кто здесь?

— Оксанка! Это я, Клим. Я думал, кто-то чужой...

Девушка, услышав знакомый голос, дружелюбно погладила пса по голове за столь добросовестную стражу (он стоял все еще с приподнятой мордой, как бы вслушиваясь в каждый шорох) и, погрозив ему пальцем, мол, продолжай в том же духе, скрылась за дверью клуни. Но тотчас же вскрикнула:

— Кто это?

— Не узнаешь?

И если бы еще раз этот голос не остановил ее, она бы убежала прочь. Перед ней стоял худой, наголо постриженный человек, щеки его утонули в пышной бороде. Оксана вновь усомнилась: Медеренко ли это? Она помолчала, затем спросила:

— Что вы здесь делаете один? И где мои родители?

— Матери твоей я дома не застал, видно, по делам куда-то ушла. А отец и все друзья наши за выгоном заканчивают сооружать ветряк.

Теперь Оксана уже не сомневалась: это он, ее учитель Николай Медеренко.

— Как же вы не боялись появиться здесь? — забеспокоилась Оксана. И тут же отступилась от своих слов: — Хотя вас сейчас и не узнать...

— Когда я прошелся мимо старостской, — рассказывал ей Клим, — Долинич посмотрел на меня как рублем подарил — кого-то, видать, я ему напомнил... Но тут же отвернулся, закрутил сигарку: он теперь величина — зняться ни с кем не хочет. А мне это на руку. Я шмыг в сиреневый палисадник, что под окном, поблизости ни единого человека, вынул из кармана свою «лейку» и жду... Спасибо Долиничу — окно открыл и свастику сегодня повязал на руку. Ведь он раньше ее не носил. Я его и сфотографировал. Для наших, когда вернутся, это лучшее свидетельство. — Клим посмотрел на девушку. Та была необычно грустна. — Ну-у, — подбодрил он ее. — Скоро будет все как и было. Ты будешь учиться, а я буду ставить тебе пятерки за успешную учебу. Ты теперь историю будешь без учебника отлично знать.

— Что вы имеете в виду? — спросила та вполголоса.

— Все эти наши дела — это ведь тоже история. Ну, а как дела в немецкой школе?

Оксана рассказала.

— Ну что ж, все правильно, — сказал Клим. — А теперь пойдй к нашим и скажи Архипову, что я, то есть Клим (ни в коем случае не называй мое подлинное имя, всякие люди там могут быть рядом), жду его около Скирдной горы вместе с Костей и Юрием Лукьянцевым. Получат срочное задание. Ты будешь выполнять его вместе с ними. Работать нужно будет день и ночь. Отца отвлекать на это дело не следует. Пускай он занимается ветряком. От вашей оперативности будет многое зависеть.

— А если я не смогу? — боязливо сказала девушка.

— Сможешь!

Оксана и Клим разошлись в разные стороны. Выгонов неподалеку насчитывалось три, но Оксана направилась туда, где слышались тюканье топора и звон железа.

По небу медленно плыли тяжелые облака. На пригорке около единственного на этом пустыре куста шелюга, опершись на костыль, стоял дед Григорий, поглядывая в небо.

— Общественное презрение тебе, небо! — выпалил он сердито. — Нам ветер нужен. Ветер нам давай, шоб кормилец наш, ветряк скорее заработал на счастье людей!

Тучи распылялись по небу, будто и впрямь заклинания деда Григория возымали какую-то силу. И ветерок вскоре подул: то проходил над головой, то клубком катился по земле, шаловливо поигрывая с песком и травой, то ударялся о грудь.

Сюда, к строящейся мельнице, пришло много женщин и детишек. Они уже стояли в очереди, чтобы смолоть ведро-другое зерна и впервые за этот военный год испечь дома съедобный хлеб. Но так как мельницу строят не специалисты, то тут, как и во всяком новом деле, оказалось немало трудностей. Прежде всего катки и жернова поначалу не до конца были обработаны как следует, и их понадобилось трижды увозить обратно в Латвиново.

А когда доставляли от Лозовой два дубовых столба, то полуразбитый тягач, который Павел Ильич с трудом выклянчил у Данилы на ферме, на пятом километре забуксовал и не двинулся с места. Лопнула шина, отказал тормоз. Данила другого транспорта не дал. Пришлось запрячь Крепину свою Машку и за два захода доставить столбы на место.

При втором рейсе большой столб, не уместившийся на по-

возке, пришлось вшестером всю дорогу поддерживать на руках. Несколько раз Машка от натуги валилась на бок вместе со столбом. И тогда все дружно подхватывали столб. Машка шла дальше, а Крепину раз от разу тяжелее дышалось. Одной рукой он повис на плече Архипова, другой держался за живот. Как Пелехов ни протестовал, Павел Ильич домой не свернул, а подвязав живот попавшимся под руку полотенцем, следовал со всеми вместе дальше.

Оксана приблизилась к месту, где теперь строилась мельница, но никак не решалась подойти к кому-либо, чтобы не нарушить ту деловую обстановку, что царила сейчас тут. Она остановилась за спиной у деда Григория и невольно улыбалась, наблюдая, как дед радовался, что намолил ветер, и как теперь он, ветер, буйствовал над землей, будто чувствовал себя здесь главным распорядителем.

Столб-направитель был уже наглухо закреплен. И дед Григорий командовал установкой лопастей-крыльев: «Ще трошки, ну ще, хлопци!..» Костя Лазаренко вторил ему: «Взяли, ребята, гоп!»

Наконец крылья двинулись, заскрипели и заиграли бесконечные круги на фоне чистого, но потускневшего в вечерней мгле неба. Женщины





и дети радостно что-то кричали и бежали с ведрами, наполненными доверху зерном, к лестнице ветряка... Вдруг кто-то сильно застонал и повалился на землю. Оксана узнала отца.

— Тату! — крикнула она.

— Пелехов! Скоро сюда! — скомандовал Архипов, забыв об осторожности. Но здесь никто никого из них не знал по фамилиям, так что присутствующие и значения этому не придали.

Валерий растолкал локтями людей:

— Разойдитесь, нужен воздух!

Крепин лежал на земле и уже ни на что не реагировал. Он не слышал ни всхлипываний дочери, ни голосов друзей, ни крика назойливой сороки, пролетавшей уже несколько раз над серым квадратным домиком с широкими крыльями.

Пелехов взглянул на Оксану.

— Что с отцом? — требовательно спросила она у него.

— Жить будет, но останется с грыжей... Сделать ему операцию в наших условиях невозможно.

Пелехов продолжал осматривать Крепина, сунув в рот больному какую-то таблетку.

Павел Ильич очнулся. Мгновение он не мог припомнить, где он и что с ним произошло, а услышав скрип крыльев, догадался. Посмотрел на дочь и пересохшими губами прошептал:

— Вот так!.. Ну ничего... Это теперь наш Волго-Донской канал, — махнул он на ветряк. Посмотрел на деда Григория: — Вышло по-нашему, дружок...

Кто-то сообщил Анне Евсеевне о случившемся, и она прибыла с самодельной повозкой, на которой и увезла мужа домой.

Архипов, Костя и Юрий ушли к Скирдной горе на встречу с Климом, остальные во главе с Валерием сопровождали больного до самой постели.

Труба, который шел по каким-то делам на ферму к Даниле, увидев эту неожиданную процессию, тоже свернул к ней. А узнав среди присутствующих Оксану и Крепина на повозке, поинтересовался, что случилось с ее отцом. Когда та ответила, он крепко сжал в правой руке свой подбородок и, на удивление, чисто по-русски ответил:

— Очень жалко... Что же он не поберегся?..

Оксана даже сощурила глаза от неожиданности, а дед Григорий сердито выпалил:

— Что тебе нужно тут, полицейчик? Геть отсюдова!

Труба хмуро и как-то виновато ответил:

— Я... я зараз пиду геть...

### ВСТРЕЧА В ПРУДИНЕ

Шли они бок о бок: староста Долинич и переводчик Кислица, так представился Юрий Лукьянцев, заявившись в вишневскую жандармерию на роль добровольца-переводчика с очередным этапом в Германию. Правда, к тому времени, что явился он туда, объявление со столба было уже снято, однако ему не отказали в работе. На следующий день Кислица с Долиничем шли в соседнее село. Там так же, как и в Вишневке, готовился очередной этап. Вот и хотели они переговорить, на какой день можно рассчитывать на прудинский полицейский конвой. А то свой вряд ли справится... И еще Юрию предстояло вести беседу с каким-то гитлеровцем. Это было совсем нехстати. Обнаружится его весьма слабое знание языка, и все планы могут рухнуть.

Под ногами хрустела сухая полынь и спорыш, сожженные июньским жарким солнцем, где-то откликнулся скворец, затерявшийся в серповидно-вялой листве кукурузной ботвы, квакали лениво на очеретяном болоте лягушки, на грядках колыхались тощие колосья, непрочко ухватившиеся волосатыми стебельками за истоптанную гусеничными лапами землю. Деревья стояли промеж нив, как бы умышленно высаженные для разделения хозяйских грядок.

Людей на огородах не видно. Урожай теперь созревал как-то сам по себе, а больше не созревал. Картофель рос неухоженный. Только в заморозки ему было суждено попасть в руки хозяек. Суждено, а то и не суждено...

В Прудине, как и в Вишневке, местных жителей Юрий не увидел. Селяне были угнаны на поля (теперь при немцах колхозы назывались сельхозами) на уборку овощей и не возвращались домой целыми неделями.

Овощи тут же упаковывали в ящики, погружали в машины и доставляли на железнодорожный узел, а оттуда в двух направлениях: на запад — в Германию или на восток — гитлеровским фронтовикам.

О совместном конвое договорились на более поздний срок. Прудчане, как сказал начальник полиции Холопко, не являются на сборные пункты, а то и совершают покушения на представителей новых властей.

— Чем же все это кончается? — поинтересовался Юрий.

— Чем? Находим всех сукиных сынов, и тогда уж будь здоров!

Не успел Юрий поразмыслить, как в прудинскую жандармерию вошли двое: вишневыи священник Стецько в белом летнем полотняном костюме, а с ним рядом облаченный в черный длинный балахон с огромным крестом на груди, видно, немецкий священник.

Юрия поначалу рассмешила внешность этого чудака. Весь он, кругловатый, моложавый и краснощекий, напомнил Юрию одну карикатуру из сатирического журнала «Перець». Это было перед войной. В оболочке помидора, покрытого густыми ворсинками, глядело на читателя вот точно такое же ленивое, самодовольное лицо. И у этого господина щеки и виски так же были упрятаны под едва заметный матовый пушок, и лицо его, будто электрическая лампочка, светилось от какого-то понятного только ему восторга. Священник, видно, пытался отпустить бородку: на шее у него висел рыжеватый квадратик жиденькой гривки, видать, он стеснялся ее, потому что подолгу задерживалась на ней его широкая ладонь.

Стецько обрадовался, узнав, что наконец хоть кто-нибудь из присутствующих поможет ему толком объясниться с высоким гостем, который, как выяснилось, приехал из Кенигсберга якобы инспектировать церковно-приходское хозяйство по всей Украине.

А Юрий заволновался: ведь за исключением некоторых немецких слов и выражений, которые помнил со школы и заучил вместе с Костей в Агатове по Оксанкиной тетради, он ничего не знает.

Подбодрило Лукьянцева то обстоятельство, что гость, как объяснил Стецько, торопился в областную жандармерию. Юрий поднапрягся, расправил свои боксерские плечи и сказал:

— Альзо, камерады, шпрехайте!

Потом припомнил различия баварского и берлинского акцентов и добавил:

— Ют!

Гитлеровец недоумевающе поглядел на всех, ибо последнее слово («ют» — «хорошо») было произнесено не к месту, рыжеватый его квадратик дрогнул, глаза сузились, посмотрели в землю, потом сочувственно на Юрия.

Немец начал о чем-то рассуждать, показывая через окно на видневшиеся рощицы и поляны, на одиноко стоявшую прудинскую лукообразную церквушку, к которой позарастали уже все тропы.

— Толкует великий патриарх, чтобы здесь возродилась настоящая жизнь. Об открытии церкви идет речь, — пояснил Стецько Долиничу, поглядывая выжидательно на переводчика, — просят и ее обслуживать.

— Ясное дело... Голос у вас богатырский, — польстил ему Лукьянцев. — Кто помолиться, а кто просто послушать придет.

Но вот гость извлек из-за пазухи отпечатанный лист бумаги со свастикой и печатью и подал переводчику. Юрий пристально вглядывался в каждую строку, но, не разглядев там ничего, кроме плотно усевшихся рядом фраз, с деловым видом посмотрел на Стецько.

— А тут все о том же... О церквушке...

Тем временем немецкий священник подал Стецько сиреневую с позолоченным наконечником ручку. И опять что-то сказал. Юрий снова ничего не понял. Но по ручке догадался: нужно было где-то что-то подписать. И тут его выручил случай. Он рассмотрел на бумажке ниже печати уже ряд подписей. Немедля Кслица-Лукьянцев сказал:

— Вот тут, внизу, расписать свою поставьте. А то господин патриарх не очень-то верит в кивание головой...

Стецько размашисто черкнул: священник такой-то.

Немец свернул бумагу и упрятал в широкий бумажник, что хранился где-то в потайном кармане у его груди, отвесил поклон Долиничу и, чтоб было понятно, с пафосом, почти польски, произнес:

— Ця будже всяко мое!.. Феуер дагин! (Огонь туда!) — почти скомандовал гитлеровец и махнул рукой в сторону леса.

Юрий совершенно правильно перевел произнесенную фразу, и его словно качнуло. Он только теперь понял, что «господин священник» совсем не простачок, которого будто бы заинтересовала пустячная затея по открытию прудинской церкви.

Пыль столбом, оставленная инспекторской машиной, немедленно припадала к земле; клубком катился по земле песок вперемежку с листьями и комками кизяка. Шумел невдалеке березовый лес.

Первым сдвинулся с места Долинич, за ним Юрий, за Юрием Стецько.

— Дивно тут, — сказал Долинич. — Вот где хату-то поставить бы! Да только будет жить здесь теперь господин патриарх, шо приезжал на смотрины. Ты, видно, хреновый переводчик, — обратился Долинич к Лукьянцеву.

Стецько остановился, посмотрел на Юрия и выпалил:

— Так на чем же я подписался?



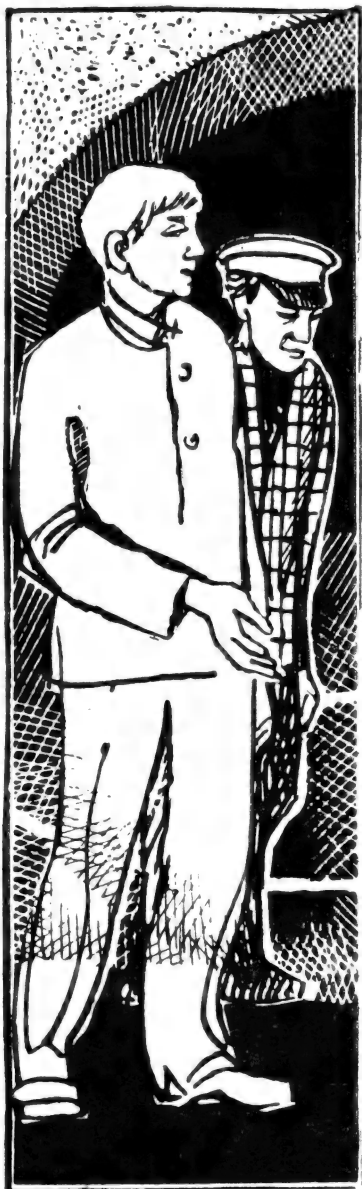
Юрий почувствовал себя виноватым, однако не раскаивался, что сыграл какую-то злую шутку с этим гитлеровским подпевалой.

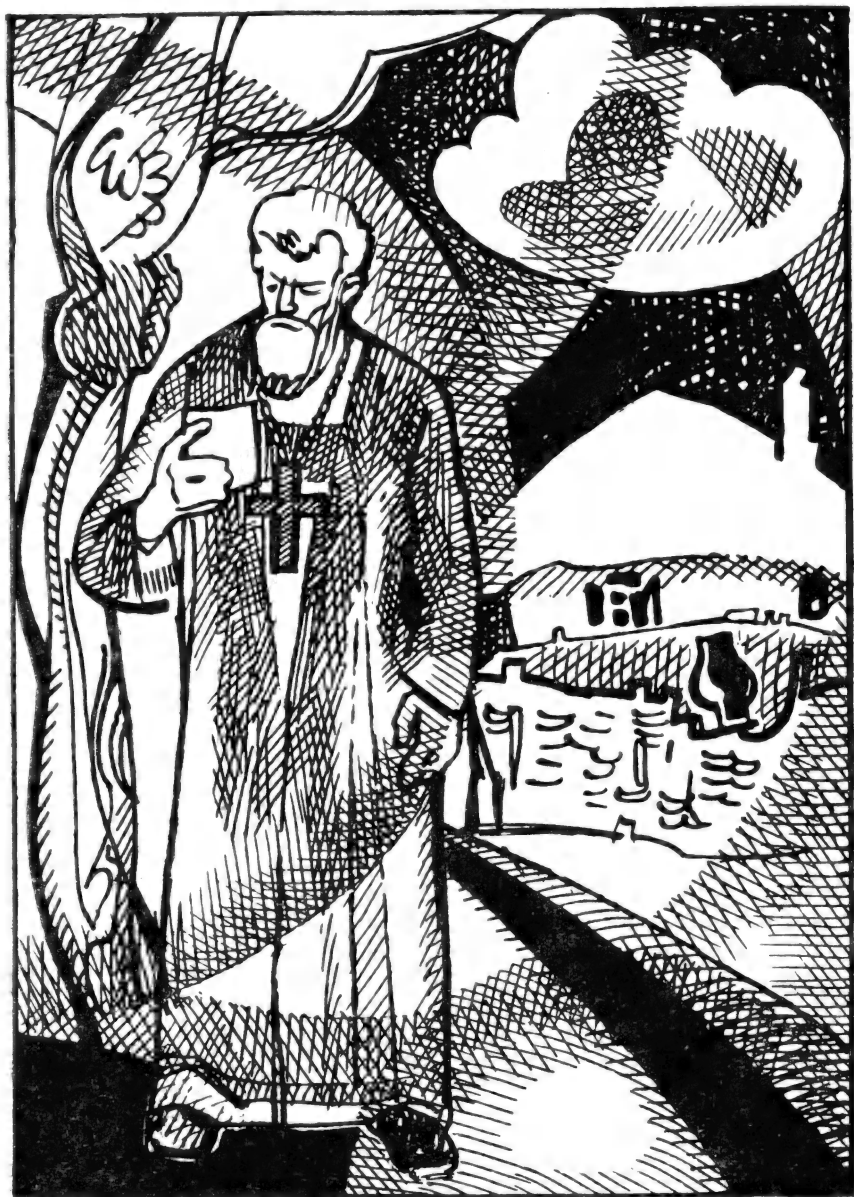
— Зятек! — выручил его староста. — Все в норме. Ты подписался, шо будешь тут в той церквушке богослужение вести. Короче, шо ты не последняя людина в той операции... Я еще вчера подписался, и Марфушкин, и Рауше, и в области подпишутся. Це ж из инструкции по пункту три... А думаешь, як бы не подписался, було б по-другому? Вони ж хозяева...

Стецько помнил эту инструкцию наизусть, знал ее от Неизвестного и Юрий Лукьянцев. В пункте три говорилось, что необходимо большую часть оккупированной территории полностью очищать для поселения на ней арийцев... И далее уточнялось: «постройки сносить, людей уничтожать, землю расчищать...»

— Пункт три я знаю, но я-то тут при чем и церквушка? — обратился Стецько к тестю.

— Ты всему тут голова, — пояснил Долинич. — Ты як заспиваешь, так и мертвый пойдет до церкви. Всех селян соберешь. А на обратной дороге их немецкие солдаты и постреляют. А опосля хатенки подожгут. И будет наш патриарх на свой лад господарковать.





Староста не считал эту операцию секретной: Стецько — прямой участник и обязан знать свою работу, а Кислица и сам все это мог вычитать из бумаги. Ко всему прочему и немцы о подобных акциях почти всегда говорили открыто, засекречивали лишь время операции. Да и в деревушке-то этой всего сто хаток, и в каждой из них по двое: старик со старухой. Именно такую малонаселенную местность присмотрели гитлеровцы. А земля тут черноземная, урожайная...

Стецько, услышав, что его голос фашисты хотят использовать как приманку, словно прозрел. Он побледнел, исподлобья взглядывая на старосту, но больше смотрел куда-то вбок. Стецько первым двинулся с места. За ним пошел Юрий, еще более удрученный. Стецько думал о себе. А он, Юрий, о ни в чем не повинных людях, на которых должен обрушиться огонь немцев.

Вечерело. Когда подошли к Вишневке, кое-где уже зажглись огоньки, и Кислица-Лукьянцев свернул влево, чтобы не опоздать на «переправу». Староста приказал ему на следующий день быть рано в полицейском пункте и принять участие в формировании нового этапа в Германию. Тот пообещал явиться вовремя, как вчера и сегодня.

Не подозревал староста только главного, что Лукьянцев, он же Кислица, приступил к формированию этапа по-своему намного раньше. Еще два дня назад Юрий принес все списки к Неизвестному домой, и за ночь Костя, Оксана и Юрий в погребке при свечах скопировали их. Затем из двухсот названных в них избрали двадцать надежных девчат, которым следующей ночью разнесли повестки (Оксана указывала хату, вручал Костя) совсем иного характера, чем те, что готовила им полиция. Все двадцать предупреждались о том, что их собираются угнать в рабство, а посему предлагалось немедленно уйти из дому. Каждая из двадцати обязана была сообщить об этом еще десятерым подругам по несчастью (перечислялись фамилии). Ставилась задача полностью сорвать отправку двухсот вишневских девчат в Германию.

На следующий день списки переводчик Кислица снова подложил в стол Долиничу, а на четвертый навсегда и бесследно исчез. Почти все девчата, намечавшиеся к отправке, разбежались кто куда. А Долинич за срыв этапа совсем потерял доверие у Рауше.

## Глава 15

### РЫНОК ПО-ФАШИСТСКИ

Не хотел Павел Ильич смириться с тем, что в такое тяжелое военное время болезнь свалила его в постель. Неуемная его натура не давала ему покоя.

Как-то днем, когда не было Анны Евсеевны дома, Крепин снова подвязал живот полотенцем и поплелся к будке Амура, захватив с собой кусок мешковины и металлический обруч, которыми еще раньше снял с пересохшей бочки.

— Эх, Амур, знаю, как ты паниковал, когда беда со мной стряслась. Да не такой уж я слабак, чтобы смерти легко отдаться, — приговаривал Павел Ильич, глядя собаку. — Через пару деньков буду бегать так, что и ты меня не догонишь. Отдай-ка ты мне свой поводок. Пущай теперь мне сослужит — грыжу мою держит. Согласен?

Вечером пришла с пастбища Анна Евсеевна, и, может быть, все образовалось бы само собой, если бы ненароком она не заметила около постели Павла Ильича обрезки от поводка.

— Опять поднимался! — вскрикнула Анна Евсеевна. И снова наставления, споры до хрипоты.

— А-а, отстань, — небрежно отмахивался хозяин. — Волос длинный, а ум короткий. Ишь, понравилось ей нравоучения читать. Ось я что смастерил себе. Хомут для живота. И грыжи моей как не бывало. — Он поднял из-под одеяла металлический обруч, плотно обшитый мешковиной с двумя подушечками типа груши, и помахал им в воздухе, гордясь своим изобретением.

Анна Евсеевна смягчилась и начала о другом:

— Встанешь коли на ноги, посади ты на Оксанкино счастье явор. Может, моя рука тяжела. Пятый усох на корню...

— Ох, это суеверие. Знал бы, что ты такая, не женился на тебе. Чего случится с твоей Оксанкой? Разбей меня в лепешку, а я верю, что, доведись ей даже в гестапо попасть или еще куда-либо, честь нашу не уронит. Проверил — поэтому так говорю! Девка гвоздь. Она в меня — не в тебя, — довольно и горделиво закончил Павел Ильич.

— Тьфу, сатана ты стопудовая! Душа моя чувствует, беречь ее треба. А где она сейчас?

— Скоро вернется твоя Оксанка.

Анна Евсеевна долго еще хлопотала по дому, следом за ней ходил Амур и протяжно скулил.

Хозяйка все донимала мужа:

— Поводок изрезал! А то другой кожи в доме не нашлось...

Крепин молчал. Его беспокоило другое. Где-то и в его душе уже поселилось суеверие в отношении поведения пса, но он не хотел в этом сознаться жене. Маленький ум этой собаки раньше всех, как он уже убедился, предчувствовал приближение зла.

«Что могло случиться? Дочь не дошла до Агатова? Встреча с Климом не состоялась? Или опять Оксана переводит для Клима какие-то немецкие инструкции, газеты, письма немецких военнопленных, а также ихних фронтовиков? Но в любом случае я же не разрешал ей нигде оставаться на ночь».

Крепин не мог не посоветоваться с Климом о готовившейся в Прудине трагедии. Его группе предостеречь эту беду было не под силу. Требовалась помощь Тараса и его людей. Сам Крепин не в состоянии был дойти до Агатова. Вот почему была необходимость послать к Климу Оксану.

И вот Оксаны нет...

Прошли сутки в муках и ожиданиях, наступили вторые... Еще и не рассвело, как в первое окно второй половины хаты постучался Труба. Перво-наперво он заговорил о самосаде, и поэтому Крепин не заподозрил, что его приход был не случаен. Хозяин попросил старуху отдать все, что было в доме, и тогда полицей разоткровенничался.

— Ваша дочка арестована. Она у нас, в жандармерии. Могу и вас арестовать...

— Арестована? — вскрикнул Павел Ильич. — Когда?

— Ой, лышенько... — заголосила мать. — А я штоказала?.. Чуяла душенька! Оттого и явор сох. Погибла дытына... — плакала навзрыд Анна Евсеевна.

— Ни гугу, что я у вас был, — сказал Труба, потопав к двери.

— Постой! — крикнул Крепин, поднимаясь с постели. — За что дочь арестована, спрашиваю?

И Труба рассказал, что вчера в плавнях ее увидел вместе с Медеренко какой-то «свой» немцам человек. Доложил тут же полиции. Выехала группа из шести вооруженных полицей, чтобы схватить учителя. Но Медеренко уже успел скрыться, а Оксанка была схвачена по дороге домой вблизи Скирдной горы... Вот и спрашивают у нее, чтобы она все рассказала: где живет Медеренко, чем занимается, о чем он говорил с ней. Оксана упирается, твердит: «Ничего не знаю, и был это не

Медеренко, а какой-то неизвестный человек. Спрашивал, как добраться до Семихаток...» Но в это никто не верит.

Анна Евсеевна собралась с духом и поспешила на прием к старосте. В ответ на ее просьбу освободить ее несовершеннолетнюю дочь она сама была задержана. Крепин, как было решено дома, ушел будто к лекарю в Днепровогорск. На самом же деле надел вокруг поясницы свой прут-хому́т, как он выражался, и, опираясь на палку, в сопровождении Амура ушел к переправе, оттуда поросшими тропами решил пробраться в Агатово.

Едва он успел уйти, на дом Крепиных была совершена облава. Так как никого и ничего подозрительного там не было найдено, то Анну Евсеевну освободили из-под стражи в тот же день, а Оксану, чтобы свести счеты с Крепиным и избежать какой-нибудь диверсии со стороны партизан, Долиннич приказал под конвоем увезти в район, откуда с группой девушек и парней угнать пешком в бывший совхоз «Луч», где формировался этап в Германию. Сюда пригоняли по одному, по два, по три человека. Все содержались под усиленной стражей, и только таким образом гитлеровцы кое-как сформировали этап.

Конюшни и кошары были набиты людьми. А через неделю уже и кошары были малы. Поэтому администрация как бы разделила лагерь на две смены. Половина в ночь угонялась в хранилище на разборку овощей, другая половина занимала их соломенные лежа в конюшнях. А потом наоборот. Так как определенного места своего никто не имел, то после рабочего дня все **торопились** в конюшни занять местечко где-нибудь в углу, чтобы не наступали ночью прибывающие люди. Блохи, жуки, вши смело разгуливали по человеческим телам.

Оксану каждую ночь вызывали двое в штатском и все спрашивали ее об уже известном якобы им партизанском отряде. Интересовались, что она знает об убийстве соркинского полицая вблизи вишневецкой фермы, совершенном неделю назад.

Двое в штатском заявили, будто ее отец несколько раз уже пытался поджечь особняк старосты Долиннича и что теперь совсем стало ясно, что он партизан. А посему она, Оксана Крепина, обвиняется в связи с партизанами и, как партизанская дочь, не может быть освобождена из-под стражи, а, напротив, с этапом будет отправлена на спецработы в Германию.

Решение это было окончательным и послужило ответом на Оксанино заявление с просьбой освободить ее из-под стражи как несовершеннолетнюю.

Крепин вынужден был скрываться. Теперь только мать и сестры навещали Оксану. Но вот и мать не явилась в очередную субботу, а уже под конец дозволенного часа свиданий появился Костя Лазаренко.

— На, — просунул он через проволоку авоську. — Отнял у фрица.

Оксана чуть было не швырнула ее наземь.

— Ничего ихнего не хочу. Принесите мне русские харчи!

— Бери. Все это наше, а иначе бы я не отнимал. Иду по мосту, и с Нижнего Холма направляются мне навстречу два пьяных фашиста. Один держит эту авоську. Вижу, торчит курица оттуда, фляга с медом и паляница. Обидно стало: фриц и украинская паляница. Полная несовместимость! Давай, думаю, «обезоружу» его. Останавливаю. «Ком герр», — говорю. Слово по-немецки, как умею, два — по русски. «У кого отнял? — спрашиваю. — Давай сюда, иначе сдам тебя немецкому коменданту, что ходишь пьяный с оружием». Я-то их военные законы знаю. Он не из трусливых. Пистолет мне показывает. А я ему свой... Он оторопел! Авоську кинул под ноги и пошкандыбал без оглядки... Видит, я трезвый, со мной ему не справиться.

Костя закончил свой рассказ, а Оксана вдруг увидела мать. Анна Евсеевна была чем-то расстроена. И вдруг оживилась.

— Де ты взяла авоську? — сунула она палец через проволоку. — Немец отнял у меня по дороге такую же...

— А я отнял у пьяного немца на мосту, — отчеканил смеясь Лазаренко.

— Твое счастье, дочка! — повеселела Анна Евсеевна. — А ну разложи паляницу снизу. Наше там с баткой тебе письмо залеплено.

Оксана незаметно раскрошила хлеб и действительно нашла маленькую записочку. Она тут же развернула ее и прочитала.

В ней отец подбадривал дочь: «Я верю в тебя. За меня не волнуйся, я поправляюсь».

— А ты что привез мне, Костя? — приободрившись, спросила Оксана.

— Несколько слов от Клима. Ты должна бежать... Только не сейчас. Не доезжая границы.

— Доченька, не переживу я это... — заголосила мать.

Костя встревожился.

— Не надо убиваться, Анна Евсеевна. Оксанка вернется, вот увидите; она везучая. Ну хотя бы этот случай с авоськой. Ей она предназначалась, и ее она нашла... Я ведь не знал, что нем-

цы ее отняли у вас, но получилось так, что меня потянуло забрать ее у них, — как мог успокаивал Костя мать.

Однако Анна Евсеевна плакала.

На сей раз гитлеровец на вышке не стерпел и выкрикнул:

— Вег, холлера!

— Ух ты, бусурман! — рассердилась старушка. — Дьявол вас принес на нашу землю, будь вы прокляты!

Час свидания истек. Оксана, стараясь подбодрить мать, показала ей глазами на счастливую авоську.

\* \* \*

«Айн, цвай, драй...» — отсчитывал начальник эшелона загоняемых в товарные вагоны изгнанниц. Шестидесятая цифра... Подбородок гитлеровца на время замирал вместе с кадыком — дверь вагона закрывалась...

Их собрали сюда из разных сел и деревень, из городов и поселков, семьями, одиночками, матерей с детьми...

Вместе с Оксаной ехали ее односельчанки: Нина Склярская, Валя Орленко, Мария Кондратюк, Марьяна Прочко и другие. Все они были старше ее, а у взрослых свои разговоры, свои интересы. И только Валя Орленко частенько проталкивалась к Оксане, пытаясь хоть чем-нибудь ее утешить. Но Оксану беспрерывно одолевали страшные и надсадные мысли. Они, будто веревочные петли, цеплялись одна за другую. Потом ей как бы наглухо заложило уши, почудилось, что она находится где-то в топкой трясине, мечется в огненном кольце, что у нее связаны руки и ноги, и веревочная петля уже тянется к ее шее... но проходит мимо... и уже эта петля на шее у людей в зеленом, и их злые исступленные лица виновато смотрят в землю. Но это только желание Оксаны... Нет, лица их самонадеянны, довольны... А она несчастна... Страшно, очень страшно, когда такая беда видима и неотвратима, когда она приходит к юному, неокрепшему человеку.

— Ты много думаешь, Оксанка. Когда я вижу тебя такой, мне становится очень страшно, — говорила ей Валя.

А Оксана молчала. Перед ее глазами все еще стояли три фигуры: мать, сестры и еще Амур... Гитлеровцы их оттолкнули от Оксаны прикладами автоматов, а пес пробрался все же к ней и тыкался холодным носом в ее мокрые глаза и щеки, потом залаял, сначала со стоном и свистом, так же жутко, как тогда при отъезде Гончарова, а потом звучно и легко. И теперь Оксана разгадывала: что бы это означало?



На полустанке Лида поезд стоял уже вторые сутки. Эсэсовцы поговаривали, что где-то за Брестом польские партизаны взорвали железнодорожную линию и теперь рабочие наступают ее.

Оксана уже трижды пыталась бежать. Дважды при выносе бачков с нечистотами, а в третий раз — когда раздавали ужин. Но ее обстреливали охранники эшелона, а овчарки хватили за подол платья и волокли обратно к вагону. Тут она получала вдобавок пощечину от начальника эшелона Эрнста или кнутом по плечам...

На полустанке Лида гитлеровцы засели в палисаднике играть в карты. Солнце скатилось за опушку леса. Стучали засовы последних вагонов, куда железнодорожная обслуга, как и во все остальные вагоны, кинула пятнадцать небольших ржанопыльных кирпичей хлеба — каждый предстояло поделить на четыре пайки. Бачок с горячей бурдой, бачок с кофе и по два кусочка сахара, а под конец бачок с водой.

После побоев Оксана ничего не ела. А к бачку с водой не было сил пробиться.

Оксане показалось, что она совсем слабеет. Девушка испугалась, от этого напряглись ее нервы, и она как бы очнулась. Брат Андрусь за такую хандру осудил бы ее крепко. С укором глядели на нее глаза Василия Коралова, слышались слова Максима Скрипко: «Пока мы живы, надо многое еще успеть сделать...» А отец и Клим? Они оба надеются, что многому научили ее и она выстоит. Это слово она слышала неоднократно сама из их уст и забыть сейчас о нем не могла. И тут-то она как бы поклялась мысленно: «Не сдаваться, обрести силы!..»

Кто-то в углу запричитал молитву, в другом крестились. Валя спала, приткнувшись головой к стенке вагона. Кто-то стоял, остальные перешептывались.

Оксана прислонилась к зарешеченному окошечку. На улице вокруг стола по-прежнему грудились гитлеровцы. Они изощрялись друг перед другом в остроумии. Особенно тот, кто по утрам и вечерам командовал выносом парашей, шелудивый и красноглазый. Оскалив зубы, он в чем-то настоятельно убеждал сейчас бледнолицего Эрнста. И когда первый громко запел полюбившиеся ему куплеты песенки «От Лондона до Нью-Йорка шли арийские сыны...», Оксана рассмеялась и насмешливо по-немецки выкрикнула в окошко: «Должно быть, и в Лондоне нужны ассенизаторы...» Потом озорно повернулась и рассказала всем в вагоне о песне, которую поют гитлеровцы, и о том, какую шпильку она им вставила.

Эрнст постучал по вагону палкой, заслышав дружный смех. А затем вдвоем с «интендантом по нечистотам» сняли рельс, которым была заперта дверь снаружи, открыли вагон и, обращаясь ко всем, спросили:

— Кто кричал, холлеры?

И тут все женщины подались к гитлеровцам:

— Мы! Да! Мы... мы все смеемся над вами! Вы нелюди, а мечтаете о Лондоне...

Немцы, конечно, ничего не понимали, иначе бы женщинам несдобровать.

Оксана сидела на досках, не двигаясь с места, у того же окошечка, в которое кричала, и нетрудно было догадаться, что это сделала она. Эрнст, щуя один глаз, немного задержал свое внимание на ней, затем в углу увидел скептически улыбающуюся Марьяну Прочко, готовую, как показалось Оксане, выдать ее с ходу. Однако женщины дружными криками вынудили начальника эшелона сердито дернуть за дверную скобку. Железный рельс глухо звякнул о поручень вагона.

Марьяна неестественно расхохоталась.

С тех пор Оксана уже не была одинока. Первая кружка воды теперь всегда подавалась ей...

Поезд прибыл на Краковский вокзал утром. Оттуда в сопровождении своры овчарок и их хозяев-эсэсовцев этап погнали на плац, который был расположен в двух километрах от железнодорожной линии. Сюда уже стекались немецкие офицеры, штатские с тросточками и в цилиндрах, дамы с бульдогами и цветными зонтиками, ехали на легковых машинах и мотоциклах одноногие и однурукие бывшие фронтовики.

Ведущая на поводке овчарку служанка приблизилась незаметно к колонне.

— С Украины? — на украинском языке с русским акцентом спросила она, глядя в землю, чтобы не понял ее хозяин, к кому она обращается.

— Да! — ответила Валя. — Куда нас ведут?

— На рынок. Наши восточные рабочие называют его «рынок по-фашистски»...

Хозяин окликнул девушку, и беседа прервалась.

Когда колонна приблизилась к плацу, там столпилась еще уйма немцев. Задыхаясь от жары, одни обмахивались веерами, а иные сидели в своих машинах, приоткрыв боковые стекла.

Первая на осмотр ринулась пожилая, ярко одетая дама.

Мадам долго ходила по кругу, ослепляя всех своим пестрым платьем, сшитым по фасону солнца-клеш, с обвисшими

боками. Ее соломенную шляпу часто уносил ветер. За ней тотчас кидалась ее собачонка и возвращала шляпу хозяйке.

Долго она осматривала девушек и все бранилась: то фигура неприметная, то внешность простовата, то ростом мала.

Итак, ни одна девушка мадам не подошла для ее «дома свиданий». А так как этапы еще будут прибывать, то это ее не огорчило. Мадам направилась к мужской колонне. Раздался хохот. Но мадам, не стесняясь, заявила: «Для жен фронтовиков...»

Выбрала она троих самых красивых из колонны парней. Смех не смолкал долго, и, как ни странно, парни охотно пошли за мадам и уселись с нею в ее «опель».

За рулем сидел какой-то молодой осанистый немец, мадам рядом с ним, парни — на втором сиденье. А спустя немного времени Катовицкое гестапо предъявило начальнику биржи претензии за распродажу «русских бандитов». Мадам и осанистого немца они нашли заколотыми в спины близ Санцигнеевских рош. Виновники скрылись.

Оксану охотно выбирали в служанки: и фабриканты, и фермеры, и коммерсанты, но она всем говорила, что ничего не умеет делать.

Но вот к девушке приблизился маленький напомажен-





ный человек с псом. Коммерсант Штольц, так его назвал переводчик, решительно выпалил:

— Ты понравилась моему псу. И мне тоже. Будешь мыть моего Джимма, расчесывать, кормить. Он баловник... — Напoмаженный человек улыбнулся, кому-то подмигнул, стукнул девушку по уху наконечником трости. — Что молчишь?

Джимм смиренно лег у ног Оксаны. Штольц, осмотрев девушку, вдруг сказал:

— Настоящая статуэтка. А ну-ка повернись...

Оксана не повиновалась и зло ринулась в сторону от коммерсанта. Но Джимм схватил ее за подол платья и, рыча, поволок к липе, куда уже пошел хозяин. Там стоял и начальник этапа Эрнст.

— Я беру эту! — заявил Штольц решительно.

Эрнст по-военному вытянулся, окинул злым взглядом Оксану и, видно вспомнив, как та несколько раз в пути пыталась бежать, предупредительно произнес:

— Не советую, господин Штольц. Это неисправимый советский выродок! И таких немало здесь. Мы будем содержать их под стражей.

Раздосадованный коммерсант спрятал свой бумажник и покинул биржевой плац.

### Глава 1

#### ПЕРЕВОДЧИК ТИЛЬМАН

Бургомистр Петровска был не молод и не стар. Ему минул сороковой, когда неожиданно оборвалась его дипломатическая карьера в Бельгии по причине, известной только абверу. Шло у него там все гладко, если не считать, что когда он отсутствовал, то швейцар почему-то чаще всего говорил правду: «Должно быть, они в банке по вопросам международных расчетов...» Так он сказал однажды и инспектору из управления имперской безопасности.

Такая информация не очень-то понравилась инспектору, и, видно учитывая ее и... все прочее, консулом был назначен другой человек. О том, что случилось дальше со швейцаром, это уже не так важно, а вот консул спустя год стал бургомистром.

Бургомистр был воспитан в аристократическом духе. Однако сейчас Вильгельм несколько изменил своему воспитанию. Он видел, как имперские чины кладут ноги на стол, — стал класть и он; как другие дерутся за карьеру — начал драться и он; как поклоняются деловому расчету — начал поклоняться и он; как вешают, стреляют в спины и головы своим жертвам — начал вешать, стрелять и он.

И все же Вильгельм не только делал попытки, но и на самом деле старался оставаться самим собою. Уж, по крайней мере, в домашней обстановке...

Давно уже бургомистру Петровска предлагали в переводчики разные кандидатуры: то местного учителя немецкого языка, то какую-то русско-немецкую колонистку, то девицу, успешно закончившую школу немецких фронтовых переводчиков, и даже начальника вишневской полиции Марфушкина, в совершенстве владеющего немецким языком. Но Вильгельм, человек бдительный, имеющий в прошлом прямое отношение к имперской разведке, знал, что в таком деле нельзя доверяться людям не своего склада души. Недоброжелателей ого-го сколько: каждый офицер так и норовит увильнуть подальше от пекла — Восточного фронта — и заполучить теплое местечко

в тылу. А посему бургомистр будет полагаться только на себя, и в переводчики он, конечно, возьмет проверенного человека из специальной школы. Такая школа была создана в тысяча девятьсот сорок первом году при центральном гестапо Украины, дислоцировавшемся сначала на польско-советской границе, затем в районе Винницы, а позже в районе Харькова. Туда и обратился бургомистр Петровска.

...Ответ пришел незамедлительно. Бургомистру предложили прибыть на место и самому указать того, кто ему понравится.

Прибыл он в школу на следующий день. А этот следующий день был в августе тысяча девятьсот сорок второго года. Учащиеся направлялись в общежитие. Один — рослый, плечистый, круглолицый парень со светло-шатеновой шевелюрой и карими глазами — сразу приглянулся Вильгельму. Он чем-то походил на истинного арийца. И на чуть ли не профессиональное приветствие того: «Хайль Гитлер!» — бургомистр мягко ответил: «Хай-ль».

«Дела» на переводчиков были поданы Вильгельму на просмотр. Обращала на себя внимание странная схожесть биографий: почти все слушатели школы были в прежней своей жизни неудачниками. «Тем, кто побывал в советских тюрьмах, — думал бургомистр, — больше, чем кому-либо другому, нужны новые власти».

Ганс Тильман... Всмотревшись в фотографию, бургомистр узнал того, кто приглянулся ему при первой встрече. Правда, в «деле» о нем были весьма скудные сведения: родился и вырос под Краснодаром; по национальности немец; всю добрую половину своей жизни провел в тюрьмах; в сорок первом году по случаю войны был досрочно освобожден; от службы в Красной Армии Тильман увильнул, дождался новых властей и вскоре пришел в городское гестапо просить работу; как знающего немецкий язык, но не владеющего им профессионально из-за отсутствия практики, он и был направлен в школу переводчиков. Почему немец оказался под Краснодаром? За что этот приятный на вид человек мог оказаться в тюрьме? Вопросы эти волновали бургомистра, но верх взяло все-таки хорошее впечатление от первой встречи. И он остановил свой выбор на Тильмане.

С первой минуты своего появления Тильман проявил ненавистность к работе. Он тут же разобрался во всех доверенных ему бургомистром бумагах, сочинил послания в полицейские и жандармские пункты. Он был сказочно удачлив. Если нужно

было кого-то разыскать по телефону, он моментально разыскивал. Ему удалось навести порядок в отношениях с гражданскими предприятиями, которые все еще с приходом новых властей претерпевали длительную и безнадежную реорганизацию.

Бургомистр поначалу даже удивился, что этот постоянный «жилец» советских тюрем — человек очень деловой и развитой.

Ганс при случае объяснил, что во многих тюрьмах он был уже свой человек, его знали и ему предоставляли там административную или канцелярскую работу. Отсюда и административно-организаторская хватка.

Однако старый абверовец не так уж слепо доверился своему новому работнику. На всякий случай он изменил два секретных шифра. Рассказал своему подопечному об имеющейся якобы в распоряжении особой группы немецких войск новой пушке, которая может испепелить половину земного шара, если это потребуется. А затем выделил пару агентов, и те выпытывали у переводчика, что он слышал о новом вооружении немецкой армии. Уловки одна нелепее другой были разные: Ганса спавивали, предлагали офицерский мундир, делали подарки... Тильман не продавался.

Роль переводчика он выполнял добросовестно, и гитлеровец теперь готов был доверить ему не только секрет о вымышленной пушке, а сущую правду о ней, была бы она только придумана, черт подери, эта пушка!

Присутствие Ганса не утомляло бургомистра. Даже после работы они по вечерам сживали за чашкой кофе, и переводчик подолгу с неподдельным спокойствием повествовал шефу о каких-то там энергичных парнях, которых он знал в лагерях, о том, как сама жизнь при красных толкала их на ложный путь и какие это гордые, достойные и вправду хорошие хлопцы. Вильгельм почти не прерывал его вопросами, а ловил фразу за фразой и даже мелких неточностей не улавливал в речи своего переводчика.

А Ганс боялся только одного: не показаться бы бургомистру обманчиво-скромным.

И вот как-то осторожно он заговорил о Германии, стал сетовать на своих родителей за то, что те роком судьбы были брошены на землю русскую, да еще в пренеприятной роли колонистов, для которых чужая сторона — не золотая россыпь, а Германия — «царство нашей чистой крови», — закончил Ганс.

Дрогнули уголки рта абверовца от таких слов похвалы.

— Ганс Тильман! Мой славный парень! Ты устал жить здесь.



Понимаю тебя, сочувствую! Чем может помочь тебе невеликий человек великой Германии? — на сей раз поскромничал Вильгельм. — Пока что тем, что навсегда тебя избавит от этих дурных воспоминаний...

Ганс внутренне вздрогнул. Вильгельм испытующе посмотрел на него и, как бы прочитав его мысли, ответил:

— Не тревожься, милый! Ты в надежных руках. Немцы — народ честный и, главное, щедрый: уж если полюбят, то отдадут другому все, и даже свое сердце, без остатка, но уж коли не полюбят, то капут холлерам!.. Чтобы не мешали.

Разговор этот происходил в штаб-квартире бургомистра. Переводчик поднялся с дивана. Плечи его раздалились, но лицо осталось каменным. Он только подошел к окну, поправил штору, глухо сказав:

— Да! Господин бургомистр! Щедрость немца — правильная щедрость!

— О, дорогой Ганс! За успех нации не жаль сжечь и пол-Европы! Не так ли? А что эта ничтожная мужицкая Украина или Польша? Земному шару легче станет, да и только...

Время было позднее, и собеседникам пора было расставаться. Ганс Тильман, осмелев, обратился к своему шефу, как к другу:

— Покурим?

— Покурим! — ответил тот, подавая переводчику сигару. — Ну вот как будто и установился наш с вами контакт, — почему-то теперь обращаясь на «вы», сказал гитлеровец. — Если все так будет продолжаться и дальше, вы о прошлом вскоре забудете, как о дурном спектакле. А кончим войну, обещаю сделать вам карьеру, и не здесь, а там, в самом центре нашего рая! Вот об этом и намекал я вам в самом начале нашего разговора. — После этих слов Вильгельм важно поднял свои ноги вместе со шлепанцами и перекрещенными положил на стол.

— После войны? — заинтересованно спросил Ганс. — А если бы я попросил господина бургомистра сделать это намного раньше?

— То есть? — удивился тот.

— Ну хотя бы в ближайшие пару месяцев. Понимаете, боюсь, что, ежели встречу здесь хоть одного красного протокольщика (так называл Ганс советских судей), я прикончу его, как таракана, с ходу! Я от рождения решительный!

— А вы не приканчивайте ваших протокольщиков сами, а укажите нам их. И мы с ними разделаемся.

— О нет, господин бургомистр, не стерплю, сам отомщу! Кровь за кровь! — стукнул кулаком себя в грудь Ганс.

Герр бургомистр нервно сжался. Свеча догорала (электричество в городе, хоть и было восстановлено, подавалось нерегулярно), и Вильгельм подтянул к себе массивный портсигар. Как-то странно и сухо ответил:

— Я не подготовлен, дорогой Ганс, сделать вам карьеру сейчас. Дело в том, что я только недавно вернулся из Бельгии и вскоре выбыл сюда. Где сейчас трудятся мои коллеги, куда их разбросала военная судьба, один бог знает. А отправить вас просто так в Германию — малоутешительно для вас же самого. Правда, мы имеем указание всех наших пособников при их желании отправлять в фатерланд, снабдив отсюда аусвайсом. Это документ, дающий право немцам брать этих лиц на работу, доверять им. Если вас удовлетворит только такая моя любезность, что ж, я выполню ее незамедлительно. Вы прибудете в Берлин, подскажу, куда обратиться, и с той биржи вас направят на работу, а там дай вам бог удачи!

Ганс согласился. Герр бургомистр подтянул к себе ручку, пустой бланк аусвайса с коричневой накрест полоской и начал его заполнять. Затем разборчиво подписался и, вызвав помощника, приказал ему немедленно штампом и печатью засвидетельствовать этот документ.

Ганс задумчиво курил. Он тревожился: не передумал бы шеф. А шефа уже тревожило обратное: не передумал бы Ганс. В его рискованной карьере не хватало еще убийцы-переводчика, который свою «решительность», чего доброго, может в любой час повернуть против него. А что? Нужен только повод, а насчет «крови за кровь», видать по его настроению, дело не станет... Впрочем, Вильгельм верил и не верил в такую возможность... Скорее он склонен предположить, что Ганс просто решил воспользоваться хорошим к нему отношением и ускорить достижение поставленной цели. Ну что ж! Он это заслужил. А там, в Германии, тоже очень нужны хваткие рабочие люди. Пусть едет.

Переводчик расстался с шефом, горячо поблагодарив его за аусвайс. Потом ненадолго куда-то исчез, а остальное время до самого утра упаковывал чемодан и саквояж.

Бургомистр по утрам был всегда в хорошем настроении. Он одевался, перечитывал последние номера фронтовых газет. В это же время завтракал. А потом шел вдохнуть хоть «третью долю положенного ему», как он говорил, кислорода! В это утро бургомистр пришел на вокзал проводить Ганса Тильмана.

Он все же привязался к нему за это короткое время.

...Поезд уходил в 9 часов. На ступеньках, держась за поручни, стоял Ганс Тильман — советский разведчик Алексей Чернобай. Его шеф, махая на прощание рукой, был горд, что осчастливил своего переводчика.

Настоящий Ганс Тильман — крупный рецидивист — находился в это время в лагере строгого режима на Севере. О его досрочном освобождении не могло быть и речи. Но так как родители его умерли еще в тридцатых годах, то Алексей Чернобай, внешне схожий с Тильманом, получив спецзадание, в первые дни войны прибыл в родные места настоящего Тильмана, где и объявил, что его, Ганса, досрочно освободили из заключения в связи с войной. Но на фронт он не ушел: продолжал прятаться. Вот почему позже полицейские власти, признав Алексея Чернобая за истинного Ганса Тильмана, и рекомендовали его в бургомистерскую школу переводчиков.

Алексей Чернобай, тогда уже закончивший в Москве специальную школу разведчиков, в совершенстве владел немецким языком. Однако и бургомистерская школа ему не помешала. Тут он изучал врага в действии: его привычки, запросы, характер. И по тому, как ловко он сработался





с бывшим абверовцем и нынешним бургомистром, следует считать, что Алексею Чернобаю противник был понятен.

Подполковник Высоцкий верил в капитана Чернобая, предлагая его для выполнения этого задания. И все же, прочитав от него переданное по радиации сообщение: «Выбыл. Ждите. Ураган», подполковник, глядя на фотографию своего любимца, в волнении прошептал: «Счастливый путь, дружище! На сей раз трудно тебе достанется. Война...»

## Глава 2

### «КУБ»

Стоило Гансу Тильману выйти на остановке вместе со своими невольными попутчиками из вагона, как у них потребовали документы. И тут случилось неожиданное: почти всех немецкие проводники вернули в вагоны, невзирая на их аусвайсы, и обзывали «дреками и шайзе»\*. Алексея же эта брань как бы и не касалась. С ним хозяева поезда были обходительны и даже обращались к нему: «Вы», «господин».

Алексей догадался, что дело было в аусвайсе. Может быть, коричневая полоска тут играла какую-то роль, может быть, то, что выдан ему был этот аусвайс самим бургомистром, а может быть, то, что в аусвайсе значилось, что он немец.

Советом бургомистра он не воспользуется. В Берлин не поедет. А покинет этот эшелон в Польше, где его уже ждут люди и дело, дело, которое поручено Алексею Чернобаю.

«Rüstungsbetrieb Lp» — секретный военный завод... Его индекс Lp-17 — индекс новых марок немецких авиабомб. Он уже появился на упаковках снарядов...

Алексей Чернобай знал, что на заводе работают только специалисты-немцы, имеющие прямое отношение к производству этого оружия. И все же с помощью указанных Москвою людей, местных поляков, во что бы то ни стало он должен раздобыть план этого крупнейшего по территории завода, растянувшегося вдоль Западных Карпат на сто километров, чтобы по нему твердо определить место расположения смертоносного авиабомбового участка 17. Стояла задача разбомбить его, вывести из строя, чтобы ослабить гитлеровскую армию хотя бы на время.

---

\* Дрянь и нечистоты.

На «рюстунксбетрибе» много и подобных цехов. Требовалось точно знать, где расположена сама сердцевина — Lp-17.

О том, где находится этот завод, Алексей примерно знал.

По материалам разведки Алексею было известно и то, что чертежи для постройки «Rüstungsbetrieb Lp» были заготовлены в Берлине при ставке Гитлера в тысяча девятьсот сороковом году, сразу после взятия Варшавы. Уже тогда готовилась война против России. Завод планировалось построить вдали от населенных мест, но поближе к советской границе. Высоцкий показывал ему и заснятые на фото некоторые чертежи. Теперь они сброшюрованы в два альбома. Очень нужный и ценный — серого цвета...

Конкретного плана по выполнению задания у Алексея пока не было. Москва предложила несколько вариантов, наделила пособниками. Но решать предстояло ему, исходя из условий и ситуации. Сейчас он раздумывал над тем, в качестве кого ему пытаться проникнуть на завод: в военной форме инспектора или гражданским инженером. И что это даст? Успеет ли он увидеть все то, что ему требуется? Лучше бы устроиться на постоянную работу. Но этот путь пока сложен.

Алексей лежал на верхней полке и делал вид, что спит. На самом же деле вслушивался в беседы пассажиров. В окружении этих опустошенных людей — полицаев, старост, священников и других отщепенцев — Чернобай чувствовал себя хуже, чем среди гитлеровцев. Поэтому, спустившись с полки, он обычно выбирался в тамбур и молча курил вместе с ранеными немецкими солдатами. Это было легче, чем слушать «дреков», заворуженных фюрерским «раем»...

«Дреки» несколько раз пытались столкнуться с Женей Тильманом, так он им представился. Тильману-Чернобаю трудно было скрыть чувство ненависти к «дрекам», и он отделивался тем, что торопился покурить, или раздобыть кружку воды, или просто подышать воздухом на ступеньках вагона.

Так неожиданно, ни с кем не простившись, он и исчез вскоре после того, как замелькали на земле обломки полосатых столбов, где когда-то была граница между Россией и Польшей.

Алексей сошел на первой остановке в Польше. Это были Моновицы. Патруль, которому Тильман предъявил свой аусвайс, долго всматривался в него, о чем-то думая, а затем начал расспрашивать, куда следует «русский немец» и не ищет ли он лагеря для таких, как сам? Алексей не ожидал такого вопроса и ответил, что туда он никогда не опоздает, а пока что поищет родственников своих родителей, немало известных в Германии

Тильманов. И так как патруль по национальности был поляк, а не немец, то Алексей тут же подумал: «Видать, из дреков...» — и стал с ним разговаривать категоричнее. Он забрал из рук патруля свой аусвайс, ответив:

— Займитесь, господин патруль, кем-нибудь другим. А с немцами обращайтесь с доверием. Вы — для нас, а не мы — для вас!

Поляк щелкнул каблучками, пролепетав:

— Яволь, господин... Но... нам приказано... всех, особенно штатских...

— Ясно! — продолжал сердиться Тильман. — Сейчас штатский, а переоденусь — буду военный. Время-то какое. Скоро все станут военными. А сегодня или завтра — это не так существенно.

Патруль обмяк и указал Тильману, как пройти к шоссе. Дело в том, что слева запретная зона, и он не советует приближаться.

И Алексей подумал: «Да, верно. Примерно тут Лр... Все совпадает: близко к границе, у Карпат, рядом железнодорожная ветка...»

Он свернул направо и увидел табличку. Среди прочих под средней стрелкой значилось «нах Водовиц», и Алексей свернул туда, не глядя по сторонам, словно он местный житель, словно каждый кустик ему тут знаком.







Стемнело. Крытые черепицей польские хатки стояли поодаль одна от другой. Телеграфные столбы, сваленные, видать, еще в фронтовые дни танками, так до сих пор и валялись на земле. Провода, сдвинутые на обочину дороги, были уже закиданы камнями. Он оглядел деревушку. Здесь были только дети и женщины. «Не придется долго трудиться гитлеровцам, чтобы напасть на мой след. Не опрометчиво ли задумал явку мой связной? Все как на ладони...» — мысленно посетовал Чернобай. Но перерешать уже было поздно, и он пошел искать третий домик от заправочной колонки, где живет хозяйка — пани Зоса — и куда раз в три дня приходит шифровальщик.

Алексей шел, хромя и медленно переступая с ноги на ногу. Нужно было сосредоточиться. Дело в том, что на месте домика пани Зоси оказалось пепелище, и пепелище совсем свежее. Поначалу у Алексея вспыхнула мысль: «Видать, дело завалено, и немедленно следует возвращаться, пока тут не схватили с поличным». Даже показалось ему, что кто-то в соседнем проулке его поджидает. Он посмотрел еще и еще раз. В темноте действительно мигал папиросный огонек. У Чернобая был запасной адрес: пятый домик от шоссе. Осторожно отсчитал, приметил. Тем временем человек с папиросой направился в тот же самый дом, намеченный Алексеем. Человек был худощав, прихрамывал. По этим приметам Алексей догадался, что это и есть хозяин пятого домика — «Куб» (партизанская кличка).

Алексей двинулся к хатенке, чтобы поначалу попросить напиток. Цепной пес шумно встретил его, но хозяин вмиг его утихомирил. «Прошу пана», — сказал он вежливо, и тотчас у Алексея непонятно почему от души отлегло: «Кажется, попал по назначению». Загорелый, морщинистый человек сначала помолчал, а когда Алексей попросил кружку воды, засуетился и гостеприимно ответил:

— Сейчас, пан. — И мигом вынес из сенцев эмалированную чашку, наполненную водой. Тут же заботливо добавил:

— С дроги, albo не?

Алексей решил на этот вопрос ответить паролем.

— Столяр я. Беру заказы на лавки. Вам не нужно?

— Прошу пана! Надо шесть!

— Ровно шесть у меня уже готовы. Можем договориться о них сейчас?

— Добже. Рад. Прошу пана в дом.

Теперь уже Алексей не сомневался и смело шел в хату. Встреча состоялась. На пароль «шесть лавок» хозяин ответил правильно.

— Мы вас уже ждем! — ответил Лейфе, закрыв плотно за собой двери.

— Рад за теплую встречу! Скажите, что произошло с домом пани Зоси? — тревожно спросил тут же гость. — Гитлеровцы?..

— Нет! — по-русски заговорил хозяин. — Тут-то они ни при чем. Молния вчера подожгла. Хата была крыта камышом, гроза нахлынула неожиданно. День был душный. А Зося открыла все окна и ушла в город. Вот эти сквознячки горя и натворили.

— И где же сейчас хозяйка?

— Ушла к дочери, в Краков. Предлагал я ей остановиться у меня, вещички ее у нас, но она говорит, с глаз подальше — сердцу легче.

Вместе они посочувствовали вдове польского коммуниста, замученного в концлагерях.

Еще о многом говорили, поужинали вместе, заглянул сюда и невысокий паренек, крепко обнялся с Алешей и тут же исчез... А вскоре в Москву уже летела радиogramма: «Прибыл благополучно, встреча состоялась. Начнем действовать. Ждите. Ураган».

Только теперь Высоцкий понял, в чем дело. «Бургомистр оказал услугу только наполовину. Обеспечил Тильмана документом, но не связал с нужной точкой. А жаль. Ну что ж, и за документ спасибо».

Подполковник Высоцкий, находясь в Москве, думал о том, что же ответить «Урагану», который сообщил, что «прибыл благополучно и начнет действовать». И в эфир полетела обратная шифровка: «Все понял. Будьте осторожны. Регулярно сообщайте о себе. Нужны люди — дадим. Фотокопию аусвайса получил. До встречи. Счастливого плавания... Сокол».

Эту обратную радиogramму передал шифровальщик Алексею, когда тот уже после ужина лежал в спальне, отведенной для него в доме Лейфе, и слушал рассказы хозяина о жизни при немецкой власти.

Слова «Счастливого плавания» тронули Алешу, и невольно нахлынули воспоминания. Он видел перед собой бурлящий Дон, на берегу которого рос и по которому пытался пускать свой красненький самодельный кораблик. В восемь лет он дал зарок стать моряком. И не просто моряком, а военным моряком. А мать с отцом хотели сделать из него учителя немецкого языка, как и они сами. Когда, бывало, Алексей-старший приходил домой, то к матери Алеши он обращался всегда по-немецки. Сначала Алеша сердился, не понимая, о чем говорят его роди-

тели, а затем заинтересовался непонятной ему речью и начал переспрашивать: «А что бы это значило?» И родители поясняли мальчику. Поясняли, рассказывали, учили. Мальчик схватывал все легко и быстро.

Спустя лет пять Алеша говорил с родителями только по-немецки. Правда, тогда он не задумывался, понадобится ли когда-нибудь ему это в жизни, а просто так, чтобы родителям было приятно.

Учителем он не стал. Да мать с отцом и не настаивали больше. Он был призван в армию и, как мечтал, стал военным моряком. Служил Алексей старшим механиком, вдобавок был комсомольским вожаком. Вскоре ему предложили учиться в школе разведчиков.

И уж тут-то «немец Чернобай», так в шутку называли его друзья, оказался на высоте. К нему за консультациями по немецкому языку обращались даже педагоги. Он разбирался в акцентах, диалогах, наречиях. Даже отец и мать в шутку говорили, что сын их вобрал в себя знания и за них и за себя...

Началась война... К тому времени Алеша весьма успешно уже выполнил несколько заданий, и вот на пути к новому его постигло несчастье. Мать получила похоронку о гибели отца под Одессой, а вскоре и сама скончалась от внезапно открывшегося туберкулеза.

И теперь в их добрую память он сделает все для того, чтобы быть похожим на них. Отец погиб героем, мать перед войной получила звание заслуженной учительницы...

Вспомнил Алеша и о девушке, которую считал своей невестой. Училась она в Киеве, в медицинском институте. С четвертого курса ее призвали на фронт. И сейчас она воюет у своих, а он в тылу у врагов, у немцев... Ей двадцать три, ему двадцать семь...

Долго не мог уснуть в ту ночь Алеша, несмотря на усталость. Лейфе спал, где-то в другой половине похрапывала его жена. А Алексей думал... Думал и о том, как жизнь уже не первый раз сводит его с незнакомыми людьми, и как знать, сколько времени им придется работать вместе. Он уже знал, что Лейфе по профессии механик, недолго жил в России, верит твердо, что теперь с помощью советских людей Польша может обрести самостоятельность. А раз так, то советский человек ему друг и брат. «Больше всего на свете людей роднят интересы», — глядя на блики догоравшей свечи, думал Чернобай. И думал еще Алексей о том, как надолго он расстался со своим родным име-

нем и фамилией. Для всех он Ганс Тильман, как записано в аусвайсе, и только для новых друзей «Женя»...

Нервы его расслаблялись, мысли таяли... Капитана охватил сон.

## Глава 3

### ЗНАКОМСТВО

Женя проснулся рано. Не сон, а какое-то забытие оставалось в памяти о минувшей ночи. Вынул из боковой стенки чемодана купюры сине-фиолетовых немецких марок. Отделил какую-то сумму Лейфе, примерно вдвое больше положил себе в карман. Одел светло-бежевый костюм — в войну за границей беж был самый модный цвет. Вышел на улицу, чтобы ознакомиться с местностью, а затем и выбыть на явку в Краков. Сюда придут его шифровальщик Герасим и начальник партизанского отряда поляк Юзеф.

Женю насторожила вчерашняя встреча с патрулем в Моновицах. Патруль явно дал понять, что «русский немец» — это еще далеко не «немец западный» и для таких, оказывается, уготованы здесь лагеря.

Помня об этом, Чернобай-Тильман старался ничем не обращать на себя внимания. Он сел в экспресс с толпой биржевых маклеров, добрался до Кракова в их компании. Из разговора соседей понял, что сегодня ожидается этап с востока гражданских лиц и предстоят большие сделки.

С вокзала Женя направился к центру города.

В море солнечных лучей вырисовывались Карпатские горы.

Они просматривались со всех сторон. Ярко освещенные, с зелеными островками, окаймленными дождевыми распадами, они напоминали географическую карту. Безмятежность и спокойствие излучала природа. А на душе у Жени, как, видеть, и у многих прохожих поляков, было тревожно.

Везде хозяйничали оккупанты.

Шумные улицы были заполнены солдатней.

Почти до полудня Тильман ходил по оккупированному немцами Кракову. По пути в киосках он накопил газет, разных брошюр и теперь просматривал их, расположившись на уединенной скамейке в сквере. Нигде никаких сообщений о ЛП, хотя о других заводах и фирмах рассказывалось, даже приглаша-

лись на работу мужчины до тридцати лет со знанием немецкого языка.

В кафе, где должна была состояться встреча, Женья осмотрелся и тотчас увидел Герасима, а с ним загорелого докрасна блондина с залысинами. Женья подошел к их столику и спросил по-немецки:

— Господа! Я не помешаю?

— Пожалуйста, секретов у нас нет, — ответил Герасим.

Пока Женья усаживался, к ним подскочила миловидная, шупленькая официантка и подала меню.

Юзеф не сдержался и, мешая русские и польские слова, пошутил:

— Господин пользуется у дам большим успехом. Не успел сесть, и ему подают меню, а мы сидим сколько?..

Герасим улыбнулся. Кокетливо засмеялась и официантка. Напряженность как бы спала, и все, по очереди переговариваясь, начали читать меню. Выбор был невелик. Решили остановиться на фирменном салате, жареной печенке с фасолевым гарниром и кофе со сдобой. Официантка услужливо кивнула.

Пока ждали обед, Алексей и Юзеф приглядывались друг к другу.

Чернобай знал от Куба, что Юзеф по специальности машинист, но от немцев скрыл свою профессию. А вот уже больше года работает в транспортной бригаде эсэсовского гарнизона. Водит Юзеф свой «сороход», так в шутку называет он грузовик, от Варшавы и до Кракова, от Кракова и до Бреста.

Юзеф хорошо знает немецкий язык, и ему предлагали стать переводчиком на Краковской бирже, однако он ответил: «Моя поэзия — баранка». И невдомек было его хозяевам, что под поэзией поляк подразумевал партизанство.

Юзеф знал, что, только работая шофером, он постоянно сможет встречаться со своими друзьями по оружию. Да и не только встречаться, но раздобывать и доставлять им продукты, одежду и прочее.

Первую партизанскую группу он сколотил года полтора назад. В нее вошли его земляки, немцы-коммунисты, чехи и даже бельгийцы. Во второй группе были и русские. Недавно они объединились в один партизанский отряд.

Общаясь по службе с гитлеровцами, Юзеф хорошо знал, когда и где он может встретить их, где, когда и в какое время его партизаны смогут встретить машину с высокими чинами, когда пойдет интересующий их поезд или обоз с боеприпасами. Точная информация обеспечивала успех операций партизан.

Эсэсовцы между собой нерадостно поговаривали, что очистить горы от этих бандитов — все равно что сдвинуть их с места. Только загубить время и людей. И может быть, поэтому немецкие спецвойска не рисковали делать облавы. А поначалу старались заслать в Карпаты своих агентов-доносчиков.

Юзеф сыпал шуточками и вроде бы ни о чем серьезном не рассказывал, но почувствовал Чернобай, что судьба свела его с надежным человеком. А впрочем, судьба ли! Просто о нем хорошо позаботились...

Алексей осторожно вынул из кармана купюры немецких марок и разделил их между Юзефом и Герасимом.

Затем, подозвав официантку, расплатился за себя и ушел из кафе.

Вскоре за ним вышли Юзеф и Герасим. И снова все встретились на привокзальной площади, вблизи касс для местных поездов. Самое безобидное место для встреч в войну.

Герасим, получив от Алексея наставления, уехал — надо было спешить на связь с Москвой. Юзеф задержался. Он рассказал кое-что новое о запретной зоне ЛП — о том, что недавно для черных работ и для дальнейшего строительства в район зоны были завезены рабочие из разных оккупированных стран, содержатся они в отдельном лагере в десяти километрах от завода. На работу вывозят их под конвоем, и в лагере усиленная охрана. Юзеф сам участвовал в сборе этих людей на Краковскую биржу с разных пересыльных пунктов и знает, что есть там люди и из Советского Союза.

— Ну, а на заводе по-прежнему одни арийцы, — закончил Юзеф.

Подумав, он посоветовал пану Жене встретиться через Куба с двумя советскими военнопленными. Они были брошены в Катовицкую тюрьму еще в августе 1941 года и работали на закладке первых цехов ЛП. Может быть, те что-то вспомнят и какой-нибудь план нарисуют. Правда, они давно уже с заводом не связаны. При бомбежке им удалось бежать, и уже около года партизанят.

Алексей ничего не ответил на предложение Юзефа. Тогда тот снова заговорил:

— Пан Женья! Я доверенное и, как молвят, проверенное лицо. Иначе мои комиссары, да и ваши, не рекомендовали бы вам меня, а мне вас... Может быть, пан Женья конкретнее скажет, что его интересует?

— К сожалению, Юзеф, пока я действительно ничего конкретнее сказать вам не могу. Одна только просьба — все,

что будете узнавать о ЛП-17, рассказывайте мне.

Отойдя несколько шагов, Юзеф остановился и вновь окликнул Женю:

— Алло, пан! — приблизившись вплотную, сказал тихо: — Сейчас будьте осторожны. Мы недавно пустили под откос здесь два военных поезда, следовавших в Россию. Фрицы освирепели.

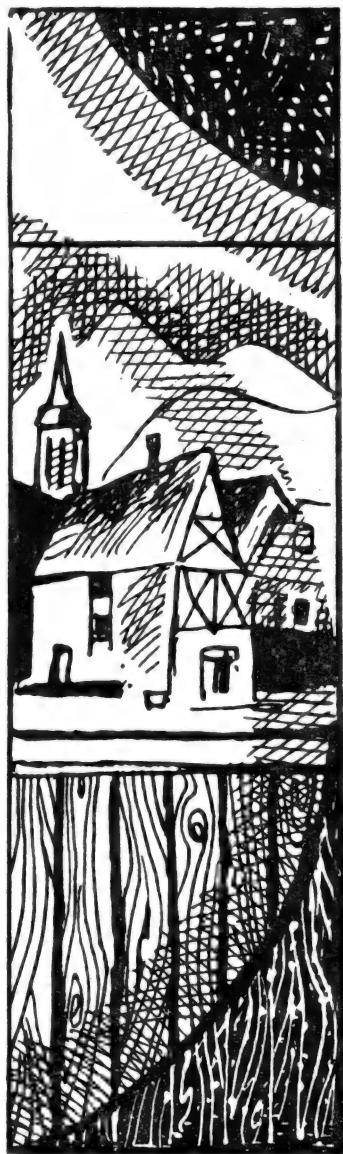
— Спасибо, Юзеф, — Алексей улыбнулся. — И все-таки, несмотря на опасность, подумайте о моем трудоустройстве, хорошо бы в лагерь зоны ЛП переводчиком.

— Добре, пан! Будем мыслить насчет трудоустройства и о новой квартире. Местность, где живет Куб, неподходящая для вас: все на виду, и все друг друга знают... Встречаемся в кафе, там же через три дня. Можно и без связного. Но час другой. Вечер, девятнадцать. Чтобы не было встречи с той официанткой. Что касается Куба, полагайтесь на него во всем и вполне. Желаю успеха, пан Женя! Будьте осторожны!

— Спасибо, пан Юзеф, за все добрые советы. Учту!

\* \* \*

Томительные бессонные ночи проводил подполковник Высоцкий на своей московской квартире, отдаленной от центра города, в мало еще







тогда застроенном Юго-Западном районе. Он не мог уснуть в темной, задрапированной на ночь светомаскировочными шторами спальне, и, гася свет, тут же раздвигал шторы и подолгу смотрел в сумрачное небо.

Он видел, как тянулись по ночному небу самолеты — наши. Видел иногда плывущие с запада черные облака, будто оторвавшиеся от фронтового неба. Они словно заслоняли собой землю, будто прикрывали ее от вражеских снарядов.

Судорога за последнее время нередко схватывала правую ногу Высоцкого, и он немало от этого страдал, никому дома не говоря.

Высоцкому было за пятьдесят, и, хотя возраст этот, давший ему жизненный опыт, и не был предельным, он подумывал о том, что многое может уже не успеть...

Этот вдумчивый, рассудительный человек, побывавший много раз за границей сам, по чрезвычайно малым данным пытался сейчас представить работу Алексея Чернобая — Урагана. Ясно одно, что Чернобай должен бывать как можно реже в доме Куба, коль гитлеровцы чаще стали наведываться в эту деревню, да и в радиограмме сообщается, что от партизан удалось уже узнать важные сведения об ЛП. А коль так, то осторожность требовалась вдвойне, чтобы он, Ураган, сумел довести дело до конца. И опять поток мыслей: чем мог бы он, Высоцкий, еще помочь и в какой мере его участие облегчило бы выполнение этого задания.

А тут еще внезапная смерть шифровальщика. И он не просто сотрудник отдела, но еще и жених его, Высоцкого, дочери! И каждый раз Лера, встречаясь с отцом, смотрела на него так пытливо, что Высоцкому казалось, будто она обо всем догадывается. Узнала же она в свое время, когда Геннадий, он же Герасим, ушел на задание. И когда отец спросил, почему ее так волнуют сообщения от этого парня, девушка не скрывала: «Нужный он мне человек, папа...»

Отец знал об их еще школьной дружбе. И догадывался о чувствах дочери. А теперь Геннадия нет. Да и смерть чуждая — от шальной пули, когда парень возвращался с очередного сеанса. Случилось это в районе Чертовой долины и шоссе, проходящего вблизи запретной зоны ЛП. Труп его опознал Куб, который по просьбе Евгения, так как шифровальщик не явился к нему в назначенный час, шел в отряд уточнить, не захворал ли тот внезапно — в округе свирепствовал брюшной тиф.

Герасима захоронили в лесу.

Все это Высоцкий знал вчера, но не решался сказать дочери.

Лера не одолевала отца расспросами, и, может быть, поэтому он настойчиво внушал себе, что знать она пока ничего не должна. Почему «пока» и до каких пор «пока», он и сам не мог ответить.

Шли дни за днями. Высоцкий, приходя с работы, больше молчал. Жена потихоньку иногда плакала, не смея вмешиваться в дела мужа, а теперь и дочери.

На работе Высоцкий прежде всего перечитывал очередную шифровку от Чернобая, а по-служебному — от Урагана. Тот сообщал, что принимает меры к трудоустройству в районе ЛП и пока помощь Москвы не требуется. Но Высоцкий, узнав о наборе рабочей силы в район завода ЛП с ближайших бирж труда, начал подумывать о своем человеке на этих биржах.

И вдруг Ураган замолчал. Молчал уже шесть суток. И все это время подполковник терялся в догадках: что произошло? Скосил тиф? Не состоялась встреча с новым шифровальщиком? Усердно трудится? А когда наконец сеанс состоялся, то стало известно, что при встрече Куба и Урагана с двумя советскими военнопленными все четверо были арестованы.

Высоцкий уже несколько часов никого не принимал, на телефонные звонки отвечал только два слова: «Звоните завтра». Дело провалено. Это очевидно. Но как все это произошло? Зачем Урагану потребовались эти военнопленные? Кто они?

Пресс-папье становилось все тоньше: подполковник срывал листы промокатальной бумаги и медленно, методично рвал. Когда на пресс-папье не осталось ни одного листка, Высоцкий почувствовал, что голова его безнадежно пуста. Пряча волнение, направился к полковнику Карапузо. Выслушал все, что тот счел нужным сказать по данному поводу.

Вновь потянулись томительные дни и ночи. Теперь Высоцкого совсем измучила бессонница, и судорога, казалось, с ноги перевалила к плечу. Он знал, что это обычная нервная мышечная боль, но, когда Лера уже чаще и чаще начинала вспоминать о Геннадии, а заодно и об Алеше, подполковник тут же подходил к шкафику, где хранились медикаменты. Дочь знала: у отца болит сердце, и лучше помолчать.

И снова они молчали, молчали несколько недель кряду...

Пять дней и пять ночей Алексей находился в Катовицкой тюрьме, в одной камере с тремя незнакомыми польскими парнями, брошенными в застенки за какую-то диверсию на железнодорожной линии. Он не спал и мало ел.

Свесив ноги с деревянных нар и подперев голову ладонями, Алексей уже в какой раз вновь и вновь перебирал в памяти все, что с ним случилось.

Поначалу все протекало как и было задумано. Юзеф во вторую встречу доложил советскому разведчику все, что мог выудить о запретной зоне от своего начальства. Женя выспрашивал Юзефа, кто из знакомых ему людей имеет к секретному участку хоть какое-то отношение. Они обсудили возможности трудоустройства его, Жени, в этот концерн. Хлопоты Юзефа пока что не давали конкретных результатов, нужно было ждать...

Но ждать было томительно и Алексей решил все-таки познакомиться с теми военнопленными, о которых говорил Юзеф. Перебравшись на новое местожительство, Женя и Куб пошли на встречу с военнопленными. И вот он в гитлеровских застенках.

Дверь камеры открылась, и дежурный по-немецки приказал: — Заключенные! Вынести нечистоты!

Женя замешкался, и тотчас к нему приблизился дежурный поляк и шепнул: «Думается, пан на этап не пойдет, останется в тутошних лагерях...»

Нельзя сказать, чтобы это сообщение утешило Алексея, мозг сверлила мысль: «Провалил задание...»

Во время допроса он понял: гестапо будто бы располагало неопровержимыми данными о том, что те двое в прошлом комиссары Красной Армии. Кубу предъявили обвинение, будто в его доме в течение года нашли приют двадцать два советских военнопленных комиссара — гестаповцы называли приметы, — которые исчезли неизвестно куда. А сейчас и эти трое — Ганса Тильмана тоже приняли за русского комиссара, раздобывшего где-то аусвайс... А иначе, мол, настоящему Тильману нечего делать ни с Кубом, ни с теми двумя...

Очные ставки не внесли палачам ясности. В конце концов Тильман опротестовал свой арест, объяснив все «как было на самом деле»: с Кубом он знаком, как квартиросъемщик, а с военнопленными совсем незнаком, и встреча с ними произошла непреднамеренно; ведь он уроженец России, и как-то

на автобусной остановке разговорились о том о сем... Тильман предложил гестаповцам обратиться к бургомистру, выдавшему ему аусвайс. Тильман упирал на то, что он, немец, хочет вернуться на родину и, хотя это оказалось сложно, он не имеет претензий, так как он человек скромный и имеет благие намерения.

Гитлеровцы выслушали эти заявления внимательно. Здесь была логика. И все же, пока Тильман оставался в тюрьме, в Петровск и в гестапо по месту рождения Тильмана пошли запросы о нем. Было решено Ганса Тильмана пока не отправлять на этап, а оставить в любом из местных лагерей до выяснения дела. Вот это известие и донес до Алексея дежурный поляк. И Алексей правильно определил, что не обошлось здесь без участия Юзефа. А раз так, то еще не все потеряно...

...Вышки, колючая проволока, овчарки, люди, слоняющиеся около помоек. Тильман осмотрелся и заметил: совсем новые бараки, новые вышки, не заржавевшая от дождя проволока... «Лагерь только выстроен. Не больше как месяц назад, от силы два».

Через колючую проволоку Тильман увидел женщин. Пригнувшись кое-где на корточках, они что-то выискивали на земле и кидали в рот. Он удивленно посмотрел под ноги, чтобы разглядеть, что же съедобного могло вырасти на этом пагубном клочке земли. И, не разглядев ничего, кроме камней, раскрошившегося кирпича и ржавой жести, еще и еще раз оглянулся по сторонам. На гладкой, единственно заасфальтированной дорожке, ведущей к какому-то особняку, он заметил белые крупицы града.

Алексей все еще стоял во дворе в сопровождении двух автоматчиков. В контору его пока не приглашали. Отсутствовал комендант. Ушел в женскую зону. Так доложил конвою старший по лагерю узник.

Не прошла и минута, как, разрезав тишину, в женской зоне раздался крик, хлесткий звук пощечины, стон, заглушавшийся воем разъяренного пса.

Распахнулась дверь конторы, и оттуда слышались отчетливо произнесенные немецкие слова:

— Она прожила у меня всего два дня и уже из кладовки все продукты перетаскала банде русских пленных. Сегодня я следил за ней. Она наложила полную корзину сухарей, масла, вареной картошки и понеслась на улицу, когда этих голодранцев вели мимо моего дома. Не успели конвоиры и гла-

зом моргнуть, как корзина уже опустела... Заберите ее обратно!..

После этих слов послышался крик. По тону и речи можно было понять, что возмущался хозяин лагеря — комендант. И снова хлесткая пощечина, визг овчарки, непристойная брань женщины-переводчицы.

Первым на крыльцо вывалился человек в штатском. Толсто-пузый, с тростью и шляпой в руке, он то и дело гонял рукой перед лицом воздух. За ним вышел комендант лагеря, а за комендантом — белая как мрамор, с уложенной вокруг головы косой переводчица лагеря. Между ними в изорванном клетчатом платье девушка...

И снова потянулись к ней кулаки кратковременного ее хозяина. Пес тоже усердно «нес свою службу». Он хватал ее за ноги... Девушка будто ничего этого не чувствовала.

Но вот по ее плечам изо всех сил папкой с бумагами стукнула переводчица. Девушка тотчас ответила грубостью:

— Ты, овчарка! Не тронь меня! — И пригрозила: — Наши вернутся — пуля тебя не минует!

— Правильно, доченька, говоришь! — закричал кто-то из толпы женщин, прекративших собирать зерна града и подступивших к проволочному ограждению.

— Тебе, Польша, своего Харькова больше не видать, как свских ушей. Мы тебя сами убьем!.. — крикнула из той же толпы в адрес переводчицы теперь уже другая узница.

Та опрометью скрылась за дверью конторы. Следом за ней ушел и комендант лагеря.

— Гляди-ка, — смело сказал уже третий голос, — а любовник в обиду не дает, поволочил за своей юбкой...

Но тотчас же выскочивший комендант зло рывкнул:

— В блок!

Это относилось к истерзанной девушке. Какая-то совсем старая, седая женщина, а может, она здесь стала такой, кинулась ей навстречу, целовала в щеки, в лоб, приговаривая:

— Оксанка! Родная ты наша, красавица!

Чернобай смотрел, как девушка едва переступала с ноги на ногу. Но столько гордости было в ее ладной фигурке и так независимо несла она свою юную голову, что Чернобай устыдился: как он мог смалодушничать? Еще не все потеряно. И что бы о нем теперь ни думали в Москве, он сделает все, что должен сделать. А тут и на дверях комендатуры он прочитал немецкую вывеску: «Комендант ЛП». Теперь ему было ясно, где он находится.

## Глава 4

### ПРУДИНСКАЯ ЦЕРКВУШКА

Град, крупный и колючий, сворачивал баштанную ботву, ломал серповидные кукурузные листья и прорешечивал игольчатые тыквенные. А когда он стих, на улицу высыпали стайки детей. Они, как в камушки, стали играть в нерастаявшие градины. Но вот выглянуло щедрое в эту осень солнце, и вместо белых камушков в ребячьих ладошках собиралась вода. Они обрызгивали ею друг друга и смеялись, как в старое довоенное время...

Но как только к Вишневке подкралась ранняя темнь, мальчишки разбежались по домам. Темнота напоминала о всем том жутком, что вошло в их жизнь.

По вечерам оберштурмбанифюрер Фриц Рауше зазывал к себе Марфушкина, заставлял его рассказывать о своей работе при старых властях. Но последнее время шеф больше говорил о себе. Он просто не мог остановить поток слов. И переводчик уседел всю жизнь своего шефа.

Германа фон Рауше, отца Фрица, не стало еще в тридцать первом году. Мечтал он сделать сына художником или литератором. Ему казалось, что были у него к этому врожденные задатки, но мать воспротивилась, она обнаружила у сына интерес к музыке. И Рауше-старший внял уговорам супруги. Мальчик сказал, что ему больше по сердцу скрипка. И с успехом стал заниматься у матери и у видного в тридцатые годы скрипача господина Шклове.

Талант у Фрица оказался незаурядным. Вскоре он стал студентом музыкальной школы, где его способности, как говорят, засверкали еще ярче. Фрица приглашали на балы, на вечера.

На одном из вечеров Фриц познакомился с только что призванным на военную службу Францем Блиндтом. Молодой, красивый, щегольски одетый в новую форму Франц покорила на балу всех. Он много танцевал, ухаживал за дамами и девушками, швырял отцовскими деньгами — отец у него был банкир.

Фрицу полюбился в тот вечер Франц Блиндт, и он решил закрепить с ним свое знакомство.

И они действительно стали друзьями. Встречались на стадионе, в цирке, на танцах. Знакомились с девушками. Одновре-

менно женились. Франц — на дочери кондитера, Фриц — на цирковой актрисе Эльзе Мрак.

Эльзе нравились мужчины серьезных профессий. И под ее давлением, и с помощью Франца в тридцать шестом году Фриц стал служащим СС. Скрипка стала для него развлечением, хотя музыка по-прежнему будоражила его. Он даже пытался сам сочинять и возил свои сочинения в специальном портфеле. Но на Восточном фронте он вскоре забыл и о портфеле, и о скрипке, которая долго странствовала с ним, а вот здесь, в России, при спешном переезде где-то и вовсе затерялась.

Сам Фриц Рауше никогда не бил прикладом автомата по головам селян, не вешал, не участвовал в грабежах и даже не расстреливал. Делали это за него другие. Дело дошло до того, что люди шли к нему на прием с жалобами на полицаев. Шли, твердо веря, что Рауше их «спасет». И он спасал. Приказывал полициям жалобщиков «обходить». Есть, мол, и более сговорчивые. Так мало-помалу некоторые люди уже стали верить в своего «освободителя». Поняв это, Фриц пытался закрепить это мнение.

Фриц и Марфушкин иногда выходили прогуляться. За ними метрах в двадцати — два автоматчика. Селяне старались избежать встреч с эсэсовцами и сворачивали в проулки или в чужие дворы, прячась за тыны и плетни. Фриц умышленно старался с такими потолковать. Он подходил к ним и говаривал:

— Я не волк! Я ваш освободитель! Прощу ко мне!

Марфушкин переводил. А «он» или «она» старались держаться подальше.

Если это была «она», Рауше растягивал рот и кланялся:

— Мечтал с тобой познакомиться...

Та растерянно говорила:

— Дя-кую... Я... я тоже.

— Ну-у-у? — не сдержав привычный грубый тон, произносил немец. — Так Расскажи, как живешь?

Попавшаяся жертва, словно пригвожденная к земле, стояла не шелохнувшись.

Напомаженный эсэсовец, от волос которого несло дурманящими духами, вкрадчиво продолжал:

— Война бывает для того, чтобы жизнь, кому суждено ее продолжить, стала раем. Работай хорошо — и это уже пришел к тебе твой рай...

Вдобавок он хлопал «ту» по плечу. Рука у него была в лайковой перчатке.

Фриц топал дальше.

Вот за тын свернул старик и сделал вид, будто у него что-то стряслось с обувкой. У него действительно левая нога была в ботинке, правая в шлепанце. Вся добротная обувь его «убыла» в помощь фатерланду...

Но и не это смутило старика. Видеть он этих волкодавов, как он говорил, не мог!

Фриц направился к тыну. Глуховато проронил:

— Выходи!

Старикашка замялся, виновато дернул плечами и посмотрел на свою обувь, потом вынырнул из-за тына и отчеканил:

— Гутен таг!

Рауше засмеялся:

— Самосад есть?

Марфушкин не ожидал такого вопроса и, выпучив глаза, раздумывал: стоит ли переводить, ведь шеф курит только сигары... Но Рауше несколько раз по-русски отдельно произнес: «За-мо-зад!»

Старик шарил по засаленным карманам брюк, ища кiset. Нашел. Заскорузлыми руками развязал кiset, сделанный из вигонегового чулка, вынул оттуда старую, еще советскую, пожелтевшую от давности газету и, оторвав квадратик, сделал закрутку.

Фриц молча улыбался. Улыбался и Марфушкин, ничего не понимая и страшась того, что может сейчас произойти.

Старик протянул гитлеровцу закрутку, боясь, что вот-вот она развалится. Слюнявить-то много не решался... Затем принялся шарить по карманам, ища спички. Вывернул наизнанку один, второй, а коробка не оказалось. Фриц Рауше ткнул пальцем: в левом кармане дырка...

— Ясное дело, потерял, — согласился старик.

— А ну-ка сделай себе тоже закрутку, — сказал наконец Фриц. — И шефу полиции...

— Нэ, нэ... — отверг тут же Марфушкин и замотал головой.

— А я говорю — да! — приказал Рауше.

Старик подал закрутку переводчику и себе сунул в рот. Марфушкин и Рауше заправили свои в мундштуки. Тут же Фриц вынул из бокового кармана зажигалку. Зажег и первому поднес старику. Голубовато-сизый огонь лизнул его сигарку, затем — Марфушкина, а затем и Фрица Рауше.

Задымили, затянулись... Над головами каждого образовалось по серому облачку. Вскоре они соединились в одно, от которо-



го вверх потянулась широкая змейка... Рауше скривился, но вынул себя произнести:

— В знак дружбы дарю тебе свою зажигалку...

Старик взял в руки играющую пурпуром и золотом вещь-цу и процедил:

— Спасибо. Только она ж мне не по костюму...

— Образуецца! — произнес Рауше полюбившееся ему в России слово. — Образуецца, говорю, образуецца... Война. Делаем пушки. А закончим пушки, костюмы будем шить... Прибереги до лучших времен...

— Це ж долго ждать...

Марфушкин помедлил с переводом этой фразы. Но эсэсовец уже отрубил:

— Найн!

И Марфушкин перевел слова Рауше о том, что через месяц немцы возьмут Москву, а к Новому году старик будет уже в новом костюме.

И, раскланявшись, смеясь, пошли дальше.

Старик долго еще стоял на месте, шепча: «Боже мой! Боже мой!.. Неужто правда не будет больше нашей Москвы?.. Пойду до церкви помолюсь за неё...»

С некоторых пор Рауше стал небрежно относиться к секретным бумагам. Очень много их шло из области. Даже та бумага, в которой журили его за Хакен, о чем он сам доложил по телефону высшему начальству, тоже была под грифом «Секретно» и тоже скреплена сургучом.

Теперь шеф редко днем затягивал шторы на окнах. Случилось это с тех пор, когда однажды он один-одинешенек, без охраны на мотоцикле, примчался из района. И обошлось все благополучно. Он даже похвастался Марфушкину: дескать, ему одному бывать безопаснее, чем в окружении охраны. Вот что значит — народ его принимает за истинного освободителя...

В кабинет постучали:

— Ну-у-у? Что хцешь? — «Что» Фриц научился произносить отчетливо и почти без акцента. А вопросы его относились к Трубе, который именно в этот час чистил обувь и занимался вечерней уборкой.

— Керосину подлить в лампу, а то мывает. Хвитель сухой...

Рауше ничего не понял. Но по тому, как «троттель\*» — так называл гитлеровец Трубу — вошел в кабинет и показал на лампу, и вправду заметил, что грушевидное стекло на лампе было закопченным, вдобавок и моргали блики огня...

\* Троттель — идиот, дурак.

— Ай-я-яй, — сдался гитлеровец. — Битте, битте. — И пожал плечами. «Троттель иногда неплохо соображает. И все же он блодер хунд \*».

Труба внес протертую, чистую лампу. Рауше подошел к шкафу, открыл шкатку, вынул оттуда флакон с духами и, приоткрыв его, сделал взмах по кругу. Аромат смеси ландыша, гвоздики и фиалок поглотил керосиновую гарь.

Труба чистил на приступке сапоги, ботинки, туфли и снова сапоги Рауше. Потом драил бархаткой. Он знал: блестеть все должно так же, как и намасленный зачес Фрица, иначе ему несдобровать.

Чей-то голос на улице отвлек его. Он посмотрел вправо и в сумерках ничего не увидел, кроме кровавистого пятна на небе, где спряталось солнце. Говорила женщина:

— Яша! Пойдем вместе. Я боюсь тебя одного оставлять...

— Я пойду один. Впрочем, не пойду, пока не уйдет оттуда тронутый...

Теперь Труба понял по голосам: спорили Стецько и его супруга Люська.

Вскоре наступила тишина. Только где-то в районе села Прудина надрывалась, словно плакала, какая-то птица. Осенние листья закрывали землю багряно-желтым цветом, и от этой ночь не казалась такой темной, как это бывало в пасмурные дни летом.

Рауше говорил по телефону. Говорил осторожно, полунамеками. Слова «Прудино», «Кенигсберг» и даже примерное время — вторая половина октября — произносились совсем тихо.

Труба поднялся, сложил в угол щетку и бархатки. Но не уходил. В прихожую вышел Рауше. Солдаты вытянулись.

— Троттель, ты что ж, и ночевать тут думаешь? — обратился он к Трубе. Лицо его было озабоченное.

— Ни! — сконфуженно и подавленно ответил Труба, будто обиделся на обращение. И он подхватился и направился к каютке.

— Эй, ты! — снова окликнул его Рауше. — Завтра не приходи! Имеешь отдых. Скоро будем встречать гостей, и вот тогда чтобы у меня все блестело, как эти голенища!

Рауше говорил наполовину по-польски, наполовину по-немецки, но Труба понял, что господин Рауше его не ругает, доволен им и отпускает домой.

---

\* Блодер хунд — сумасшедшая собака.

— Угу! — кивнул Труба в ответ и поспешил скрыться.

Рауше спросил, не появлялся ли священник. Ему доложили, что еще его нет.

— Холлера! Где же этот мерзавец? — завопил гитлеровец.

Труба в это время уже свернул в сторону своего дома. Под ногами шуршали листья, хрустел песок. Может быть, он и прошел бы, так и не увидев никого, если бы не табачные едкие клубы, что ударили ему в нос. А тут и ветка с десятком желудей оторвалась от дерева и стегнула его по голове. Труба с недоумением осмотрелся.

Под дубом на скамейке в одиночестве сидел Стецько. Труба намеревался, не останавливаясь, пройти мимо.

— Эй ты, чудак! — окликнул заметивший его Стецько. — Шеф там?

— Там! — приблизившись к нему, отчеканил Труба. — Иди, он тебе прополочет мозги! — Труба вынул из левого кармана пиджака скрученную заранее сигарку и, глубоко затянувшись, осветил лицо Стецько. И, ничего не сказав, шагнул дальше.

— Да ты, оказывается, по-русски отлично говоришь!

Труба остановился и нехотя, сквозь зубы процедил:

— Та ни, це ж навчывся у вас несколько слов... — Труба задержал на мгновение взгляд на Стецько и тут же ушел.

Совсем помутилось все в глазах Стецько. И снова душевная боль и муки... Муки, которые он испытывает уже много дней и много ночей...

Где он, что с ним?.. В какой ситуации он очутился?

Каруселью поплыли думы... Он словно замер, словно парализовало его на той скамейке и не может он сдвинуться с места, хотя до него доносились вопли Рауше, видно рассвирепевшего, что он, Стецько, еще не соизволил явиться к нему... И все равно он не может сдвинуться, не может подняться, не может идти... Опять как разложенные по полочкам безродное детство, детдом, институт. Вот он солдат Красной Армии, вот изменник, вот зять старосты, муж ненавистной ему женщины, вот притворившийся, приспособившийся священник, вот, наконец, центральная фигура готовившейся в Прудине трагедии, как наемнул ему сегодня Долинич. Да, для этого ждет его Рауше.

Стецько уже видел перед собою груды расстрелянных людей и тут же расплывчатое и довольное лицо кенигсбергского «высокого гостя», слышал стоны и слезы женщин, потянувшихся к нему, к Стецько, чтобы задушить его своими руками. Наконец, приторный голос Долинича... и всегда раздражающая дочь старосты — его, Якова, жена... Он ненавидел их обоих...

О! Плеснул бы ему на голову кто-нибудь ледяной воды, чтобы вновь и вновь не крутились видения прошлого: снова детдом, снова институт, снова Красная Армия. О! Бог мой! Что отдал бы он за все это, если бы оно вернулось к нему! Проклятая судьба! Как жестоко она посмеялась над ним, как свернула жизнь его в комок, и он оказался на поводу у своей слабости. Что делать? Бросить все и бежать? Но куда? К Медеренко? Он наверняка работает на Советскую власть. Не зря его так рьяно ищут гитлеровцы. Но даже если бы удалось найти его, разве поверит он сейчас в его искренность, после того как он вместе с мелкими доносчиками охотился за ним. Зачем все это он делал? Какая проклятая минута тогда властвовала над ним? А может быть, дойти до Сталинграда, фронт сейчас там, и пробраться к своим? Но имеет ли он право рассчитывать теперь на доверие к себе и там? Об измене его им все наверняка известно, да он и не должен скрывать этого, если рассчитывает встать на правильный путь! Рано-поздно за все надо расплатиться. Так лучше сейчас, не теряя времени и сил...

Страшный звон... Он снова стоял в ушах. Ослабили руки, ноги, пот увлажнил длинные, свисавшие ему на плечи волосы... Светло лопатки... Кто-то где-то горланил и уже умолк, а свет в особняке Рауше все еще горел.

«Пора идти...»

Стецько прижался спиной к дереву, затем встал, снова сел, опять встал, отряхнул понизу ризу и медленно поплелся...

Личный охранник Рауше не стал докладывать ему о появлении священника, а тут же, оглядев того, пропустил в кабинет к обергруппенфюреру.

Оберштурмбаннфюрер в разговоре со Стецько часто прибегал к польскому языку, чтобы обходиться без переводчика. Они оба одинаково плохо знали польский язык, но достаточно хорошо, чтобы понимать друг друга.

И сейчас Фриц Рауше решил обойтись без переводчика. Как бы продолжая ранее начатый разговор, он твердо сказал:

— Итак, предстоит очистить Прудино...

Стецько прервал его:

— Это я уже слышал. Но соучастником убийства моих земляков не буду!

Рауше не обратил внимания, что священник снял с шеи крест и сжал его в кулаке. Поэтому не сразу понял слова Стецько о том, что тот отказывается быть участником предполагаемой акции.

Рауше приказал проверить солдату, не пьян ли священник.

— Не-е-ет! — изо всех сил крикнул Стецько. — Я трезв. И поэтому скажу вам все, что думаю. Я дни и ночи размышлял над тем, надо ли вам все это говорить. И решил... Надо! Прудино лучший повод для такого объяснения. Я не могу больше носить в себе тайну о том, что трижды раскаиваюсь за свою измену Родине и моему народу! Я страдаю в муках... Страдаю и терзаюсь... И не потому, что уже ничто непоправимо, а потому, что мне, подлому человеку, суждено было родиться на свет для того, чтобы узнать вас и вместе с вами мир делать несчастным! — Стецько проглотил слюну, кадык его запрыгал, будто тоже выражал протест. Стецько прикрыл глаза, потом снова взглядом впился в гитлеровца. — Да! Вы смотрите на меня как на идиота. Я понимаю! Но вам все равно ничего не понять. Раньше вы видели во мне приспособленца, верного друга новым властям. Да, я приспособленец. Но я никогда не был вашим верным другом, хотя ничего не успел сделать вам дурного. А жаль. Жаль потому, что тут моя земля, — Стецько жестикулировал руками, — тут мое солнце, тут небо мое. Я должен и обязан любить все это! Должен был бить вас, грабителей, за то, что вы ворвались сюда, чтобы растоптать и испохабить все то, что было моим и должно остаться моим. Должен, должен... Но этого не случилось. И спасибо богу хоть за ту силу, которую он мне отпустил на эту исповедь... потому что на большее я не способен, я трус. Но душа моя восстала против рассудка и привела меня, подлеца, на этот самосуд. И я весь стал принадлежать душе своей! Ее крику, стону и зову... И теперь уйдите прочь, господин Рауше! Я не желаю видеть больше ни ваш косой зачес, ни надраенные ваши голенища! Вы безумец, как и все ваши «гросс-фюреры»... О! Фатерланд, змеиное гнездо!.. — Священник заскрежетал зубами, потом поглядел в потолок, задумавшись, словно читал про себя молитву...

Может быть, Рауше не понял и одной трети из всего сказанного священником, но в последней фразе хорошо разобрался.

— Ты — большевистский голодранец! — выпалил он и выхватил из кобуры пистолет. — Застрелю зобаку! — кричал он.

Стецько швырнул на пол свой крест и схватил со стола огромную металлическую чернильницу... Он рассадил бы череп гитлеровцу, если бы вбежавшая охрана не успела скрутить ему руки. Рауше приказал увести Стецько... Солдаты принялись толкать его в плечи прикладами автоматов... Но Стецько не успокаивался:

— Да, я знаю, что умру! Но умрете и вы, живодеры! — Личо Стецько пылало, веки набухли, кадык замер...

Он сказал все, что хотел. Он поступил правильно и доволен тем, что излил душу палачам. Одного только хотел Яков, чтобы хоть кто-нибудь на свете узнал о том, что умирает он с ненавистью к себе и с любовью к Родине. И одного хотел бы он пожелать в назидание другим: не размениваться на легкий соблазн, жить честно, если жизнь эта и будет короткой, как сон. Умереть красиво и достойно — тоже великая честь и, если хотите, по-своему счастье. А его Рауше приказал расстрелять ночью в конюшне, чтобы не было ни единого свидетеля, кроме лошадей... И там, в навозе, он будет валяться до особого распоряжения этого господина...

Что будет с ним дальше, ему было все равно, но вот умереть он захотел по-своему. У одного немецкого солдата он купил недавно ампулу цианистого калия. Он не раздумывал тогда, зачем делает такое приобретение. Просто тот предложил, а Стецько не посмел отказаться.

Сейчас эта ампула была с ним. Но у него связаны руки. Как быть? Тем временем конвоиры о чем-то зашептались. И, окружив Стецько, развязали ему руки. Он понял, что немцы не хотели привлекать внимания случайных встречных. Конвоиры решили изобразить, будто они просто провожают священника домой, как, бывало, ходили и раньше.

Без наручников идти было легко. Даже жить Якову снова захотелось. И опять в голове все перемешалось: безродное детство, институт, Красная Армия... И все это стало ему безмерно дорогим...

Сердце колотилось так, словно пыталось отделиться от приговоренного к смерти хозяина. А сознание сверлило одно: «Пришел конец...» И конюшня проклятая приближалась, будто не они шли к ней, а она к ним. Конец... «Они или сам? Кто должен сделать этот конец? Ампула уже в руках... А может быть, они — легче, нет, сам; сам или они? Вот сейчас, сию минуту...» Он посмотрел в небо... Тучи и тучи вокруг. Даже в последний путь не проводила его луна и Медведица, которую он так любил находить в детстве.

«Сам!..» — наконец скомандовал себе Яков. И, уже ничего не думая, мигом сунул ампулу в рот...

Сопровождавшие ничего не заметили...

Стецько упал неожиданно. И когда конвоиры, взяв его за ноги и руки, принесли к конюшне, он был уже мертв.

Его положили в углу, на всякий случай выстрелили в затылок, чтобы шеф ни о чем не догадался, и прикрыли малость сеном.

...С рассветом Рауше выбыл в район. Вместе с ним три солдата. Об истории со священником доложил в область. Оттуда пообещали подобрать и прислать в Прудину другого служителя церкви и сообщили, что операция переносится на один день позже. Патриарх с супругой якобы уже прибыли в область.

Из района Рауше вернулся в плохом настроении. Не вступал в пререкания ни с полицией, ни с Долиничем, ни даже с Марфушкиным. На вопрос старосты, куда мог деваться его зять, все молчали. А Рауше бросил на него сердитый взгляд и крикнул:

— Есть другие вопросы служебного порядка? Нет? Уходите! И Долинич ушел не рассуждая.

А утром следующего дня срочно был вызван к Рауше Труба. О расстреле Стецько тот узнал первый от своего друга, конюха. Узнал, но молчал. Молчал терпеливо, непонимающе... Только в памяти его то и дело вырисовывался профиль Якова, его глаза, губы, красивый подбородок с ямочкой и зубы, как мрамор... И надо же быть такому! Будто чувствовал, что видит Стецько живым в последний раз: осветил несколько раз сигаркой...

Труба вытирал пыль, чистил щеткой диван, вытряхивал покрывала, мыл окна и драил, драил голенища всех четырех пар сапог Рауше.

Раздался телефонный звонок. Оберштурмбаннфюрер, в тот момент угрюмо прохаживавшийся взад-вперед по кабинету, суетливо поднял трубку. Больше говорили на том конце, а он только откашливался и твердил одно и то же: «Яволь, гут!» — да приглаживал рукой волосы. Он все еще не пришел в себя после двух последних беспокойных и коротких ночей...

Закончив разговор, Рауше сказал своему личному адъютанту, что завтра будут гости и нужно приготовить обед.

— На десять персон, — уточнил он. — Час? Айн момент, рассчитаю. Значит, осмотр Прудина и предварительное там краткое молитвенное собрание в шестнадцать ноль-ноль. Затем — дорога, беседа... плюс еще два часа. Итак, в шесть вечера, то есть в восемнадцать часов. Будут и дамы. Сладкие блюда обязательно! — Затем Рауше повернулся к Трубе и сказал: — На сегодня достаточно! Придешь завтра в двенадцать, подметешь двор, почистишь туалет. Если уйдешь куда, к шести вечера снова сюда! Будешь чистить обувь гостям!

Труба хмыкнул и спросил:

— А ежели не зможу? Маты занедужила...

— Никс «маты», — скумекал Фриц. — Быць тут!

Труба закивал головой и ушел.

...В тот день до позднего вечера Рауше гонял взад-вперед Долинич, который то уходил к себе домой, то снова возвращался со стопками, рюмками, вилками, тарелками. Пришла и его жена Меланья и две прислуги: Клава-светлая и Клава-черная. Они помогали повару-немцу чистить, парить, мыть, резать. Шла пока что подготовительная работа. Даже Люся по наказу Рауше принесла сюда четыре кринки молока, две кринки ряженки и две — свежей сметаны. О том, где сейчас ее Яков, уже никто не решался спрашивать даже друг у друга. Ибо последнее время Яков раздражался по каждому пустяку. Он даже старался вместе со всеми не садиться за стол обещать, а брал тарелку или стакан и пристраивался где-нибудь на табурете поодаль. «Не ел, а лизал», — так рассказывал о нем Долинич. Видно было, что он страдал. Только отчего и почему, никто не знал. А сам он не хотел открыться. И исчезновение его сейчас староста расценивал как счередной недуг, хмурь, каприз. Явно, он где-то все переживает в одиночестве.

А Рауше делал вид, что озабочен работой, и держался со всеми холодно и высокомерно. Со стороны казалось, что он кем-то из присутствующих обижен. Но разве посмеет кто-то у него спросить?

День прошел в хлопотах, и ночь пролетела незаметно, будто только отодвинулась.

Наутро Рауше оделся по-парадному и выбыл за гостями. К двум часам он привез их и оставил в Прудине на попечительство местных полицаев и двух рот сопровождавших солдат, а сам вернулся к себе, чтобы проследить за подготовкой к предстоящему торжеству.

Инцидент со Стецько не прошел бесследно. Волна злости и дело подкатывала к сердцу Рауше, когда он вспоминал, как этот мерзавец чуть не бросил в него свой крест.

Подъехав к дому и увидев Долиничей и Марфушкиных, Рауше подозрительно глянул на них — тоже небось мерзавцы! — и прошмыгнул к двери. Вслед кинулся Марфушкин: «Где же гости?» Рауше небрежно бросил: «Аллес гут», — остальное, мол, не ваше дело. И тут у самой двери встретили Рауше безжизненные, заплаканные глаза жены Стецько. Еще отчетливее вырисовывался образ священника, в памяти Рауше откликнулись его последние дерзкие слова. И, не желая ни сейчас, ни при гостях хотя бы косвенно возвращаться к случившемуся, Рауше зло выкрикнул:



— Все по домам! Прочее закончат без вас! Явитесь послезавтра за всем этим! — рывком ткнул он на громоздящуюся посуду.

— Ни-ни! — возразил староста. — Це мы вам! Без возврата. У нас ще е.

Марфушкин перевел слова старосты.

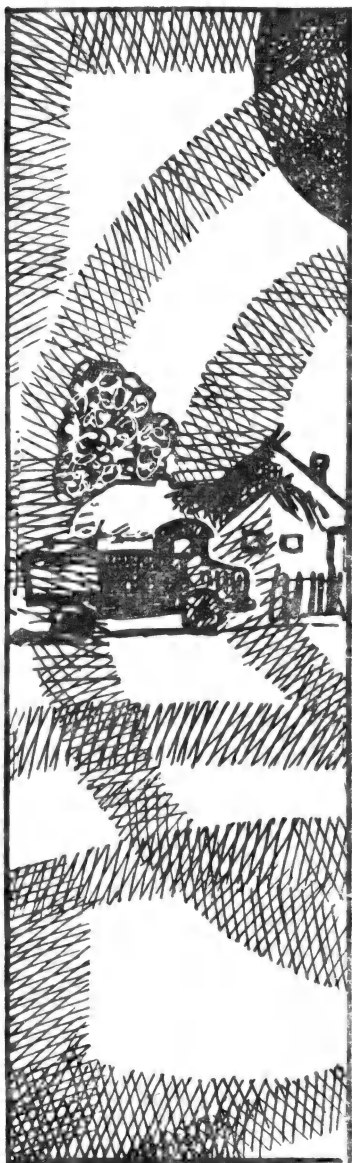
Рауше кивнул головой и не то что улыбнулся, а со злобой сжал уголки рта.

— Ауф видерзеен! — дружно и шумно ответили шефу помощники.

Труба вымыл нужник и уткнулся чистить сапоги, которые только что снял обергруппенфюрер и кинул их у порога. Вокруг Трубы летал мотылек. Труба нет-нет да залюбуется его сине-оранжевыми крылышками. Но вот ударил колокол прудинской церквушки, мотылек поднялся и исчез в небе. Труба невзначай посмотрел на карманные часы. Стрелка показывала ровно шестнадцать. Еще секунда, и он привстал, чтобы подать Рауше надраенные сапоги. И в тот момент случилось неожиданное: дрогнула земля, взрыв за взрывом, звон, треск, снова взрыв, снова звон... и снова дрогнула земля...

Все напряглись. Только Труба продолжал драить сапоги Рауше.

— Вас лёс? Что случилось? — обратился эсэсовец к солдату.





Не успел тот повесить на плечо автомат, как примчался запыхавшийся Марфушкин.

— Взорвали прудинскую церквушку! — с волнением оповестил он.

— Что-о? И вместе с ними, с гостями?.. — Рауше посмотрел на часы.

— А они там?! — Начальник полиции схватился за голову.

— Майн гот! Майн гот! Боже мой! Боже мой! Кто мог это сделать? Ведь никто же не знал о сегодняшнем там сборе в шестнадцать часов!

— Да, господин шеф. Ведь вы даже мне пока что об этом не говорили ни слова.

— О! Майн гот! Русским партизанам известно то, о чем еще только думают немецкие власти. Я был более чем осторожен!.. — сокрушался Рауше.

— Стецько, значит? — снова начал рассуждать Марфушкин. — А сам он где сейчас, там, в Прудине?

Рауше увильнул от прямого ответа.

Разводя руками, охая и ахая, вбежал в кабинет Долинич. Рауше даже не посмотрел в его сторону. Он приказал всем взять автоматы и двинуться в Прудину.

...Церквушка уже догорала. И ни одного целехонького трупа... Виновников, конечно, не нашли.

Долинич смущенно приблизился к Рауше, который что-то приказывал Марфушкину. Дрожащим голосом он сказал:

— Узнайте у господина Рауше, мой зятек, царство ему небесное, тоже тут?.. — показал он на кучу пепла.

Марфушкин перевел.

Оберштурмбаннфюрер поднял тяжелые веки и хмуро ответил:

— Хуже! Он изменил нашим властям, отказался служить в этой церкви, и я приказал два дня тому назад расстрелять его. Если он вам еще нужен, я верну его тело. А с вами сделаю то же самое, что и с ним.

— Ни-ни-ни, — заюлил Долинич. — Люди подтвердят, — показал он на Марфушкина, — Стецько был в нашем доме як чужак. Он совсем нам не ко двору!

— Ну, а Люсе-то... надо бы с ним проститься... — намекнул Марфушкин.

— Да на лиху годину он Люське. С глаз долой — из сердца вон!

Голос Долинича снова окреп.

### ДВА КЛЕНА

Анна Евсеевна проснулась, как всегда, на заре. Натянула на себя свой обычный наряд — кофту с юбкой и фартук. Подошла к столу, зажгла восковую свечу — керосина для ламп достать было невозможно — и, пристально вглядываясь в полузаросшую тропинку, вьющуюся промеж шелюговых аллей, задумалась о том, что уже две недели не приходит ее «чоловик» до дому: то ли грыжа вышла опять, то ли «натворив шось» — теперь же он на виду у всех.

Последнюю свою мысль Анна Евсеевна связывала с новой работой Павла Ильича. Ровно полмесяца он уже трудился на перевалочной базе сторожем. С тех пор как повздорил с Данилой из-за того, что тот целыми днями занимает ветряк (готовит фураж для немецкого скота, а народ снова без муки), оставаться на ферме было опасно. Завфермой, пользуясь своей властью, принялся контролировать работу Крепина, а то и загружать его на всю ночь делами: то навоз от коровников убрать, то желоба надстраивать приказывал, то в телятнике загородки-де ремонтировать пора. И хотя Крепин был человек мастеровитый, но и он не осиливал наказания Данилы. А тот требовал, настаивал. Дескать, война, нехватка рабочей силы, поэтому-то и обязанности сейчас, мол, у каждого другие. С трудом, но удалось отделаться от Данилы.

На базе Крепину было сподручнее, так как размещалась она на берегу Днепра, в трех километрах от Агатова. Только вот физическая нагрузка оказалась непомерной. Анна Евсеевна и четвероногий друг Амур подменить его не могли. Расстояние неблизкое. Туда и обратно по восемь километров. Пришлось Павлу Ильичу самому тянуть службу. Для отдыха времени совсем не оставалось. Домой заявлялся только раза два в месяц, чтобы переодеться.

Одиночество Анне Евсеевне прибавило беспокойств. Если до этого тревожилась она только о детях, то сейчас и седьмой явор высадила на счастье и долю своего «чоловика»...

Сколько радостей доставляли ей каждое утро ее яворы! Поэтому-то и просыпалась она на заре, чтобы подойти к ним, поклониться, как живым детям... И ей казалось, что ласкает она не яворенок, а Андруся или Лешу, наистаршую дочь или наименьшую, Оксану... Тут она стояла по часу и плакала...

Легко подув на узкую полоску огня, медленно укорачивающую свечу, Евсеевна вышла на улицу. Луна еще не убралась и, как подсолнух, прилипла где-то там, над Днепровогорском.

Анна Евсеевна оглянулась по сторонам. Неожиданно на нее нашел страх. Рядок высаженных ею яворков-предсказателей поредел. Вместо семи стояло пять. А два: Павла Ильича и Оксанки — лежали с корнями на земле. Старуха оторопела. В лунке, где рос Оксанин явор, Анна Евсеевна заметила свернувшийся белый комочек. Подалась вперед... Комочек шевельнулся, вытянулся и поскребся в сырой ямке. Головастый, с торчащим вверх хвостиком, услышав приближающиеся шаги, он поднял на хозяйку тупые глаза и сунул в землю рыльце.

Анна Евсеевна встрепенулась от неожиданности, а потом и не учуяла, как ноги приблизили ее к комочку. Выражение лица ее хоть и было страдальческое, но немилосердное. Положив ладони под грязное брюшко «сосунка», как она называла поросенка, Анна Евсеевна подняла его с земли и усадила себе между коленей. Затем принялась, как ребенка, драть за уши. А потом понесла сосунка к тем лункам, где росли два выкорчеванных им яворка, и поочередно, то в одну, то в другую ткнула рыльцем.

Сосунок норовил укусить хозяйку. Но зубов у него не было, и он только слюнявил ее руки...

Евсеевна отчаянно-пронзительно приговаривала: «Сатаненок, будешь знать, як рыло свое куды не следует совать...» А сосунок хлюпал жалобно, то коротко, то длинно, будто кашлял и давился от слов: «Не буду, ей-ей, не буду...» А потом поднапрягся и рванулся вперед, в сторону своего загончика. Но хозяйка цепко держала его.

— Лучшее наказание ему — сковородка! — громко рассмеявшись, из-за ее плеч сказал неожиданно Павел Ильич. Он стоял здесь уже около четверти часа, наблюдая за женой. — А знаешь шо, стара, — продолжил Павел Ильич, — сосунок умнее тебя. Хочешь — докажу?! — В его голосе звучали и ирония, и чувство жалости, и любви, и грусти...

Он подошел к обеим лункам, где похозяйничал сосунок. Постав, подумал и присел у той, где рос Оксанин явор. Земля здесь была серовато-пегая. А около других чернозем как чернозем.

Павел Ильич присел на корточки, взял в ладонь землю, помял, понюхал.

— Э-э-э! Почему это от нее дрожжами несет и еще кислым молоком? — обратился Крепин к жене.

Та тихо и незаметно опустила сосунка на землю. Молчала, глядя куда-то вбок.

Сосунок поначалу присел, затем привстал и лениво снова пошкандыбал к той же лунке, в которую только что хозяйка тыкала его рыльцем... И глубоко, до самых глаз, будто в отместку ей, сунулся в землю...

Павел Ильич голосисто рассмеялся и почесал сосунка по брюшку. Потом поднял на жену глаза.

Та поняла, что деваться некуда, и призналась, что люди ее научили поливать деревца, чтобы поскорее привились, дрожжевой водой. А кислым молоком — это уж она полила на свой риск только Оксанкин явор и его. Всего несколько раз, ибо показалось ей, что уж больно долго после августовской жары листочки у них оставались завяленные. И, посмотрев в упор на мужа, как тот ехидно улыбался, тут же выпалила:

— И чего скыришься? Дивись, как выходила. Кабы не тот паразитенок... — с ненавистью она показала на сосунка.

— Да он молодчина. Ценъ ему нет. Разоблачил тебя наконец! А то сохнешь у этих деревцев... всякой чепухой их заливаешь, вот и не прививаются как следует. Яворы — это те же клены, а они до облаков без всяких удобрений вытягиваются. Вздумала лить молоко... Еще борщ подавай, вали и кашу, и щи, и картошку... По-твоему, это питание для деревьев?! А лучше бы молоко это да сосунку в казанок. Вот и правильно он сделал. Молодчина! Перепрыгнул загородку и по нюху — прямо на свалку! А как иначе назовешь это? — показал он на обе ямки. — Бабы, бабы. Волос длинный — ум короткий... Хорош, паренек, хорош! — погладил он снова сосунка по животу.

Евсеевна виновато поплелась к хате, приговаривая:

— ...Так я же времечко от времечка только вспрыскивала их жиденькими удобрениями...

Павел Ильич выкопал неподалеку новые лунки, принес чернозему и снова посадил деревья. Затем полил их водой и распорядился:

— Теперь не запирай сосунка в хлев! Мы будем вместе с ним выгонять из тебя суеверие. Меня-то ты еще можешь обмануть, а уж он-то уследит за тобой... Пришла бы скорее зима...

Анна Евсеевна молчала.

А зиму Павел Ильич ждал потому, что как-то случалось, что в первые холодные ночи все яворы Анны Евсеевны обрастают инеем. Пышные, мохнатые, они даже казались выше. А при

луне горели бело-розовым светом, словно хрустальные. И все одинаковые — Анна Евсеевна не могла отвести глаз. В такие дни она только любовалась на свои деревья, которые, как верила она, отражали судьбу ее детей. Зимой Анна Евсеевна успокаивалась. А приходила весна, и снова печалилась старая женщина, глядя на какой-нибудь яворенок, что в чем-то уступал другим.

Закончив с саженцами, Павел Ильич принялся в кадушке мыть сосунка. Он приговаривал, что хозяйка невежа и что драть ушки надо было ей, а не ему. А посему как бы в знак извинения весь утренний надой молока достанется ему, сосунку. Анна Евсеевна не очень мирно соглашалась с таким заявлением. Но так как все тревоги за мужа остались позади — он наконец явился здоровый и бодрый, — то мало-помалу начала уступать, а потом и совсем по-доброму улыбнулась.

Павел Ильич ответил ей тем же. Затем сочувственно, как ребенку, глянул ей в глаза. Положив на ее плечи свои тяжелые руки, сказал, как бывало давным-давно, в молодости:

— Здравствуй, подружка! Я и забыл сегодня с тобой поздороваться, а сразу начал поругиваться. Прости меня... — Он помолчал и о чем-то подумал. Затем продолжил: —







Знаю, обидно тебе. Вскормила шестерых, а в трудный час с тобой ни одного. А тут еще и у меня всяких дел уйма. Ну, не тревожись уж сильно. Кончится же когда-нибудь эта проклятая война. И вернутся наши детки. Вот и заживем, как жили.

Анна Евсеевна припала на грудь мужа.

— А вернутся?

— Ну, ну. Успокойся. А то сами-то мы не дождемся их, ежели будем так убиваться. Я поэтому-то и поругиваю тебя, чтобы хоть временами ты забывала обо всем.

Павел Ильич похлопал жену по плечу и поцеловал в лоб.

Такого уже давно между ними не бывало, и Анна Евсеевна вострепнулась от неожиданности.

— Ты якусь биду чуешь. Ий-богу!

Павел Ильич ухмыльнулся.

— Нет, стара, биды пока не видать. Но странное состояние у меня порой бывает. Понимаешь? Вот шел сейчас, и уже на подходе к дому мне чего-то детство припомнилось, потом любовь наша с тобой, потом, как отвоевывалась Советская власть, потом, как рождались детки наши один за другим, потом, как война отняла их у нас... А под конец идея шибанула: давай, старуха, попросим наших деток, чтобы никогда нас с тобой не разлучали.

Павел Ильич подошел к лежанке и, придерживая живот, не забывая о своей грыже, осторожно лег.

Помолчав немного, продолжил:

— Прожили мы с тобой всю жизнь мирно, хорошо, так пускай нас и никогда не разлучают. Рядом похоронят... Ясное дело, всему будет конец. Мы, мужики, мрем раньше, вот почему я говорю тебе сейчас, чтоб не забыть...

Анна Евсеевна аж подалась назад от таких слов.

— Оце так «гидея». — Никак верно она не могла произнести это слово, да и не знала, что оно значило, только немного догадывалась. — Рано еще балакать про смерть.

— А она, друг мой, приходит не по расписанию, как поезд. А коли вздумается ей. Может, сегодня, может, завтра, а может, и через десяток лет. Но не помешает же помнить об этом.

— Так коли придет время, — ухватилась Анна Евсеевна за последнюю фразу: «десяток лет», — и будем ломать голову. А теперь засни, и хай смерть забудется...

Павел Ильич смиренно замолчал и глубоко выдохнул.

Анна Евсеевна хлопотала по дому, готовила обед и мысленно перебирала в памяти всю прожитую их совместную жизнь.

Как помнится ей, была она трудной. Голод, нехватки. Но всегда, как женщина, она чувствовала между собой и мужем неистаивающую ни с годами, ни со временем любовь. И перепалки разного рода, и мелкие ссоры, и ссоры до хрипоты никогда не омрачали и не убивали у них это великое и придававшее им силы чувство. А еще Анна Евсеевна отметила про себя, что за последний военный год тяга у нее к Павлу Ильичу была такая же, как и в молодости. Да оно и понятно. Жили они врозь, а привязанность измеряется разлукой.

Сосунок искал себе пристанища в углу под лежанкой. Он не очень любил свет. Не один раз спал он на лежанке, приткнувшись к спине Анны Евсеевны. И сейчас по табуретке он смело взобрался на припечек и с ходу уткнулся рыльцем под мышку Павла Ильича. Тот ухмыльнулся и, не раскрывая глаз, отодвинул руку в сторону, чтобы его «дружку» лежалось поудобнее.

Анна Евсеевна уловила это и тревожно спросила:

— Ты шо, не спишь? Про смерть помышляешь?

Павел Ильич ухмыльнулся.

— Угадала. Про смерть. Только на сей раз не про свою...

Анна Евсеевна почуяла в словах мужа шутку и понеслась на баштан за кавуном. А Павел Ильич снова и снова перебирал в памяти события последних дней.

После сообщения Юрия Лукьянцева о предстоящей в Прудине трагедии партизаны разработали план действий. Сначала прудчане получают повестки, что являются на молебен в прудинскую церквушку не следует: в пути их ждет смерть. Тем временем Лукьянцев будет вести наблюдение за Прудином и доложит, где расположится «резиденция» патриарха. А потом совершит покушение. План этот одобрили и утвердили Гаврилюк и Медеренко.

...И вот прудинская церквушка уже взорвана вместе с новым священником, сворой гитлеровцев и самим патриархом... Взорвана тотчас по их прибытии. Но случилось все по-иному, куда серьезнее и куда безопаснее, нежели задумали партизаны. Значит, действовала еще какая-то группа, кроме медеринцев. Кто же эти люди?

Ответа никто не мог дать. Ясно было только одно: что положение у них было намного выгоднее, чем у партизан. Ведь диверсия задумана точно и совершена без всяких потерь для самих подпольщиков.

Медеринцам хотелось знать своих товарищей по оружию. У Климана возникло в памяти несколько своеобразное поведение

Трубы и явно выражающаяся его симпатия к Павлу Ильичу. Ну хотя бы случай с инструкцией, а впрочем, ему нужен был самосад. Ну, а письмо Рауше, принесенное им для перевода Оксане, в конце концов сообщение об аресте Оксаны и предупреждение Крепина о скорой облаве. Что бы это значило? Двуручничество?.. Или суть в самосаде?

Подумав, Медеренко все же решил, что Труба — фашистский наймит, а симпатия его к Павлу Ильичу не что иное, как ловушка, и поэтому он изо всех сил старается войти в доверие.

Разные ходили кривотолки по селу. Больше всего судачили о Стецько. О том, что его расстреляли в конюшне, вскоре стало известно всем вишневечанам. А коль так, мол, это дело его рук. Поэтому-то он и отказался вести службу тогда в церквушке, чтобы не погибнуть самому. Такое мнение утвердилось и у Долинича, и у Марфушкина, и у полицейав.

Только трое: Клим, Незвестный и Рауше думали иначе. Первые два безапелляционно заявляли, что Стецько не способен на патриотизм. А Рауше знал, что Стецько умер, даже не узнав точный час прибытия патриарха в Прудино! Более того, сам Рауше был извещен о дне и часе первого богослужения нового священника в последние минуты.

Тикание больших карманных золотых часов последние три дня раздражало Рауше. Ему чудилось, что это звон колоколов. Должен же он стихнуть наконец. Но тикание не прекращалось. И тогда Фрицу чудилось, вроде это царапание звериной лапы по его голове... Царапание такое, что он хватался за браунинг и тут сознавал, что никакого зверя нет и что просто-напросто часы надо заставить замолчать. И тогда Фриц нес их к шкафу, клал в шкатулку, задвигал ее в дальний угол. Только к полудню он снова собирался с мыслями и призывал к себе Марфушкина, Долинича, а затем поочередно других полицейав для продолжавшегося уже несколько дней допроса о случившейся трагедии в прудинской церквушке.

Первые два дня после диверсии Рауше был точно парализован. Приказывал никого, за исключением высоких чинов из области, в его кабинет не впускать. А сам перекладывал с места на место бумаги, ходил по кабинету, курил подолгу и пристально всматривался в сигару, которую держал в руке, будто изучал ее. Курил, думал, перебирал в памяти всех и всяк: людей, которые не совсем внушали ему доверие, обстановку до взрыва и в момент взрыва, рисовал в своем воображении, как все на-

чалось и как внезапно кончилось. Нельзя сказать, чтобы Фриц был человек неглубокого ума. Нет, нет. Он умел обдумывать все тщательно, подробно, проницательно.

Вот и сейчас, передумав все, он снова и снова возвращался к мысли о Трубе. Этот «троттель» не только раздражал его до крайностей в последние дни, но и наводил на сомнение. Не подставное ли он лицо? Рауше вспоминал, не в его ли присутствии он говорил о времени готовившейся операции.

Адъютант вошел, как всегда, неожиданно. Молча подал Рауше папку с бумагами, которую доставил сюда переводчик Марфушкин, с подробнейшими характеристиками на весь наемный состав полицейских и торопливо скрылся за дверью.

Марфушкин пока что оставался в приемной.

Несмотря на то, что самым приближенным лицом к Рауше из числа наемников был он, Марфушкин, но и его после взрыва в Прудине не всегда желал видеть оберштурмбаннфюрер.

Рауше внимательно вчитывался в «сочинение» бывшего учителя немецкого языка. Папка была толстая, и Марфушкину не единожды пришлось присаживаться, прохаживаться, переминаться, пока от обергруппенфюрера последовала команда:

— Начальника полиции сюда! — Рауше был убежден, что тот ждет за дверью его вызова.

Торопливо поправляя пиджак, плечистый Марфушкин, не дыша, влетел в кабинет. Пожелтевшие за последние дни глазные яблоки Рауше застыли на пуговицах Марфушкина.

— Вы отвечаете и головой и сердцем за все здесь написанное? — спросил он обыкновенным ровным голосом, хотя в его тоне звучала угроза.

Марфушкин почти обессиленно ответил:

— Да.

— Значит, «троттель» и все остальные, по-вашему, верные люди немецким властям?

Рауше положил свой большой тяжелый кулак на раскрытую папку, затем, сузив глаза в щелочки, выпалил:

— А я думаю обратное — все неверные, а «троттель» особенно!

У Марфушкина глаза превратились в черточки. Он глубоко выдохнул, и его выпуклая, мощная грудь чуть подалась вперед. Губы Марфушкина тронула откровенная усмешка. С тоской он подумал: «Если не сейчас, то в будущем поплачусь за это», — и, приняв строгое выражение лица, сказал:

— Ручаться за всех трудно, но думать так имею основание.

— Основание? Так поделитесь им со мной!

— Труба только чистил сапоги, — начал Марфушкин, — да изредка убирался в вашем кабинете. И ни к каким другим делам допущен не был. Язык ваш он совсем не знает, более того, туго соображает. А посему и своим родным украинским плохо владеет. Малограмотен. Три класса образования. Кто рискует с ним дело иметь? Да и что он мог знать о прибытии патриарха, коль об этом ничего не знал я? Вы в первую очередь обо всем советуетесь со мной, господин...

Рауше уперся локтями в стол, поднялся и прошелся по кабинету.

Тихо и раздумчиво сказал:

— «Троттель» подслушал разговор и сделал намек партизанам, а те...

Марфушкин не стал брать на себя ответственность до конца перечить шефу и только двинул плечами.

Решительным и крепким шагом тотчас в кабинет Рауше вошел адъютант. Подал оберштурмбанифюлеру конверт. Тот мигом разорвал его и, бегло пробежав глазами по бумаге, растерянно сказал:

— Вызывает начальство! Я приказывал вам найти партизан! А вы что делаете? Искать! — взревел Рауше, прижав к поясице руки с выставленными вперед кулаками. — Искать! Или в затылок пуля! — Больше не было времени у Рауше ни для вспышек, ни для ярости. Он устало и безразлично потянулся к портфелю и вышел из кабинета. За ним поплелся Марфушкин. Живо сев в машину, Рауше скомандовал шоферу:

— Лёс! Вперед!

В Петровске они были уже после полудня. Осенний дождик прокатился тут волной час назад, и в воздухе отдавало влагой. Где-то, скатываясь по водосточной трубе, звенела капель.

У центрального управления СС, что разместилось на проспекте, в бывшем горном институте, толпились немецкие офицеры. Фриц Рауше, козырнув, поднялся по ступенькам и скрылся за широкими голубыми дверями.

...Обергруппенфюрер Килка, беспокойный и суетливый человек, то чуть ли не каждый день созывал к себе из всех районов своих подчиненных, то подолгу не имел желания никого видеть. На сей раз в приемной обера было гулко от множества голосов. Рауше был приглашен в кабинет тотчас же. Кроме Килки, там было два неизвестных Фрицу Рауше высоких чина.

Килка сидел с каменным лицом. Зелеными глазами оглядел Рауше сверху донизу.

У Рауше ноги прикипели к полу. Но, стараясь делать вид, что настроение начальства его не касается, вытянулся и отпортовал о своем прибытии.

Килка не стал высказывать свои предположения, изливать сочувствие к погибшим в Прудине, не проявлял излишнюю категоричность, а насмешливо, с презрительной искоркой в глазах отрубил:

— Надеюсь, вы уже располагаете подробным докладом о диверсии в Прудине?

Рауше замялся.

— Нет, не располагаю. Я ведь не присутствовал там, господин обергруппенфюрер. Иначе бы меня тоже не было тут...

— Неизвестно, что лучше! — отчеканил Килка.

Ситуация для Рауше была жестокая. Но он каким-то спокойным, совсем неофициальным голосом продолжил:

— Делаю все, чтобы преступники жестоко поплатились!

— Именно? — не понял Килка. — Знаете, кто совершил диверсию?

— Да.

— Ну и что же вы нянчитесь?

— Партизаны будут пойманы в ближайшее время, а мой чистильщик «блодер хунд», имевший с ними связь, будет доставлен сюда для допроса и казни, когда вы прикажете!

— Оберштурмбаннфюрер! — неистово выпалил Килка. — Ваш «блодер хунд» пускай остается с вами, а мне нужны большевики, диверсанты! Или имеете дело только с обезьянами и сумасшедшими?! — насмешливо намекнул Килка.

Лицо Рауше побавровело. Но он не успел ничего сказать. Килка взял со стола лист бумаги и рывком ткнул его Рауше.

— Читайте! Подпишите!

Рауше быстро водил головой туда-сюда. Он не читал, а глотал слова, строки, абзацы и, наконец, весь приказ. В нем говорилось, что оберштурмбаннфюрер Рауше отныне понижается в звании и лишается отпуска. Теперь он просто штурмбаннфюрер СС. «Обера» его лишили...

Рауше расписался и, пятясь, подался назад. У него побелели даже ногти...

— Идите! — скомандовал Килка. — И сумасшедшими советую не увлекаться! Наши враги куда умнее и сильнее!

### СНОВА НАДЕЖДА

Вот уже больше года прошло, а Василий ни на миг не забывал Оксану. Помнил, идя в бой, и когда мстил за нее врагу на поле боя, и когда прекращался бой и наступало время передышки. Теперь по-разному он представлял себе Оксану: то грустной и подавленной, то говорливой и нежной, озорной и радостной. С умилением вспоминал он, как Оксана мечтала стать поскорее взрослой, как лицо ее суровело от недовольства, когда кто-то по ошибке называл ее «девочкой»...

Дивизия Гончарова теперь дислоцировалась под Сталинградом. Коралов за это время вырос до капитана и командовал вместо Архипова вновь сформированным батальоном. И у Гончарова были перемены: он получил генеральскую должность, хотя звание носил пока все то же и командовал корпусом. Но когда бы ни сводила их судьба с Василием, Гончаров первый напоминал: «Оксанку не забыл? Не погубили бы ее фашистские изверги...»

После этих слов у Коралова беспокойно колотилось сердце и одолевало какое-то тревожное предчувствие. И тут он мысленно не прощал себе, что оставил ее у оккупантов. Надо было настоять перед родителями, чтобы эвакуировалась она на Урал к его тете. А по мере приближения фронта он их всех вместе переправил бы дальше, в Сибирь.

В жизни всегда так бывает: раскисают люди тогда, когда беда уже пришла и когда случилось непоправимое. Тут-то и хватается каждый хоть за малую надежду, даже и тогда, когда осознает, что она хрупкая, как в весеннее половодье лед. Вот услышал во сне Коралов голос Оксаны, будто она позвала его к себе и снова они вместе прогуливались на лошадях, и от души как бы отлегло. «Сон на среду сбудется», — тешил он себя. Василий не стерпел и поделился радостью с Гончаровым. И тот ему ответил тем же: «Полагаю, сбудется. Вот скоро погоним Гитлера обратно и первым делом навестим Крепиных. Так тому и быть: чтоб случилось так, как приснилось, выключу тебе на несколько дней отпуск».

...А у Оксаны дела складывались совсем не так, чтобы сбыться мечтам Коралова. Месяц она работала в штрафной бригаде, не выходя из лагеря, на разгрузке камня.

Письма, которые поступили в это время на ее имя, не

сразу вручались ей, а находились на хранении у переводчицы Польки. Да и не только на хранении. Та была еще и лагерным цензором. Оксана сама в этом убедилась, когда раскрывала свои конверты. Каждая строка в них была помечена галочкой, а над многими словами повисали зеленые точки. Что все это значило, никто не знал, но Оксана насторожилась. Домой написала коротко: «Жива, работаю. Как вы?» Написала еще, что сдружилась с Валей Орленко и еще с Женей, поступившим недавно в мужской лагерь. С ними ей интересно, как-то и горе понемногу начало забываться. Они заботятся о ней, жалеют. Только вот Марьяна Прочко поступает со многими по-предательски, в том числе и с ней.

Как только вечерело и цепи Карпат сливались в непроглядную синь, конвоиры сгоняли все бригады с участков в лагерь. После ужина, в оставшийся до отбоя час, Валя и Оксана спешили в известное только им место, где не мог их рассмотреть патрульный с вышки, и через проволоку, разделявшую мужской и женский лагерь, кидали истощенным товарищам собранные пайки хлеба. А те делили их между своими друзьями.

Положение в женском лагере и в мужском было разное. Женщины, пригнанные сюда из России на работу, хоть и охранялись как заключенные, но считались «восточными рабочими». Хозяин, на которого они работали, платил им за труд пять марок в месяц. На них они могли подкупить себе хоть что-нибудь из мелочей. Мужчинам не платили и этого. Все они считались военнопленными. Их завезли сюда из разных тюрем как будто только на время строительства ЛП. Поговаривали, якобы хозяин завода, крупный фабрикант, не хотел даже строить на своей территории мужской лагерь. Для военнопленных требуется усиленный конвой и obsлуга, а смертность среди них вдвое больше, чем среди женщин.

Женя заметно осунулся, похудел. На висках из-под полосатой бескозырки все гуще щетинилась седина. Однако по сравнению с другими узниками Женя отличался какой-то верой в свои силы. Даже те товарищи, которые подружились с ним, несколько приободрились. По вечерам Женя редко спешил к себе на нары. Он шел в другие блоки, чтобы подбодрить тех, у кого не оставалось духовных сил. Приперченная шутка, рассказ, в конце концов собственная фантазия для таких случаев у него тут как тут.

Приспособился Женя писать записки Оксане и Вале, больше, правда, Оксане. Завернув в записку камешек, кидал через проволоку. Он интересовался всеми житейскими вопросами,



будто собирался вот-вот встретиться с девушками на воле, будто от того, как они ответят, что-то решится.

Оксане нравилось опекунов над ней Вали и Жени. Внимание Вали чем-то напоминало ей родительскую заботу, а заботы Жени — брата Андруса и Василия Коралова.

Днем видется им почти не доводилось. Случалось, что чаще они работали на разных участках с утра до ночи. Труд этот для Оксаны поистине был каторгой. Из-за ее цветущего лица бригадиры часто посылали ее на самую тяжелую работу: выкапывать из подземелья бочки с какой-то жидкостью или складывать в штабеля сброшенные с машины бревна. Боясь наказания, девушка терпеливо все сносила. Под вечер она уже едва передвигалась.

И все же здоровье у Оксаны было отменное. Отдохнув после ужина не более получаса, она уже была на ногах... Если не ходила на встречу с Женей, спешила к Валиной койке.

Валя, любовно прижав ее к своей груди, говорила:

— Устала, девочка?..

Оксана, хмурясь, говорила:

— А я уже не девочка...

Валя веселела:

— Ох, Оксана Павловна...

Но той такое величание и вовсе было не по душе, и она смущенно по-детски возражала:

— Не-е-е... и так не надо... Просто Оксана...

А Валя, как назло, продолжала:

— Хоть круть-верть, хоть верть-круть, по сравнению с нами ты все-таки еще девочка. Я спрашиваю, устала?

— Угу, — признавалась Оксана.

Однажды Валя дала ей немецкую газету:

— Прочти и переведи нам. Интересно, что эти... — Валя увидела приближающуюся Марьяну и не решилась до конца высказать свою мысль: — сами про себя пишут...

Оксана забралась в самый угол на верхнюю полку нар. Одна за другой потянулись к ней женщины. Оксана развернула газету и, увидев на первой полосе крупные жирные строки, нахмурилась. Заметно было, что не решалась произнести то, что прочитала. Но Валя торопила ее:

— Смелее, смелее...

Оксана решительно произнесла: «Вся русская пехота перешла на сторону немецкой армии». Далее она начала еще что-то говорить, но в углу на противоположных нарах послышалось всхлипывание. Наконец пожилая женщина не стерпела:

— Врут, поганцы! Мои сыновья все пехотинцы и никогда не изменят Родине! Не изменят и другие!

Неизвестно каким образом тотчас в бараке очутилась переводчица Польшка, а вместе с ней и два патрульных. Кто-то шепнул Вале, что Марьяна успела «сексотничать» — донести на Оксану, будто она в бараке вслух переводит советские листовки. И вот теперь переводчица ворвалась, чтобы схватить заключенную с полицином.

Увидев в углу группу женщин, окруживших Оксану, Польшка поспешила прямо к ним. Оксана сама подала ей газету «Новости с фронта». И тут же добавила:

— Это нам на участке оставил вольнонаемный бригадир. Он сказал, что такие газеты всем разрешается читать.

— Бригадир не знает наши лагерные законы. Вам ничего читать не разрешается! — выкрикнула переводчица, глядя в сторону все еще всхлипывающей женщины. — А запрещается потому, чтобы не было вот таких поклепов на немецкие власти, какие я слышала только что здесь сама. А ну-ка за мной! — приказала Польшка старой женщине. — Мы не знали, что вы мать красноармейцев... И ты, Крепина, пойдешь со мной! Впрочем, не нужно. Нам требуется рабочая сила. Будешь работать бесценно: днем грузить кирпич, а на ночь тебя конвой проводит на другую работу.

— Я ничего особенного не сделала... — попыталась оправдаться девушка.

— Молчать! Будет, как сказано. Или лучше бункер?..

Оксана ответила:

— Как считаете нужным!..

— Так вот, я сочла нужным получать от тебя максимальную пользу. Отсыпаться в бункере еще молода!.. Утром бригадиры получат мое распоряжение.

Переводчица круто повернулась и понеслась к выходу.

Оксана разрыдалась:

— Я ведь не думала, не думала, что так получится, — приговаривала она, уткнувшись Вале в колени. А та гладила ее по голове и вполголоса шептала:

— Больше я виновата, что попросила тебя перевести газету.

— Ни! — выкрикнула Нина Склярская. — Вы обе не виноваты. Виноваты доносчики, шо сказали той немецкой шлюхе Польке.

Где-то в углу началась перебранка, выкрики в адрес Марьяны. Но ее поблизости не было.

А Оксана все не успокаивалась. Захотелось ей отчитаться

перед Женей, как, бывало, когда-то перед Андрусем. Она схватила клочок бумаги и стала писать записку. «Я снова штрафница и не увижусь с вами несколько суток, — писала девушка. — Днем буду выгружать кирпичи, а по ночам что-то еще делать на заводе. Так сказала переводчица. Наверное, на Семнадцатый. А куда же меня еще пошлют, если не туда, где очень плохо. На Семнадцатом одни немцы и очень бьют наших. Кого из лагеря туда посылали на подсобную ночную работу, кончалось плохо. Одну застрелили прямо в конторе... другую отправили в тюрьму, а третья неизвестно где. Что ждет меня? Не знаю...»

По договоренности с Женей подписи под такими записками никто не ставил. Он и так распознавал почерки Вали и Оксаны. Да и по содержанию легко определял, когда писала Оксана. Тоска по дому и родителям, нужда в ласке, советах и наставлениях то и дело проскальзывали в ее письмах. Но и другое Евгений распознал за это время в этой девушке: смелость и боевую хватку. А еще твердость характера.

Женя не спал, когда подал ему сосед по нарам записку от Оксаны. Он развернул ее и принялся читать. Размеры записки обеспокоили его. Да и написана она была как-то особенно трогательно. Женя торопливо глотал строку за строкой... И вот в начале письма, не веря своим глазам, он увидел знакомый ему индекс 17. «Значит, приближаемся... — подумал Женя и легко засмеялся. — Вот уж не предполагал, что путь к Семнадцатому лежит через тюрьмы и лагеря». У него вновь появилась надежда. Он вспомнил Высоцкого, Карапузо, Юзефа, Куба... Всех, кто поверил в него, доверил ему и перед кем он пока не оправдал это доверие...

Евгений готов был расцеловать эту девушку за те строки, что она написала ему в конце письма. А еще где-то ловил он себя на мысли, что Оксана очень нравится ему и что она помогла ему жить здесь.

Размышлял Женя о многом, а затем быстро и размашисто, на сей раз почти совсем изменив свой почерк (на всякий случай), начал отвечать Оксанке.

Ее поступок он не осудил. «Чтение немецкой газеты, — писал он, — вовсе не преступление... А переводчицу Польку я уже хорошо изучил. Просто она обрадовалась поводу показать свою власть». Даже их, военнопленных, не наказывают за чтение немецких газет. Судьбой матери красноармейцев Женя был очень обеспокоен и просил Оксану сказать Вале, что надо организовать ей помощь. И только в конце записки Женя не

умолчал и о ее штрафной работе: просил бодриться и не забывать о нем. Днем ведь она будет встречаться с Валею и пускай через нее придет свое послание: расскажет, где и как будет работать.

Закончив писать, Женя вышел из барака и в темноте по ту сторону проволоки сразу разглядел Валею. Женя ловко перебрался ей письмо. Та удачно подхватила и поблагодарила.

— Почему Оксанка сама не подошла? — беспокоился Женя.

— Туфли свои ремонтирует. Где-то проволоку нашла, подметку прикручивает. Обувь носим ту, что еще из дому привезли. Говорят — сами покупайте. А мы хлеб подкупаем.

Женя попросил перебросить Оксанкину туфельку, и он пытается что-нибудь сделать. Но грянул протяжный лагерный звон, известивший об отбое. Вокруг зашныряли дежурные, надо было расставаться.

Когда Валя вошла в барак, Оксана сидела на деревянной лавке близ грубо вытесанного стола, вкопанного в землю на четырех подпорах. Пола в бараке не было, а была плотно утрамбованная катками земля. Нина держала Оксанкину ногу у себя на коленях и старательно орудовала проволокой. Вскоре «ремонт» окончился, и Оксанка, подхватившись со скамьи, так и подпрыгнула. Она радостно вышагивала вокруг стола. Подметка ее больше не хлопала по земле, а плотно прижалась к ноге.

Валя вручила Оксанке письмо от Жени, и та еще больше повеселела. А тут и мать красноармейцев вернулась в барак. Комendant лагеря сегодня был в хорошем настроении и только приказал переводчице записать ее в «особый список». Он твердо верил, что «Новости с фронта» слова на ветер не пускают и что ее сыновья теперь непременно громят уже большевиков. Времена, мол, меняют людей и их убеждения... Под конец он сказал, что еще успеет отправить ее туда, «где давно ей следовало быть». Женщина, рассказав все это, с трудом взобралась на нары.

Вошла в барак и Марьяна. Валя, заметив на ее ногах новые теплые шерстяные чулки, так и ахнула:

— Да для тебя, Марьянка, тут краше дома родного. То, чего никогда не имела, у тебя тут есть!

Марьяна молчала. Кто-то выкрикнул:

— Эта ваша вишневская подколодная змея сегодня весь вечер подслухами в пятом бараке занималась. Сейчас двух оттуда увели в бункер!

— Это правда? — подошли вплотную Валя и Оксана. Спрашивала меньшая.

— А твое какое дело, соплячка? Иди отсюда, а то в свою румяную рожицу оплеуху получишь...

Марьяна не успела зысказаться до конца, как Валя изо всей силы огрела ее ладонью по лицу, второй по затылку. Та в ответ накинулась на Валью. Тут вмешалась Оксана. Потянулись от ближних нар и другие женщины. Шум, гам выхлестывались эхом на улицу, и у сторожевых вышек завывли овчарки. Где-то отозвалась автоматная очередь.

Кто-то прикрыл дверь, чтобы шум не донесся до конторы.

— Ты была сегодня в пятом блоке? — снова требовательно спросила Валя.

— Я даже не знаю, где этот блок, — огрызнулась Марьяна.

— А откуда эти чулки? Точно такие у переводчицы Польки.

— Да возьмите вы эти чулки. Пускай она их носит, — ткнула Марьяна неожиданно в сторону Оксаны.

Все опешили.

— А-а-а, чье кошка, чье сало съела, — выпалила Валя. — Оксана, носи. Эти чулки она получила за тебя! Так вот шиш ей за эту грязную работу. А ты штрафница по ее вине, так хоть в тепле будешь. — Она помолчала и с грустью продолжила: — И мерзкая же ты, Марьянка! Ошибка наша, что принимали мы тебя в комсомол!

— А чего стоит теперь ваш комсомол? — съехидничала Марьяна.

— Еще будет стоить, подожди! — сказала Валя.

— У-у-у, когда это будет, может, и не доживем.

— Ты доживешь! — выкрикнул чей-то сердитый голос.

— Учти, все твои заработки мы будем отбирать. Никакого проку тебе от твоей службы, а то и голову снесем, — закончила разговор Нина Склярская.

Валя долго не могла уснуть. Она в душе все еще была комсомольским вожаком. И думала сейчас о тех, кого они недавно принимали в комсомол. Думала и терзалась вопросом: почему в беде они оказались разными? Влияние родителей? Нет. И у той и у другой родители — люди верные. Характеры? Будто обе твердые. Тогда что же? Красота портит? Возможно. Обе они красивые, да только по-разному. И по-разному она, красота, ими понимается. Оксана никакого внимания не обращает на свою красоту. У Марьяны все наоборот. Голова ее занята нарядами, мечтами о легкой жизни. Иной цели у нее нет.

Отсюда и предательство, фальшь, зависть. Но ведь все это проявлялось у нее давным-давно, еще когда она училась. А чем становилась старше, тем все это выражалось ярче. Так почему же тогда ни комсомол, ни учителя не попытались ее исправить, одернуть, остановить? Тогда еще было не поздно. Почему же никому до нее не было никакого дела? Ну, а теперь, когда Марьяна продает, губит людей, здесь ее уже не исправить.

Валя так и не уснула до утра... Забрезжил рассвет. А тут подъем, завтрак, развод.

\* \* \*

...Машина мчалась по свободному, на редкость не запыленному в этот день шоссе. Откуда-то ветром доносилась болотная вонь, и показалось Юзефу, что в воздухе отдает мертвечиной. Он посмотрел на сидящего рядом начальника транспортной колонны эсэсовца Гоффе и, крепче стиснув баранку, проронил:

— Здесь много лагерей. Что же делают с теми узниками, которые умирают? Зарывают их или сжигают?

— По-разному! — проронил эсэсовец, а затем добавил: — Главное — они умирают, а ежели нет, их умирают... — Он хмыкнул и любовно посмотрел на широкий перстень с десятком мелких бриллиантовых камней.

Юзеф еще крепче стиснул баранку...

— А без того, о чем вы сейчас сказали, нельзя? — загадочно и не совсем понятно спросил он у Гоффе.

Однако тот сразу догадался.

— Это уже политика. И не нам ее с вами перековывать. Война эта особая...

— Ясно, — улыбнулся Юзеф.

Гоффе посмотрел на шофера и на всякий случай сделал вид, что не понял ответа. Затем сложил руки так, что не сам перстень, а только камни его ласково отсвечивали между пальцами.

Какой-то человек, закутанный в капюшон, попытался остановить машину. Но Юзеф гнал, гнал с ветерком.

Вдоль шоссе вытянулись свеженькие, омытые дождем ели.

— Вчера были коричневые от пыли, а сегодня будто выкрашенные зеленью. Как на парад выстроились. Омыл дождик грязь, и все обновилось, — Юзеф помолчал и продолжил: — А эту войну так просто не смоешь.

Юзеф покачал головой и опять взглянул на Гоффе.

Гоффе исподлобья посмотрел на Юзефа, но ничего не сказал.

Хотя день был на исходе, но стекавшиеся к шоссе улочки и проулки были безлюдны. Какая-то дымная мгла повисла над Варшавой. У здания еврейского гетто ходили патрульные; мимо гестапо маршировали в желто-грязной форме со свастикой на рукавах ученики военных школ, готовившаяся смена восточным фронтовикам. Кое-где попадались напояженные фрейлейн в сопровождении немецких офицеров. И только изредка, прижимаясь к стенам домов, спешили местные жители — поляки.

Большинство зданий было тронута войной: то крыша сорвана, то стекло не было, то углы стесаны. Стояли и просто одни остовы среди руин и развалин.

Только здание, где помещалось гестапо и отдел имперской безопасности, было реставрировано и напоминало чем-то старинный дворец с усадьбой, беседками и уютно расставленными скамейками. На одной из таких скамеек, оставив машину по ту сторону металлического забора, Юзеф и Гоффе присели.

— Ждать еще больше получаса! — говорил Гоффе. — Документы с вами?

— Да.

— Черт подери! Почему вы мне раньше не сказали, что хотите поработать в транспортной бригаде, обслуживающей завод? Колонна укомплектована полгода назад.

— Ого-го-го! — протянул Юзеф, а мысленно рассуждал: «Дурак. Тогда я еще и знаком-то не был с советским разведчиком. А теперь он там. Конечно, прискорбно, что в роли узника, но, видно, он имеет сейчас какие-то серьезные планы, коль требует меня к себе». «Хоть на полмесяца определись в транспортную колонну на новую стройку ЛП-17, — говорилось в письме, переданном Юзефу вольнонаемным шофером. — Всем лагерем будем там строить три цеха. Хочется увидеться... Прощу...»

Гоффе дремотно потянулся, навалившись правым боком на спинку скамьи, и, с хрустом зевнув, сквозь зубы процедил:

— Кстати, я запомнил спросить, почему так рвешься на военный завод? — Он говорил вяло, будто ему было все равно: последует ответ или нет.

— Не очень замысловатый вопрос, шеф. Из-за заработка, ясное дело. Там ведь расчет ведется по количеству ходок, а я мастак на это, знаете. Обнищал малость. Подкупить кое-что задумал.

— А на первый вопрос что же не ответил?

— Какой? — Юзеф и забыл о нем.

— Почему раньше не рвался на заработки?

— Гм-гм, не решался с вами говорить так откровенно, господин шеф, — показал он на золотой перстень у того на пальце. — Неловко ведь обращаться с такими просьбами... без подарка... Да вы бы могли и отказать, господин шеф! — несмело закончил Юзеф.

— Гм-гм... Найдено, яволь, — чуть смущенно и чуть нагло вато замычал про себя Гоффе. — Ты именно хочешь в эту партию? — повторно, уже, видно, не для себя, а так, на ветер, выпустил дежурную фразу начальник транспортной бригады.

— О да, именно в эту. Нужда — во! -- не растерялся Юзеф и резанул себя рукой по горлу. — Я пытался продать, — продолжил он, — одну золотую вещицу, есть у меня еще дома, так ни у кого денег не нашлось. Откуда деньги, да и нужд других полно... А ваш брат неохотно платит марки за золото, не прочь так получить... Предложил я двум офицерам в Катовицах, говорят, подожди пару лет, посмотрим, чем война кончится. А сейчас пока марки нужны...

Гоффе снова зевнул с хрустом, улыбнулся и посмотрел на свой палец с перстнем...

В восемнадцать часов, ровно в назначенный час, Гоффе развалистой походкой направился в дверь, что вела не в гестапо, а в транспортное управление, помещавшееся в этом же здании. Юзеф успел в сотый раз осмотреть своего шефа и на сей раз отметил про себя, что походка у него не соответствовала его комплекции: был Гоффе сухой, поджарый, среднего роста, с хитрым, проницательным взглядом, длиннолицый, с утонченными чертами лица. Только вот шея — длиннющая и вытянутая, как у хищника. Может быть, поэтому, угадывая в нем хватку к наживе, все смело тянулись к Гоффе с «просьбами». И Гоффе поддавался заманчивому волшебству коррупции. За два года войны с Польшей, Россией он не поднялся вверх по карьерной лестнице, но зато заимел несколько усадеб: в Баварии и под Берлином, в Варшаве и в Кёльне. Было у него две машины, уйма денег и золота.

Гоффе появился. Вроде бы чем-то удрученный. Тяжело выдохнув, так и шлепнулся на скамью.

После некоторого молчания он сделал рукой такой жест, чтобы Юзеф увидел, что на пальце перстня нет, сказал:

— Иначе не получалось!

Юзеф все понял. Он посмотрел в лицо Гоффе. Глаза



того блуждали то по земле, то по кирзовым сапогам Юзефа. «Врешь, сукин сын, припрятал перстень, — продолжал размышлять Юзеф. — Ну, а если ты действительно отдал тем, что в стенах этого здания? В любом случае плохи у вас дела, покорители Европы...»

Юзеф быстро сориентировался.

— Ну что же, господин шеф, отступать не будем, коль перстень там. — Он посмотрел на широкие и высокие окна, откуда только что явился шеф. И загадочно улыбнулся.

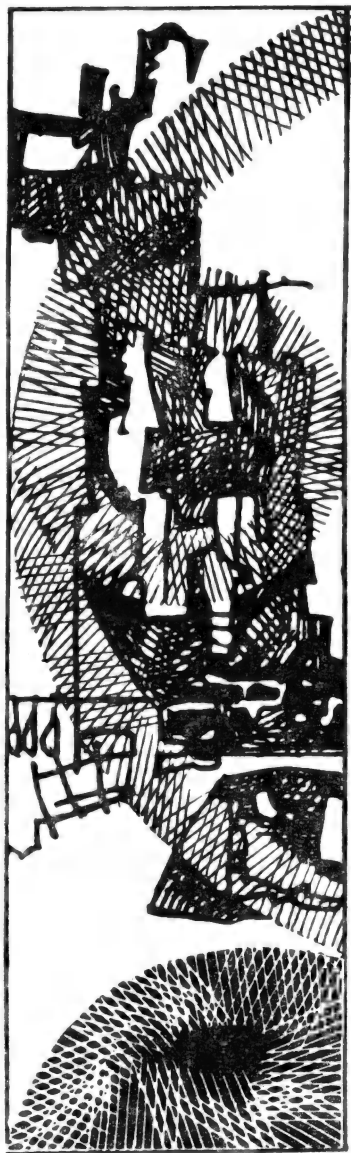
Юзеф все еще глядел на Гоффе, а тот бросал взгляд то на ноги Юзефа, то на свой палец, на котором ранее был перстень, и явно огорчился, что за «труд» свой он не получил еще желаемого вознаграждения.

И шофер не стал долго испытывать своего начальника. Ясно было, чего хотел Гоффе.

— Все будет в порядке, господин шеф. Дома, как я уже говорил, есть еще одна вещица, не хуже этой. Завтра утром я обещаю вам ее вручить...

Гоффе не смог скрыть удовольствия, но гримаса на его лице должна была изобразить, что, мол, «это не так важно... и так все сделаю, как договорились».

Гоффе поднялся, но все еще медлил.





— Я обещаю, — повторил Юзеф. — Игра стоит свеч...

Гоффе, конечно, не понял последних слов, да и не стал вдумываться в них. Он верил этому парню.

Юзеф шел за Гоффе спокойно, уверенно, хотя знал, что в этом учреждении придется ему заполнить несколько анкет, оставить отпечатки пальцев, дать подписку о нераскрытии тайны существования концерна.

## Глава 7

### ЛП-17

Октябрь на Западе — месяц ненастья. Ветры, дожди с градом, солнцепеки, ночные заморозки и утренняя изморозь часто чередуются, как бы идет потасовка между летом и неокрепшей осенью. Наконец побеждает осень. Об этом можно судить по тому, как по утрам на земле, крышах проступают белые пятна — следы, оставленные первым опустившимся на землю заморозком. Но следы эти тотчас исчезают при появлении солнца.

В бараках для восточных рабочих в такую осень печи, стоящие посередине помещений как опорные столбы, затапливались раз в десять дней, в бараках же для военнопленных — ни разу. Только зимой, когда уже снег валил на землю порошею, печи затапливались через сутки, через трое, а то и реже. В дни топок подолгу пахло горелой щетиной, резиной и еще чем-то зловонным. Кто-то пустил слух, что это разжигали сырые поленья и уголь человеческими волосами, снятыми с голов у новичков-узников.

Оксана по вечерам нередко угорала от этого непривычного запаха. Она выходила на улицу и, присев где-нибудь за углом барака, старалась уловить чистый воздух, который доносил сюда с Карпат ветер. Она смотрела в небо. «Луна точно такая же, как и в России, та же Медведица, небесная колесница. Вот и Вася, может быть, смотрит на это же небо». О Коралове она не уставала думать ни днем, ни ночью. А сейчас, когда появился Женья, она еще больше затосковала о Василии. «Женья хороший, добрый, внимательный. Но разве можно тут, в беде, не помогать друг другу? А другого с ним у меня быть ничего не может», — твердо говорила себе Оксана.

Долго помнила Крепина о штрафной работе на ЛП-17.

Три ночи она переписывала списки с русского на немецкий.

Утром ее уводили в бригаду, а к концу дня снова она возвращалась к спискам.

Эту работу должна была выполнять сама переводчица, потому что рабочей силы на заводе не хватало, и для конторской работы начальство «рабочую единицу» не выделяло. Уже если только в экстренном случае, а экстренный случай не наступал. И переводчица хитро использовала свою власть. Зная, что Оксана умеет писать по-немецки, стала умышленно к ней придирается.

Третья ночь была особенно тяжелой. Когда утром Оксана пришла в бригаду, у нее закружилась голова... Как прошел день — не помнила. В лагерь ее вели под руки. Ужинать Оксана не стала. Однако нашла в себе силы написать Жене обо всем, что узнала. О гибели военнопленных на Семнадцатом в конторе она ничего не услышала, но, возможно, ему, Жене, самому удастся все разузнать, так как оба лагеря — мужской и женский — в ближайшие пятнадцать дней будут трудиться там на закладке фундамента и постройке двух огромных кирпичных закрытых гаражей. Правда, это будет не в центре Семнадцатого, а на окраине с восточной стороны.

Крепина совсем не придавала значения тому, где ей самой доведется работать. В любом месте плохо и трудно. А поэтому ей было все равно, какую работу планировали заводские и лагерные господа. Только не было все равно Жене. Он успел уже связаться с Юзефом и нетерпеливо ждал от него ответа. Ответ вскоре последовал. Вольнонаемная табельщица Кристина передала дословно Жене слова Юзефа: «Все уладил, при доставке материала увидимся, жди».

И вот пришел тот час, когда колонны «восточных рабочих» и узников, оцепленных плотным кольцом эсэсовских патрулей и овчарок, двинулись по территории ЛП к новым стройкам Семнадцатого. Путь был не близок. Заводское бездорожье — то металлические стружки, то бетонные трубы, то проволока, скрученная в рулоны и валявшаяся то тут, то там, то трубы-гиганты, торчащие из-под земли, рисовались перед глазами черными глыбами. Невольно в голове все смешивалось, и в воображении вставала одна сплошная громада железа. «Много здесь всякого хлама, — думал Женя. — Бомбы можно посеять зазря между этими болванками, вагонетками и пустыми бетонными трубами. Если я и сделаю свой план-набросок, это ничего не даст, — рассуждал про себя Женя. — А Москве надо точно знать, где какой цех находится».

О том, где будет работать он, где Оксана, увидятся ли они

с Юзефом и когда, не зазря ли он его сюда вытащил, — решительно Евгений пока ничего не знал. Но присутствие Юзефа его чем-то обнадеживало.

— Рье-е-е! — гаркнул неожиданно неприятный, пропитой бас старшего конвоира.

Навстречу колоннам шел высокий человек в черном блестящем плаще. Лицо открытое, обветренное, на нем выделялись мягкие складки у губ. Человек посмотрел на длиннющую колонну.

— Что здесь происходит? Не их тут дело шататься. А ну-ка обратно. Туда! К машинам! Там подвезли материалы. Бригады! Для мужчин рабочее место за проволокой. Женщины «восточные рабочие» — на отведенных площадках.

Глухой голос скомандовал: «Щурюк», и колонна, повернувшись на сто восемьдесят градусов, двинулась назад.

Конвоиры то и дело выкрикивали: «Лёс, шнель, зобака, дрек...»

Еще километр, еще. Новые пейзажи: заводские фермы с навесами, бетонные вышки и, наконец, железнодорожная ветка. Теперь уже Женя не сомневался, что он там, где ему нужно было быть и ради чего он прибыл из России.

Наконец колонны приблизились к указанному месту.

— Полосатые, сюда! — Это была команда для мужчин.

— «Восточные рабочие», останетесь тут!

Конвоиры вогнали мужчин в колючий загон, а сами густо окружили его. Внутри этого колючего квадрата для заключенных уже был вырыт глубокий котлован, подготовленный для закладки фундамента, стояли тары, ведра, цистерна с водой. Вскоре в эти ворота въехали еще две машины с цементом. «Восточные рабочие» выгружали кирпичи с машин, которые оставались по ту сторону проволоки, затем в больших плетеных сапетах с двумя ушками передавали из рук в руки через надорванную колючую проволоку в мужской квадрат. Там опять же выстроенный конвейер до самого низа котлована отправлял сапеты кладчикам, близ которых скоро уменьшались кучи кирпича.

Женя первый стоял около проволоки на приеме сапеток из зоны «восточных рабочих». Машины подходили одна за другой, а Юзефа все не было.

Оксана стояла четвертой от Жени. Они изредка перекидывались малозначащими словами.

Вдруг человек в шляпе и блестящем плаще, оказавшийся

тут тоже, подошел к строю женщин, удивленно посмотрел на Оксану и, как старой знакомой, сказал:

— Гутен таг, медхен!

Оксана зарумянилась и спокойно ответила:

— Гутен гаг, герр! — И вновь наклонилась и подала сапет своей соседке. Человек в плаще, о чем-то поговорив с бригадиром, направился в контору.

— У тебя завидное знакомство, — насмешливо сказал Женья.

Оксанины щеки чуть не лопнули от прихлынувшей крови. Она застенчиво сказала:

— Это инженер. Это он мне давал списки переписывать, когда была штрафницей, и сказал для чего: мол, скоро весь лагерь будет работать на новостройке Семнадцатого. Я вам, помните?..

— Все понял... — прервал ее Женья.

Цемент был на исходе, новые машины не приходили. Техники-строители, прорабы-специалисты недовольно разводили руками, то и дело уходя в новое здание конторы к инженеру с жалобами. Тот куда-то звонил. Там никто не отвечал. И работа приостановилась. Женья воспользовался этим, приблизился к проволоке и шепнул, чтобы Оксана нигде, никогда и никому — что бы с ним или с ней ни случилось — не говорила об их разговорах и содержании записок, о любой его просьбе, которая может быть у него к ней или у нее к нему.

— Обещаю! — прошептала Оксана. — По-комсомольски!.. — добавила еще тише и улыбнулась.

Женья посмотрел на девушку. И подумал: «На нее можно положиться». Оксана стала совсем малоразговорчива и даже немножечко грустна. Она была слишком молода, чтобы понять глубину и смысл предосторожности Жени. В этот миг бригадир Владык выкрикнул:

— Крепина!

Оксана поднялась из-за бревна и, посмотрев на свою скрученную проволокой туфельку, все ли в порядке, ответила:

— Я тут!

Рядом с Владыком стоял инженер завода. И хотя он был не в очень хорошем расположении духа, чем-то обеспокоен, приветливо махнул рукой Оксане, указывая на дверь конторы.

На руке его сверкнули золотые часы. Он, посмотрев на них, тут же добавил:

— Будешь продолжать готовить наряды и списки. У тебя хороший почерк. Но теперь будешь работать днем...

Оксана вошла в уже знакомую ей канцелярию. Все здесь было по-прежнему, как и тогда, когда она работала «штрафницей» по ночам. Большой сейф рядом со столом инженера, бумаги на столе, металлическая чернильница с зелеными чернилами, и рядом второй, ничем не прикрытый стол. Оксана и без подсказок инженера присела тут. Она знала, что, как и в прошлый раз, ее могут посадить только здесь, в неудобном и захламенном месте.

Инженер молча подал на стол ей те же списки «восточных рабочих». Теперь она каждую фамилию записывала в отдельную карточку-наряд. Там требовалось указать, какую работу выполнит та или другая рабочая, за сколько часов и сколько за это ей будет оплачено. Оксана догадалась, что фабрикант на сей раз смилостивился: решил дать им какое-то скудное вознаграждение. «Хватило хотя бы на резиновые калоши...» — подумала девушка. Она будет их носить поверх развалившихся туфель.

Инженер, стоя у стола, тер щеку и как-то хмуро про себя сказал:

— Убрать кабинет приказу другой.

Оксана не знала, инженер ли пригласил Марьяну или Владык ее ему предложил, или та сама напросилась оказать услугу. Но ей случилось быть







свидетельницей пошлой сцены, когда бывшая ее односельчанка, превратившаяся в развратную, то надменную, то заискивающую девицу, пыталась по-своему истолковать и использовать свой приход к инженеру.

Марьяна не знала немецкий язык, бессмысленно повторяла: «зо, зо», что значило «так, так», и жеманно крутилась перед столом инженера, пытаясь перехватить его взгляд. Но тот приказал Оксане перевести «медхен», что ее дело — подмести пол, вымыть его до блеска как можно скорее...

Марьяна с презрением посмотрела на Оксану, не поверив, что господин инженер мог так официально говорить с ней. Но когда инженер, не удостоив ее ни единым взглядом, вышел, Прочко поняла, что просчиталась и действительно придется заняться грязной работой. Воспользовавшись отсутствием инженера и боясь мести разъяренной девицы, Оксана выскочила из кабинета.

\* \* \*

Прошло несколько дней. Все они были похожи один на другой. Оксана готовила наряды, инженер то уходил, то приходил, Женя был малоразговорчив, задумчив и даже хмур. Повеселел только в последние два дня, когда машины стали приходить одна за другой. Он со всеми шоферами перекидывался шутками, особенно когда отвлекался конвой.

В обеденный перерыв подвезли брюквенную бурду в бачках. Застучали крышки, зазвенели черпаки и миски, зашумели, засуетились проголодавшиеся люди. Конвой тоже присел перекурить, и только овчарки слонялись вокруг колючей проволоки, готовые в любую минуту накинуться на очередную жертву. По одну сторону проволоки сидели женщины, по другую — мужчины.

Женя и Оксана уселись в сторонке. Оксана примостилась за грудой кирпича, а Женя за кучей цемента.

Повели разговор о том о сем. И Женя, уловив момент, когда Оксана рассказала с сожалением о несостоявшемся бегстве ее на фронт, как бы не совсем всерьез проронил:

— Ты и тут можешь помочь Родине, фронтовикам.

Оксана вопросительно посмотрела на Женю. Тот как можно спокойнее сказал:

— В конторе должен быть план завода... Большой альбом с чертежами...

— Я видела на столе у инженера, — перебила его Оксана. — Только у него было два альбома — голубой и серый.

— Вот, вот. Нужен серый! — поспешно сказал Женя. — Если бы мне удалось туда проникнуть...

— В контору заключенных не берут. Я сама... Только когда это надо сделать?

У Алексея стучало в висках: «Нет, так нельзя. Она же еще девочка. Надо самому проникнуть... Но как? Как? И все так рядом! Так просто! Нет, не просто, не увлекайся. Спокойно».

— Что же вы молчите? — нетерпеливо спросила Оксана.

— Это лучше сделать, когда подъедут машины, — глухим голосом произносил будто чужие слова Алексей. — Сунь под полу фуфайки. Придерживай рукой снизу. Потом подойди к куче кирпича, возьми сапет, присядь, опусти в сапет альбом и тотчас заложь сверху кирпичами. Сунь в ушко мету. Кончится благополучно, подам знак, конечно, не тебе, а скажу что-нибудь приятное в адрес всех. — Женя помолчал. — А если провал? — Теперь молчала Оксана. Вновь продолжил Женя:

— То, что я поручаю тебе, Оксана, не просто мое личное желание... Все это нужно нашим советским летчикам.

— Догадываюсь! — сказала Оксана.

— Кстати, ты знаешь, что здесь? — спросил Алексей, показывая рукой на территорию завода.

— Военный завод. Я подслушала разговор двух немцев еще в те ночи, когда работала тут. В первую видела и поезда. Всю ночь что-то грузили...

— Надо, чтобы больше не грузили, — прошептал Женя. — И поезда на восток чтобы не уходили отсюда...

— А что здесь делают? — спросила девушка.

— Это знать тебе не обязательно, — не без умысла скрыл разведчик. На случай провала при допросе должна проявиться полная ее некомпетентность. Женя еще раз предупредил, что об их разговоре никогда и никто не должен знать. И еще он сказал, что, если задание это она выполнит, ей тут оставаться нельзя. Есть договоренность с Владыком оставить ее в ночь для работы на заводе регистрировать ходки проходящих машин.

— Вместо Вали Орленко. Она бессменно трудится третью ночь.

Услышав об этом, Оксана удивилась:

— Я тоже еще не пришла в себя после бессонных ночей.

— Глупенькая. Это же объяснение для Владыка. А на самом деле ночью тебе организуют побег.

— Если бы случилось все так! — обрадовалась девушка. Она и не догадывалась, что этот побег был подготовлен для Жени. Но он твердо решил, что не воспользуется им. Лишь бы удалось переправить с территории завода чертежи, а дальше все сделают Юзеф и шифровальщик, который свяжется с Москвой и получит инструкции. А девушку спасти надо... и сегодня. В пропускных дежурят друзья Юзефа; обыск машины будет не таким тщательным.

Обеденный перерыв кончился, и Оксана вернулась в контору. Марьяна успела убраться. Но пол был сыроват. Инженер смотрел в зеркало и приглаживал свои блестящие волосы.

Оксана не сразу заметила стоящие у стола две пары сандалий. Она торопилась наверстать потерянное время и старалась угодить инженеру, теперь она хотела быть очень приятной.

Инженер долго говорил по телефону, а потом, когда закончил, поднялся, подошел к Оксане и со свойственной ему вежливостью сказал:

— Прошу! Это для тебя, — показал он на новенькие сандалии. — Померь, какие тебе подойдут. Стыдно сидеть в конторе... в этом, — кивнул на ее ноги.

Оксана смутилась. Такую любезность от немца она не ожидала.

— Обувай, обувай! — продолжал твердить инженер.

— У меня всего одна марка. Сколько они стоят?.. — растерянно сказала Оксана. Она чувствовала себя так неловко, что и язык, кажется, прилип к нёбу.

— Нисколько! — ответил инженер. — Мать и отец живы? Кто они? Рабочие?

— Не-е-е, — смутилась Оксана. — Колхозники.

Девушка наклонилась, чтобы переобуться. Две длинных косы ее с вплетенными красными лентами коснулись пола. Инженер, осторожно оглянувшись по сторонам, вполголоса сказал:

— А это обязательно должно быть красное? — тронул он пальцами ленты, когда та подняла голову.

— Нет! — засмеялась Оксана. — Я просто люблю красный цвет...

— А можешь не любить хотя бы сегодня? Приезжает инспекция из Берлина...

Девушка все поняла и тут же выдернула из кос красные ленты. Спрятала в карман клетчатого платица.

Инженер распорядился старые туфли выкинуть. Сам сел за стол, набрал по телефону номер и сказал, что обедать дома не будет, зайдет за старшей дочерью в цех, и они вместе пойдут в кафе.

Но обедать инженеру так и не довелось. Тут же от проходной сообщили, что берлинская инспекция уже прибыла. Он накинул на плечи плащ и направился к проходной.

В кабинете было чисто, свежо. Оксана прошла, чтобы удостовериться, хорошо ли ей в сандалиях. Приблизилась к столу инженера. Огляделась. Бумаги со стола были все убраны. Сейф закрыт. Связку ключей инженер всегда носил с собой. И теперь тот разговор с Женей о сером альбоме представился ей несбыточной фантазией. Оксана подошла к окну и увидела Женю на грузовой машине. Он изредка посматривал на дверь конторы. Но что толку?! И Женя есть. И машина, видимо, есть — та, на которую он рассчитывает.

Да альбома-то нет.

Оксана увидела, как инженер и трое в зеленой эсэсовской форме прошли к котловану, где узники закладывали фундамент. Все они размахивали руками и показывали куда-то вправо, по направлению к железнодорожной ветке. Им, видимо, не нравилось что-то в планировке.

Узники уже привыкли видеть разных эсэсовцев в зеленом. И не обращали на них внимания. Только Женя, заметила Оксана, время от времени смотрел на них.

А тут подошли еще двое штатских в дорогах, как определила Оксана, костюмах. Перед ними уважительно склонились инженер и инспекторы. «Видно, хозяйева», — прикинула девушка, видя, как они, дослушав эсэсовцев в зеленом, направились в канцелярию.

Оксана припала к стулу ни жива ни мертва. Непонятно, чего она испугалась. Она учтиво встала и поздоровалась с вошедшими. Ей не ответили.

Инженер вынул из кармана связку ключей и пошел к сейфу. Дверь тяжело звякнула, и он, задержав ее на мгновение, начал там что-то искать. Потянул внутреннюю дверку и уже оттуда вынул и положил на стол серый альбом. Серый! Сейф снова закрыл ключом. Теперь говорил инженер, его опровергал берлинец в зеленом, потом снова инженер твердил ему что-то свое, потом захрипел третий бас. И только тогда, когда решительно махнул рукой один из солидных штатских и приказал следовать за ним, кабинет опустел. Инженер второпях помчался следом за ними, не придав значения тому, что альбом на

столе остался раскрытым. Он наверняка о нем забыл, так как поверх него лежали исписанные на машинке листы. По ним инженер долго водил карандашом, оспаривая перед берлинцами цифры 1 и 17. Эти инструкции-то, видно, и отвлекли его внимание.

Оксана не думала ни о том, что ждет ее впереди, ни о том, кому и зачем нужен этот альбом, ни о том, что жизнь, может быть, ее на этом кончится... Перед ней лежал альбом. «Сейчас! Только сейчас! — шептала себе Оксана. — А не уехала ли машина? Готов ли Женя?»

Оксана не помнит, как очутилась на ее плечах фуфайка. Не помнит и как ее руки сунули альбом под фуфайку. Все шло, как говорил Женя. Только немного Оксана опомнилась, когда альбом плотно уже прижался к ней, словно так и должно быть. И сердце стучит: «Иди же, скорее!»

В первый момент Женя оторопел, заметив Оксану в наглухо застегнутой фуфайке. Левая рука заложена между пуговицами под полу. Где-то в глубине души он не очень был уверен, что девочке удастся выполнить его просьбу. Во всяком случае, на сегодняшний день Женя рассчитывал мало. Но он молниеносно среагировал. Никто и не заметил, что одна из машин с nedовыгруженным цементом подалась вперед и отгородила конвоиров, столпившихся у проходной. У последней кучи кирпича никого не было.

А Женя в этот миг был уже возле проволоки и ловко перехватил из рук узника сапет, который только что поднесла Оксана. Только сейчас она спохватилась, что никакую мету не успела вложить в сапет. Но теперь это уже не имеет значения. Они обменялись взглядами и поняли друг друга. Сапет, нет, не сапет — альбом в руках у Жени. Оксана подбежала к подругам по бригаде, чтобы подменить кого-нибудь из них, такое она часто делала, когда у нее не было работы в конторе. Подошла к матери красноармейцев и вытеснила ее из ряда, предложив ей посидеть за кучей кирпича.

Оксана улыбнулась соседкам. Те ответили ей тем же. Только Марьяна, сощутив глаза, испытующе поглядела на нее, будто твердила: «Я все видела... видела... Наконец ты мне попалась...» — «Разве могла она видеть? — заволновалась Оксана. — Не может быть! Она была на том конце. А вдруг?...»

Тем временем на территории мужской зоны вспыхнуло какое-то замешательство. Гитлеровцы окружили машину того штатского шофера, знакомого Жени, и заглядывали между

колес, в кузов, в кабину. Женя стоял в стороне. Шофер в чем-то убеждал гитлеровцев, а затем сел за руль и осторожно подал грузовик назад. Только теперь выяснилось, что после обеденного перерыва одного узника недосчитались. Он почувствовал себя плохо, прилег между куч цемента. Там и умер. Пока его не обнаружили, машины не выпускали из заводской зоны, так как думали, что пропавший задумал бежать в одной из них. Все это время Женя и Юзеф, как наэлектризованные, взглядывали друг на друга, не зная, в какой момент их может сразить беда.

Нервы Оксаны тоже напряглись до предела. Она не боялась за себя, ее тревожил исход дела.

Фыркая, машина направилась к главным воротам. Тут вновь ее остановили. Подняли брезент, заглянули в кузов. Наконец машине дали ход. Выехав из заводских ворот, на совсем уже нейтральную территорию, шофер дважды засигналил. «Знак Жене», — подумала Оксана. И не ошиблась. Женя тут же подошел к колючей проволоке и шутливо произнес: «Работаете сегодня, медхен, аллес гут!» Оксана будто и не слышала сказанного, продолжала передавать кирпичи... А сердце радовалось: «Получат наши то, что хотели...»

Инженер вернулся в канцелярию не скоро. Он сопровождал берлинскую инспекцию по заводу и освободился только тогда, когда те отправились в Катовицы.

Время уже близилось к вечеру. Оксана успела собраться с силами и совсем не думала об «инженерском альбоме», а скрыто радовалась за «альбом фронтовиков». Даже гордость за себя щекотала где-то в далеком уголке сердца. И все это, в общем, делало ее сильнее. Теперь ей было все равно, что о ней будут думать гитлеровцы и как с ней обойдутся.

Инженер то уходил из кабинета, то возвращался, то задерживался у своего стола, о чем-то думая. Потом спросил Оксану:

— Кто был у стола и у сейфа?

Оксана нашла в себе силы непонимающе двинуть плечами. Постепенно фальшивое спокойствие Оксаны стало переходить в ощущение тревоги. Инженер снова вышел. Оксана встала и подошла к окну. Мужчин уже выстроили для сопровождения в лагерь. «Восточные рабочие» еще оставались для уборки рабочих мест. Им доверяли больше, и приближающиеся вечерние сумерки их конвоиров не так пугали.

Женя шел в предпоследней пятерке и искал глазами Оксану. Та стояла внутри конторы у окна и в упор смотрела на него. Он слегка улыбнулся в ответ.

Не знала Оксана, видел ли Женя, что инженер уже шел в контору с тремя вооруженными гестаповцами. Но Оксана, заметив их, кивнула Жене на прощание головой... Тяжело выдохнув, села за стол.

Ни инженер, ни гестаповцы в черном не обрушились на нее сразу. Не верилось им, что «девочка в косичках» способна на такое. Они только настоятельно расспрашивали, кто заходил в канцелярию, кто что брал со стола и не спрашивал ли кто его, инженера. Оксана говорила, что не все время сидела на месте и не запомнила, кто тут бывал. На вопрос о сером альбоме она ответила, что совершенно не в курсе дела о нем. Гестаповцы и инженер снова вышли на улицу.

Там они говорили со многими: с Владыком, охранниками, нарядчиками. О мужской зоне они и речи не вели. Те находились за проволокой и, разумеется, доступа в канцелярию не имели. Вина вся ложилась на «восточных рабочих». Кабинет инженера — на их территории.

Когда гестаповцы и инженер вновь вернулись в кабинет, Оксана уже стояла в фуфайке, и в ее косах были красные ленты...

Инженер опешил:

— Значит, ошибся. Значит, все-таки ты... А я думал, ты ангел...

— Вам не нравится, что я повязала раньше срока красные ленты?.. — с насмешкой спросила девушка. — Без них мне неудобно, герр инженер. Вам вернуть сандалии?

И тот рассвирепел:

— Пойдешь в тюрьму в них! Ведь я вынужден отправить тебя в тюрьму, — как бы оправдываясь, сказал инженер. — Есть свидетели, которые подсказали, что это дело твоих рук... Не виновата — разберутся...

— Я уже сказала, что не видела тут чертежей и не знаю, зачем они нужны вообще. Я ничего в них не смыслю.

Гестаповцы надели на Оксану наручники.

— Зачем? Я не сбегу. Вас же трое. Чертежи я не брала, а в тюрьму пойду. Отоспаться хочу!..

Поведение этой девчонки смутило инженера. И когда ее выводили из конторы, он сказал конвоирам:

— Скажите, что я не уверен, виновата ли именно она. Пускай разберутся...

## Глава 8

### НЕОЖИДАННЫЙ ДРУГ

В камеру-одиночку, в которой содержалась Оксана, только к вечеру через маленькое, зарешеченное под потолком окошко проглядывало солнце. Оксана подпрыгивала, цеплялась руками за решетку, чтобы через запыленное стекло взглянуть на свободу. Вот уже две недели томилась она тут. И свобода казалась далекой и навечно недоступной.

Поначалу, кроме огромных клумб перед зданием гестапо, покрытых бело-розовым цветом, Оксана ничего другого не успевала разглядеть. Руки млели, и она сползала по стене вниз. Потом, наловчившись, она дольше выдерживала и видела больше: заводские трубы, площадки, закиданные железом, вагонетки и выступающие из-под земли шарообразные махины — баллоны. И небо: то чистое и ясное, как вода, то затянутое облаками, будто отлежи снега с вершин Карпат поднялись в небо.

В последнюю очередь Оксана обращала внимание на прохожих, которых могла рассмотреть через этот квадратик. А ведь среди этих прохожих были и те, кого привлекли в качестве свидетелей по ее делу. Многие появлялись здесь всего один раз. Марьяна была ежедневно, а с ней новая ее подруга — харьковчанка Варюшкина, веснушчатая, с широким, раздутым носом деваха.

Каждый раз после появления Марьяны и Варюшкиной у здания гестапо над Оксаной учинялись допросы. Поначалу показывали ей фотографии, изъятые при обыске в бараке из ее чемодана еще в первый день ареста. Эти фотографии прислали ей родители, как только она написала им первое письмо. Фотографии «восточным рабочим» иметь не запрещалось. Не запрещалось и высылать их в Россию. Но сейчас это был уже «материал». Гестапо изъяло у Оксаны фотографии родителей со всеми детьми; ее со школьными подругами. И по ним изучалась вся жизнь этой «восточной рабочей»: коммунисты ли братья, кто отец, мать, сколько в семье красноармейцев?..

Во время допросов больше всех зверствовал переводчик — запорожский колонист Людвиг. Он бил Оксану по лицу своей тяжелой, как плоть, ладонью. Он не мог смириться с тем, что показания ее расходились с показаниями его доверенных сви-



детелей. Оксана догадалась: речь шла о Марьяне и Варюшкиной.

— Почему вы верите этим, а мне нет? Они клеветают только потому, что продались. Если же они не будут наговаривать на людей, такие чулки вы им не дадите! — показала девушка на свои ноги.

У переводчика язык словно прикипел к небу. И он не спросил, почему же у нее на ногах, коль она не работает с ними, те же чулки, которыми немецкие власти платят за хорошую службу. А Оксана, увидев, какое впечатление произвели ее слова, уже готова была ответить и на это. Скажет, как было: что доносчица Марьяна была вынуждена отдать эти чулки ей и тем подтвердила невинность Оксаны и свое бесчестие. Но переводчик молчал. Молчали и гестаповцы.

Оксана от Жени слышала, что гитлеровцы при допросах советских граждан как-то отступают, когда те не сдаются. Вот откуда у Оксаны была такая смелость. На вопрос, где план завода и кому она его передала, Оксана четко отвечала:

— Я ничего не брала! Никто мне такое не поручал! Я не могу понапрасну наговаривать на невинных людей! Я пожалуйюсь высшим немецким властям!

Сказав эту фразу, девушка сама испугалась. Ведь гитлеровцы могли тут же прикончить ее. Но они не торопились. Они еще надеялись узнать, кто за плечами этой девчонки. А убить они всегда ее успеют.

Гестаповцы сделали вид, что последняя ее фраза их развеселила.

— Гм... Кому же ты пожалуешься? Не самому ли фюреру?

— А что? — обрадовалась вопросу Оксана. — И ему напишу.

Все откровенно загоготали. А один из гитлеровцев — толстяк — заключил:

— Упрямая девчонка! В камеру!

Оксана, учтиво сказав «ауф видерзеен», ушла в сопровождении двух надзирателей. А из следственной комнаты, где она только что была, все еще разносился хохот. Кто-то даже сказал: «Я получаю удовольствие, когда допрашиваем эту русскую. У этой девчонки есть характер. А вы обратили внимание, как она прощается? Этакая благовоспитанная...»

Ответа Оксана уже не слышала.

Девушку вели совсем по другому коридору, не по тому, где была ее камера. Теперь только она вспомнила, что надзирателю было приказано «перевести ее в левые камеры».

В новой камере пахло сыростью и мышами. В двух углах — по две огромных, с человеческую голову, норы. Вокруг следы крови, обрывки каких-то лохмотьев, крошки хлеба.

Оксана горестно опустила на пол. И тотчас же из норы, что была ближе к ней, высунулась мордочка какого-то зверька. Его глаза уже нацелились на хозяйку камеры. И вот уже кругловатое темно-серое чудовище величиной с кошку начало носиться по всей камере. Из той же норы друг за другом выползали такие же зверьки.

Оксана вскочила, сняла фуфайку и начала ею размахивать, загоняя это странное стадо по норам. Однако гитлеровские крысы — Оксана слышала от кого-то, что их специально разводят в гитлеровских тюрьмах и питаются они мертвечиной, — подняли нестерпимый визг. «Дрессированные, черти! — озадаченно подумала она. — Или озверели тут? Ну, держитесь!» Оксана начала быстрее бегать по камере, размахивая фуфайкой.

Страху девушка не испытывала. Ей вдруг даже стало весело: гитлеровцы решили, что, поживя в камере с крысами, она перевоспитается и тут же выложит им все о плане завода. «Дудки!» — засмеялась про себя Оксана.

Дежурный-поляк, услышав топот в камере, приоткрыл окошечко. Затем, выпучив глаза, закрыл, так и не проронив ни слова.

Оксане и вправду стало веселее. Теперь она не была так одинока, да и занятие какое-то есть. Камера хоть и небольшая, но был предлог побегать, размяться.

До Оксанкиного сознания все еще никак не доходило, что с ней произошло. «Гестапо? Плевать на него. Убьют? Убивают многих — война. Меня сегодня, кого-то завтра. Отправят в лагерь — сбегу!» Вот так рассуждала она и этим жила. Только пыток боялась. «Не довели бы до такого состояния, что Женю вспомню. Нет, нет. За все отвечу сама!..» И она беспрерывно шепотом твердила: «...альбом не брала... никто ничего не просил, ничего не брала, никто не просил...» Это на всякий случай штудировала она эти фразы, чтобы сжиться с ними и в трудный час, очутясь даже в беспамятстве, повторять только их!

Шли дни за днями. Оксану на следствие пока не вызывали. Она не сомневалась, что тем временем собираются всякие против нее материалы и что вскоре грянет такая буря, что, может быть, ей и не вынести ее. Особенно тяжело ей стало после случая с бельгийкой, которая двое суток, еле живая после следствия, находилась в камере Оксаны. А потом ее отдали

на растерзание овчаркам. Между тремя тюремными корпусами около пятнадцати овчарок по команде большеглазого тюремщика накинулись на женщину, которую привели на этот плац после очередного допроса... Она едва успела выкрикнуть: «Смерть вам, гады!» — как ее повалили псы. Разъяренные, они грудой навалились на женщину, и она вскоре умолкла... И все это было проделано на глазах заключенных, которых специально вывели из камер. Оксана понимала, что сделали это гитлеровцы в назидание ей и всем тем, кого в любой час ждет такая же участь.

Но думать только об этом было ужасно.

И все-таки трудно было уйти от тоски, душевной тревоги о родителях: не приездут ли и их сюда, не расстреляют ли из-за нее; о Жене: не арестовали ли его? Вдруг возьмет все на себя и скажет, что давал ей задание. Ведь она намерена все отрицать!

Оксана старалась отвлечься, заняться чем бы то ни было, чтобы хоть на время забыться, как бы горько ни кончилась ее жизнь. Сначала ей хотелось записывать все, что она здесь увидела. Но бумагу и карандаш у нее забрали при обыске. И ее никто не навещал. Да к политическим заключенным никого и не пускали. Кроме того, это занятие было тут рискованным.

И тогда Оксана решила всерьез заняться крысиным семейством. Теперь девушка не только не гнала из камеры крысиный выводок, а даже старшей крысе дала прозвище «Чи-чи». Как-то на такое легкое шипение крыса реагировала. И стоило Оксане несколько раз произнести «Чи-чи», как тотчас же в камеру вылезала вначале мать, а потом и ее детеныши.

...Открылось окошечко. Кто-то втолкнул большой пакет, закрыл окошко и так же быстро глухо потопал обратно по коридору. Оксана тут же взяла сверток. Там были белый хлеб, масло, колбаса, сахар, печенье, жареное мясо и вареные яйца. Девушка догадалась: Женья и его вольнонаемные друзья. А кто мог быть тут еще таким заботливым. Тут же принялась искать записку. Нашла под коркой хлеба. Написано незнакомым почерком: «Обеспокоены. О тебе не забудем, где бы ты ни была. Мужайся так и дальше... У нас все хорошо. Твои друзья».

Оксана приободрилась. «У нас все хорошо» — значит альбом уже у наших, и Женья не арестован. Их даже не заподозрили! Вот здорово! Она порвала записку, кинула клочки в крысиные норы, взяла посылку, уложила на колени и все по очереди принялась уплетать.

Крошки сыпались на пол. Чи-чи проснулась. Она издала визг, и крысята понеслись по камере. Но Чи-чи знала свое дело. Она приблизилась к Оксане, присела и подобрала крошки от вкусного печева.

Оксане понравилось такое поведение Чи-чи. Она вспомнила, как бывала раз в цирке со своим старшим братом и там разные животные были в очень тесной дружбе с людьми. А почему бы ей ближе не подружиться с Чи-чи? И тогда поспокойней ей будет ночью. А то спит в сандалиях и чулки боится снять.

Когда запахло чесночной колбасой, Чи-чи оживилась. Оксана опустилась на пол и даже решила вытянуть ноги. Чи-чи тут же взобралась на них и сунула нос в бумаги, в которых было завернуто съедобное. Крепина не позволила ей хозяйничать, а понемногу, что было под рукой, подавала сама Чи-чи. Чи-чи снова попыталась хозяйничать, но Оксана положила сверток на окошко камеры. «Это мы еще оставим на ужин и на завтрак, все сразу нельзя!» — как человеку, объясняла ей спутница.

Теперь уже девушка поняла, что все эти крысы были ручные. Они привыкли жить среди людей, и стоило Оксане вкусным накормить Чи-чи, как повелась у них дружба. Нередко по утрам, проснувшись, она находила возле себя прикинувшихся крысят.

Ей чудилось, что это котята, только другой породы. Как и кошку, она гладила Чи-чи по спине, говорила с ней, как с человеком, кормила всем, что у нее было. И Чи-чи оказалась сговорчивой, дружелюбной. Никогда больше не оставляла камеру Оксаны, даже если и крысята не шли за ней. словно чувала, что надо отвлечь хозяйку от душевных мук и одиночества...

Чтобы не потерять своих друзей, Оксана не съедала полностью пайку хлеба. Оставляла и для Чи-чи.

Крепина не помнила, сколько в общей сложности она уже томилась в этой одиночной камере. Но, посмотрев на черточки, которые ежедневно выцарапывала деревянной щепой, отломанной от пола, ужаснулась. Их было много, что-то около трех десятков. Оксана посчитала: ровно тридцать.

— Ну, Чи-чи, — посмотрела она на крысу, — живем мы с тобой вместе уже месяц. Долго. Или забыли обо мне?..

И вот дверь камеры отворилась. Два гестаповца в черном приказали следовать за ними. Оксана накинула фуфайку, вышла. Между ее ног выскользнула из камеры и Чи-чи. Дежур-

ный от неожиданности ахнул и ударил ее сапогом по спине. Та завизжала и понеслась в противоположный конец коридора.

В знакомой Оксане следственной комнате сидело трое: толстяк с квадратным подбородком, на сей раз в штатском сером костюме, Людвиг — переводчик, в новом шевиотовом костюме и с такой же, под цвет одежды, серой резиновой дубинкой в руке, и седоволосый гестаовец без орденов и медалей, только с хорошо надраенными желтыми пуговицами и такой же пряжкой на животе поверх форменной куртки.

По дубинке и настроению переводчика Оксана определила: пощады не ждать!

— Ну, что скажешь нового? — спросил небесхитростно толстяк с квадратным подбородком.

Оксана не захотела воспользоваться услугой переводчика и поторопилась ответить сама:

— Ничего! Ничего нового!

Гитлеровец выпучил глаза. Затем как бы сам себе сказал:

— Ах, эти русские. — И тут же продолжил: — Господин Брун, у вас есть вопросы?

— Да! — ответил седовласый. И обратился к переводчику: — Если есть у вас дела, займитесь ими. Она отлично знает немецкий.

— А кто заставит ее говорить правду? — закричал толстяк.

«Бить» он называет «заставить говорить правду», — расшифровала про себя Оксана.

Господин Брун опустил глаза, показывая Оксане на стул. От этого господина веяло какой-то добротой. Оксана боялась ошибиться. Ведь в гестапо таких не бывает, и поэтому не очень-то поверила в это свое поспешное определение. На столе перед Бруном — лист бумаги и ручка. Он не торопился с вопросами, а как-то странно оглядывал Оксану.

— Ты паспорт имела? — первое, что спросил Брун.

— Не-е-е! Я же несовершеннолетняя.

— Альбом ты взяла?

— Нет, нет, господин. Ничего я не брала.

— А тут свидетели против тебя есть.

— Они лгут. Поверьте, если бы это было так, то свидетели эти не допустили бы до того, чтобы альбом этот я кому-то отдала. Они тут бы меня вместе с альбомом к вам привели. И вместе с теми людьми. А то вот я у вас одна...

Брун посмотрел на толстяка. В тот миг Оксана разглядела

лицо этого человека. Было оно еще совсем моложавое, хотя по облику этому человеку за пятьдесят.

— Откуда знаешь немецкий? — в их разговор вклинился толстяк. — Ты училась на немецких курсах в Петровске?

«Значит, справлялись на родине, вот почему долго и не вызывали сюда, — прикинула Оксана. — Но Долинич все перепутал. Да, собственно, он и не знал правды...»

— Я даже не знаю, как в этот город добираться. И никогда не бывала в Петровске. Это очень далеко от моего дома. Родители меня никогда туда одну не отпустят. А немецкий я знаю со школы. Я была отличницей. И легче всего мне давался этот предмет. За всех подруг писала контрольные. У них немецкий не получался. А потом, когда пришли к нам немецкие власти, то я жила у сестренки и вместе с ее дочкой сами изучали ваш язык. По газетам, книгам, словарям. Это же легко.

— Нужна очная ставка со свидетелями, — сказал Брун. — Они будут там на суде, в Катовицах. А сейчас Людвиг займется ею, — сказал толстяк.

Людвиг втянул воздух, широкая грудь его подавалась вперед.

— Встань! — крикнул он. — Сними фуфайку, чулки и сандали!

Оксана выполнила приказ. Но чулки не сняла: постеснялась поднимать подол платья.

Плеть Людвига опоясала Оксану. Боль змеей пролегла по бедрам, коснулась живота и переползла к ногам. Переводчик бил девушку разъяренно, бил по икрам, по плечам, шее и закрывавшим больные места рукам и локтям. Оксана, сколько было терпимо, молчала, закусив губу, потом застонала... И тут расслышала голос Бруна:

— Ну, а если альбом взят кем-то из сослуживцев и окажется, что ничего не случилось...

Кровь хлестала из ее икр и запястьев рук. Кровь просочилась сквозь платье.

...Боль жгла все ее тело. Обиднее всего было Оксане, что бил ее не гестаовец, а свой как бы человек, выросший на Украине. Она хотела сказать Людвигу что-нибудь дерзкое, грубое, но хлынувшая из носа кровь не дала ей это сделать. Посреди кабинета образовалась лужа крови...

— Вытри! — крикнул Оксане гитлеровец с квадратным подбородком, указывая рукой в угол на приготовленную заранее мешковину.

Оксана вытерла.

— Где план завода? Сознавайся, отродье! — бесновался гитлеровец.

— Я ничего не брала.

— Мерзавка! В химкамеру — шнель! — приказал он Людвигу.

Тот вытолкнул Оксану из кабинета и повел по длинному затемненному коридору до самого конца. Нажал кнопку на стене, и первая герметическая дверь с глазком приоткрылась.

Распахнулся холодный темный бункер.

Не успела Оксана ни о чем и подумать, как из бетонного пола — только сейчас она разглядела на нем круглые дырки — фонтанчиками пошла липкая, вонючая жижа, пахнувшая серой и аммиаком. «Таким запахом был отравлен воздух на одном из участков завода», — вспоминала Оксана.

Жгло щиколотки и колени, раздувало легкие. «Сейчас все кончится... вот сейчас... Но я не крикну... Еще минуточка, еще одна, и сердце не выдержит... Нет, сердце у меня крепкое. Голова треснет от боли...»

Ее тело, казалось, уже умерло, сгорело... Только сознание пока не покидало.

Оксана прислонила голову к стенке бункера, напряглась и тихо застонала. Тотчас месиво куда-то уплыло, опустилось. Открылась и дверь камеры. Крикнули «Выходи!», но девушка от бессилия прислонилась к стенке, а затем опустилась на пол...

Людвиг схватил ее за косы, поднял и так, «на поводу» поволок в следственную комнату.

— Может, теперь сознаешься, где альбом? — встретил ее гитлеровец.

Оксана помахала головой, что значило: не брала!

Людвиг снова ударил девушку по лицу, а затем, заложив ей в рот палец, сильно дернул. Нестерпимая боль ударила в голову, по подбородку закапала кровь, и Оксана будто провалилась в бездну...

Она не сразу пришла в себя, когда на ее голову полилась ледяная вода. Сначала одна кружка, затем вторая, потом без счета...

Пришла в себя она от криков и воплей: «Бешеная крыса!» — и не могла понять, что случилось.

Подняв голову, Оксана увидела Чи-чи. Крыса носилась по столам и стульям, металась под столом и снова по бумагам. Оксана не сказала, а как бы слегка, сквозь зубы, удивленно прошипела: «Чи-чи, моя Чи-чи». Крыса расслышала. Подско-

чила к девушке, понюхала, отскочила, снова понюхала и тут же приткнулась к ногам девушки, как бывало в камере...

Оксана нагнулась и потянулась рукой к Чи-чи.

— Ты пришла мне помочь или ты думаешь, что я уже мертва? Я еще жива... — сказала обиженно-тихо Оксана.

Чи-чи, будто поняв обиду Оксаны, прыгнула ей на колени и припала к ее рукам...

— Теперь ясно, — прижала девушка Чи-чи к своей груди. — Спасибо. Ты верный, неожиданный и единственный мне тут друг!

Гитлеровцы опешили.

...Брун курил, Адольф — с квадратным подбородком, — придя в себя, спросил:

— Эта крыса живет с тобой в одной камере?.. И она не бешеная?

— Нет, здоровая, — медленно сказала Оксана. — Только надо с ней по-хорошему. — Девушка продолжала гладить присмившую и прижавшуюся к ней Чи-чи. — Она не хотела одна оставаться в камере, пошла за мной... Ее ударили. Она и стала бросаться на всех.

Гитлеровцы молча переглянулись.

Допрос был прекращен.

Оксану вели по коридору с Чи-чи на руках в ту же камеру. Из репродуктора, повешенного под потолком коридора, словно специально для нее диктор монотонно говорил: «Слушайте директиву верховного главнокомандования вооруженных сил Германии. Все лица не немецкой национальности, выступающие против империи и ставящие под угрозу ее безопасность, подлежат смертной казни...»

— Значит, Чи-чи, ты мой последний спутник в жизни... — подавленно заключила Оксана.

\* \* \*

О том, что будет дальше с ней, Оксана не знала. Когда, а главное — как решат ее судьбу, она могла только предполагать по речи, услышанной от коридорных полицейских. Камера ее была «тринадцатая», и, как было принято в тюрьме, дверной цифрой именовали и обитателя камеры.

Спустя трое суток после отбоя около тринадцатой камеры остановились двое. Приоткрыли окошко, видно, заглянули внутрь (Оксана лежала на нарах и дремала) и тут же хлопнули его.



— «Тринадцатую» завтра увозим... — расслышала она за дверью хрипловатый голос, говорящий по-польски.

— Куда? — спросил второй.

— Толкуют о каком-то частном закрытом заседании с участием свидетелей. Преступление за ней большое, надо бы судить ее по всем правилам. Но она далеко не совершеннолетняя для наших законов.

— А где будет суд?

— Собирались поначалу в Кракове. Да звонили вчера оттуда, что у них там перегрузка. Требуют отправить в Катовицы.

Собеседники удалились.

...Оксана поднялась, села на нарах, крепко прижав к себе Чи-чи, и так просидела до утра. Даже мало говорила со своей «последней спутницей». Она совсем не думала о том, куда ее увезут, в каком городе решится ее судьба, кто ее решит и как будут называться эти люди: гестаповцы, эсэсовцы или военные судьи. Ей было все равно. Главное, она погибает не зря. Она любит Родину и сделала для нее все, что могла. Конечно, палачи захотят отнять у нее жизнь, но она все равно не отступится. План не брала! Никаких чертежей не видела. Никто ничего ей не поручал!..

А сердце ныло от шемшей тревожной боли... Ведь из услышанного в коридоре она и так знает, что пощады ей не ждать...

— Вот так, милая Чи-чи! Поспи на прощание у меня на коленях. Будешь помнить доброту русской девушки, твои хозяева тебя так не приласкают...

Чи-чи сопела, крысята спали в норе.

Наступило утро. Звякнула дверь. За «тринадцатой» пришли...

— Прощай, подружка! — опустив на пол крысу, сказала Оксана.

Ее подвели к закрытой машине. Один из гестаповцев уселся с шофером в кабине, двое с нею рядом. Они о чем-то говорили, а Оксана думала и думала, глядя в маленькое отверстие на потолке, через которое едва проникали солнечные лучи и тонкая струя воздуха.

Машина мчалась быстро, без остановок. Ехали долго.

Оксану поместили в предварительную камеру, где перед судом содержались заключенные. На завтрак подали ей кружку горячего кофе-суррогата, двести граммов хлеба с крохой маргарина поверх него.

Оксана есть не стала. После избития ее переводчиком Люд-

вигом и после пыток в химкамере она была едва жива. Ломило в затылке, стучало в висках, болели ребра, позвоночник и особенно справа под лопаткой. Ей трудно было двинуть правой рукой. Горело все тело. Но ею овладело какое-то странное спокойствие. И в голову приходило все, что угодно, только не предстоящий суд... То Чи-чи носилась у нее перед глазами, то Амур носом тыкался ей в лицо, то петух где-то кукарекал, то через приземистое окошечко, сквозь густые решетки, на пожелтевшем кустике она заметила жука. «Столкнуть бы его чем-нибудь, а то кору портит...» То какая-то птишка кружилась в небе, и Оксана не знала, кто она такая. Пташка упала на влажные ветки какого-то дерева, так и осталась неразгаданной.

Стекло в окне камеры было выбито, и потянула струя влажного, наполненного каким-то ароматом воздуха, хотя, в сухости, воздух был тут не так уж чист. Неподалеку шоссейная дорога, и даже поезда перекликаются. По сравнению с той заводской гарью, что приходилось Оксане нюхать беспрерывно изо дня в день на Семнадцатом, тут дышалось легко.

Вблизи камеры слышались твердые шаги. Дежурный отворил дверь:

— Прощу, пани!

Такое давно ей не доводилось слышать, и она восприняла это приглашение за иронию. И все-таки думала: «Что все это значит? И почему я так спокойна?»

Крепину привели в зал со множеством стульев, но занятых только в передних рядах. Откуда-то взялся господин Брун и, проходя мимо, вслед шепнул ей: «Держись! Народу будет мало. Суд закрытый...» Тут уже сидели инженер, бригадир Владык, переводчица Польша. Остальные люди были незнакомы Оксане: десяток немок, нарядно одетых, и примерно вдвое больше в гестаповской и эсэсовской форме немецких офицеров. Это не было похоже на тот суд, который она себе представляла: что-то страшное, многолюдное. Ей показалось, что в зале присутствуют только те, кто работает в этом здании, да приглашенные ее начальники с завода.

За столом в центре, на две ступеньки выше, сидели трое гитлеровцев. Один из них — знакомый уже Адольф с квадратным подбородком и два незнакомых ей. Чуть поодаль, за столиком, господин Брун. Оксану посадили у входа, за барьером, на какой-то высоченной скамье. Когда Оксана села, ноги ее не достали до пола. Какая-то женщина в зале, глядя на нее, не сдержалась: «Майн гот! Она же еще совсем девчонка...»

После оглашения обвинения Оксане предложили самой рас-

сказать всю правду, пообещав освободить ее из-под ареста и даже дать разрешение вернуться к родителям на Украину, если она по порядку все расскажет о своих соучастниках, ибо ясно, что альбом вынесен из конторы не без умысла. Кто же эти люди? Ясно, что лично ей он не нужен. Она сделала это по чьей-то просьбе. А может быть, в ее присутствии взяли его какие-то немцы и припугнули ее. В любом случае она должна назвать всех, кто что-либо брал со стола. И не бояться, если ей приказали молчать. Ее защитят, кто бы ни были эти люди! И зачем ей, еще несовершеннолетней, отвечать своей жизнью за кого-то, когда с нее вина может быть вообще снята.

Оксана оживилась: «Значит, живы отец и мать, раз обещают вернуть к родителям. А на следствии сказали, что их казнили. Ага, они ничего не знают, меня испытывают... запугивают! Дудки!»

Переводчик был не русский человек, но и не немец, у него был какой-то акцент. Он начал переводить. Оксана и без него уже все поняла и готовилась к ответу. Но отвечать решила только по-русски! Чтобы было время все правильно продумать.

Главное — ни в чем не обмолвиться.

— Мне, господа, не к кому





возвращаться на Украину, — начала она. — Моих родителей казнили. Так мне сказали на последнем допросе в заводской тюрьме... Зачем же вы меня обманываете?

Высокий гитлеровец, видимо главный на этом суде, посмотрел на Адольфа. Они несколько секунд о чем-то пошептались. Оксана взглянула на Бруна. Тот улыбался. Теперь Оксана поняла, что в нем и надо искать поддержку.

Девушка почувствовала себя сильнее. Она догадалась, что под одинаковыми мундирами жили разные люди. И думали они по-разному...

Председатель пригласил свидетелей. Первой ввели Марьяну Прчко.

Та гневно начала давать Оксане характеристику: из семьи коммунистов, партизанка, в лагере разлагала дисциплину, убеждая всех, что красные вернутся и что многие поплачутся.

На вопрос, видела ли, как выносила Крепина альбом из конторы, Прчко безапелляционно заявила: «Да!» Так же твердо она сказала «да», когда ее просили подтвердить, что Крепина убежала с альбомом куда-то на территорию завода, вглубь.

— И охрана ее пропустила?

— Да!

— Ложь! — выкрикнул кто-то из зала. Оксана узнала в этом человеке охранявшего в тот день их бригаду охранника. — Никуда она не уходила!

— А где же тогда альбом? — оправдываясь, спросила Марьяна. — Не нам же, заключенным, нужны чертежи. Кому-то из вольнонаемных она передала...

— Вы ставите под сомнение немецких служащих! — поднялся с места хорошо одетый господин. Видно, это и был сам хозяин завода. — У меня проверенные люди!

— Перед арестом ее, — не сдержался и инженер, — вы обещали дать объективные показания! — обратился он к Марьяне. — А получается, вы вводите нас в заблуждение. На территории завода Крепину никто не видел! В том числе и я...

Эти препирательства уже не были похожи на суд. Наконец председательствующий призвал всех к порядку и попросил не вмешиваться тем, кому не дано слово. Свидетельнице приказали удалиться.

Вошла Варюшкина. Она говорила то же самое. Подтверждала, что Крепина вынесла что-то под фуфайкой из конторы, прижав к себе. Потом она подавала кирпичи, потом куда-то ис-

чезла... А что было дальше, гестапо должно, мол, заставить ее саму рассказать. Ну, она еще может добавить, что Крепина неисправима и что корчит из себя примерную советскую комсомолку. Такую не жалко и на виселицу... На вопрос Бруна, была ли она сама комсомолкой, Варюшкина ответила:

— Так просто, для проформы, заставляли потому что... Но комсомольский билет я разорвала в первый же день войны...

— Вы что же, не любили Советскую власть? Были в вашем роду арестованные?

Варюшкина удивленно посмотрела на задавшего этот вопрос председательствующего и ответила:

— Арестованных не было. Но Советскую власть у нас все не любят. Иначе бы не пустили вас до Урала. Просто народ за новые власти и не хочет с вами воевать.

— Я бы не сказал, — посмотрел с ухмылкой председательствующий на присутствующих.

— Можно вопрос свидетельнице? — обратился к тройке за столом бригадир Владык.

— Битте! — ответил высокий.

— Вы говорите, что видели, как Крепина выносила из конторы что-то под фуфайкой. Но, как я сейчас припомнил, в тот день, еще до обеда, вы вместе с десятью женщинами были отправлены в лагерь на разгрузку торфа для кухни и там работали до конца дня, не возвращаясь больше на завод. А чертежи из канцелярии пропали в конце дня. В три часа их еще инженер показывал инспекции из Берлина. Как же это получается?

— Но видели другие, — оправдалась Варюшкина, — только они не решаются идти в свидетели. А я смелее, пошла...

— Я протестую против показаний этой лгуньи! — неожиданно для самой себя выкрикнула Оксана. — Она никогда меня не знала. Ей все равно, какие власти дадут шнапс. Она не любила комсомол, но и вас не любит, врет и вам!

Зал зашумел, требуя перевода. Председательствующий заметил замешательство главных заводских лиц и приказал вывести Варюшкину.

Высокий гестаповец дал слово защите. Тогда Оксана не знала, что все это значило, но, когда поднялся Брун, у нее от сердца как бы отодвинулся камень, хотя все то, что он говорил, пока что было печально для нее.

Брун начал с того, что изъять с чертежами альбом — это значит поставить под угрозу важное военное предприятие. И произошла эта политическая диверсия, по его мнению, ско-

рее из-за халатности тех, кто нес ответственность за этот документ.

Однако он допускает и то, что Крепина могла взять чертежи и передать тем людям, которые попросили ее это сделать. Но она политически не созревший человек, и ей, должно быть, все равно, чью просьбу выполнять. Таково уж свойство характера молодого человека.

Потом говорил председательствующий и еще кто-то, но Оксана уже ничего не слышала. Она вспоминала то, что услышала, когда шла по коридору заводской тюрьмы. Каждая жилка в ее теле затряслась, и сердце стучало как молот... Суд уже удалился куда-то и, видно, скоро появится снова, потому что никто из зала не уходил. Но она и так знает, что он скажет. Скорее бы только... Она невзначай обратила внимание, как из зала на нее показывали. «В чем дело? Кровь на лице?» Она вытерлась платком, но люди продолжали смотреть на нее. На носу выступил бисерный холодный пот... Да, платок мокрый... Оксана ловила на себе то холодно-сочувствующие взгляды, то любопытные.

У Оксаны завалялся в кармане осколок зеркала, который нашла она в тюремной камере в Катовицах. Вынула из кармана, осторожно заглянула в него. Ее виски словно припудрены. А одна прядь, справа свисавшая на лоб, как выбелена мелом. Тело дрогнуло от жалости к себе, а потом в голове опять все перемешалось: дом, тюрьма, жизнь, смерть...

Вскоре был зачитан приговор.

— В Катовицах в конце декабря тысяча девятьсот сорок второго года рассмотрено дело по обвинению «восточной рабочей» украинки Крепиной, похитившей план секретного военного завода ЛП... Учитывая то, что она совершила политическое преступление против империи, украинка Крепина согласно директиве от 7 декабря приговорена к смертной казни...

Оксана все чаще промокала на переносице «росу».

— Учитывая ее возраст, она была арестована до директивы от 7 декабря, — продолжил председательствующий, — приговаривается к пожизненному заключению в КС-Аушвиц-Освенциме, где и будет исполнен вышеупомянутый приговор.

Как только закрыл он папку, Оксана осмелела:

— Я... я не все поняла.

— Поедешь в лагерь и там будешь находиться, пока не кончится твоя жизнь. А когда кончится — это уж дело местного начальства. Может, и завтра...

Брун простился с судьями и, когда те скрылись за служебную дверь, направился к выходу и остановился около Оксаны.

— Ничего другого не мог сделать, — сказал он почти по-русски.

— Скажите, а меня сразу убьют? — подавленно спросила Оксана.

— Не обязательно... Там главное — осторожность и силы! И все может еще измениться...

— Спасибо, господин!

— И вообще, твое счастье, что это случилось в далеком от фронта тылу. Тут есть время на следствие. А вблизи фронта тебя бы казнили через сутки. — Так по коридору и проводил Брун Оксану до закрытой машины...

А тем временем, когда Оксана находилась уже в тюрьме города Освенцима, в Москве Высоцкий торопился на доклад. Он распахнул дверь полковника Карапузо и, держа в руках толстый серый альбом с грифом «ЛП», сказал:

— Товарищ полковник, есть новость!

— Какая же? — роясь в ящике своего стола, не глядя на Высоцкого, переспросил не очень хорошо настроенный полковник.

— Насчет задания Ганса Тильмана.

— Ну и что же?..

— Вот, прошу! — положил Высоцкий на стол перед полковником огромный серый альбом.

— Так вот какая новость! — обрадованно выкрикнул Карапузо. — Вот уж не ожидал! Это сюрприз при его условиях! Значит, ты был прав тогда. Молодец Тильман!

Карапузо встал и вопросительно посмотрел Высоцкому в глаза.

— Ну, а как он сам-то? Жив хотя бы?..

— Жив, товарищ полковник! Только вот девушку, которая передала этот план Тильману, сегодня в Катовицах приговорили к смертной казни... Увозят в Освенцим.

— Это же явная смерть! Почему же не спасли ее? Кто она?

— Наша. С Украины. Крепина Оксана. Совсем еще девочка... Спасли не успели!.. — подавленно закончил Высоцкий.

Карапузо грустно опустил голову, о чем-то думая, и не сводил глаз с лежащего перед ним серого альбома.



### СЕДАЯ БЕРЕЗА

Тысяча девятьсот сорок третий год. Более двух месяцев Оксана содержалась в городской тюрьме. В начале апреля ее отправили на этап согласно приговору...

Поезд сбавлял ход. Знакомые товарные вагоны с колючими окошечками вскоре поравнялись с ней, и она прочла небрежно выцарапанные мелом на каждом из них слова: «Грихише юден нах Аушвиц-Освенцим». Мысленно перевела: «Греческие евреи в Освенцим...» Значит, она поедет с ними. Охранники передали Оксану вместе с какой-то бумагой группе эсэсовцев и, переваливаясь с ноги на ногу, покинули перрон.

Оксана очутилась в седьмом вагоне. Замученные, изголодавшиеся в дороге греки окружили девушку и пытались задать ей бесконечное множество вопросов. Но ни их она понять не могла, ни они ее. Слышала только Оксана еще в тюрьме, что в Освенциме есть душегубки, в которых заживо убивают людей разных национальностей, а евреев в первую очередь, и душа ее ныла от жалости к этим людям. О себе она как-то совсем не думала. А еще в тюрьме ей сказали, что Освенцим-Биркенау — место массовых убийств и оттуда уже никто не возвращается! Вспомнила Оксана и то, что в январе месяце осужденная как «политическая» — ее муж перешел на сторону Красной Армии — немка Мадлена Шпрек покончила самоубийством, повесилась на окне камеры. Она не могла снести даже весть о суровом приговоре: Освенцим! Смерть уготована, стоило ли продлевать муки?.. Так рассуждали многие, так рассудила и Мадлена. И Оксана сейчас завидовала Мадлене. Сама она на такое была не способна и только перебирала в памяти, что она сделала «так», что «не так» и как бы она поступила дальше, если бы ее убили хотя бы через месяц, а не сегодня...

В углу вагона застонал старик. Он открыл свой саквояж, вынул оттуда какую-то маленькую книжицу и что-то начал громко читать. Оксана ничего не понимала, но по тому, как греки присмирели, она догадалась: старик читал что-то важное. Вот одна старушка вынула из своего чемодана что-то похожее на семена и подала другой. Та замахала руками, подала старику и тот заглянул в книжицу. И по-своему что-то сказал. Старуха приняла свои семена обратно, сунула их в чемодан. А вот Оксана увидела и горшки с землей, и корзины под овощи, и даже какой-то инструмент образца древней мотыги. Наверное, им

сказали, что ждут их сады, дома, огороды... А иначе зачем бы им понадобилось брать в Освенцим эти горшки, землю, семена? «Новое поселение»... Гитлеровцы обманывают людей по-разному... Об этом тоже говорили ей в тюрьме.

Оксана не могла объяснить с этими людьми, но не противилась, когда два маленьких мальчика полезли к ней на колени и принялись с нею играть. Видно, их привлекла ее белая кожа, они тыкались своими носиками в ее руки, трогали щеки, перебирали пальчиками ее льняные волосы. Черноволосые и темнокожие, они не могли понять, почему она такая белая.

Вскоре жалобно стукнули буфера. Еще и не открылась дверь вагона, как послышался лай овчарок и окрики эсэсовцев. Больше всего Оксану поразило, что среди них были и женские голоса, сварливые и грубые. Но как бы там ни было, люди в вагонах легко вздохнули — приехали... Поначалу шли пешком нескончаемым потоком.

Шли организованно. На плечах несли котомки, в руках по два чемодана. Кое-кто потребовал носильщиков и тачки. Гитлеровцы от не привычки быть вежливыми выкрикивали:

— Тут нет носильщиков! Зобака! Дрек!

Потом, о чем-то посоветовавшись, скомандовали:

— А теперь строим строго и организованно, по пять человек, вперед! К машинам!

Ехали недолго. Около небольшого деревца — березки, которая была седая от пепла, машины стали останавливаться. Оксана сошла с машины в числе последних. Она кому-то помогала нести узелок и небольшой чемодан, а когда приблизилась к седой березе и на воротах по-немецки прочитала: «Труд делает свободным!» — перед ее глазами встал весь ад, о котором ей рассказывали польские подруги в тюрьме. Вон вдали квадратные трубы крематориев, к которым кольцо гитлеровцев сопровождает весь этот прибывший только что этап из Греции. Немного в стороне бараки, приземистые, угрюмые. Между ними слоняются полосатые тени в деревянных колодках и с белыми тряпками на головах. Недалеко от массивных металлических ворот десять таких же полосатых теней стоят лицом к стене...

Оксана всмотрелась в одну-единственную березку, что выросла у ворот лагеря. Она будто ничем не отличалась от других березок, какие видела девушка у себя дома в Вишневке и на полях России и Польши. У нее такая же нежная серебристая кора, подсохшие снизу ветки, рядом с которыми уже тянутся молодые, крепкие побеги. Подул ветер, и она стала шум-

ная, говорливая, а стих — задумчивая и гордая. Казалось, береза как береза, но выпала на ее долю особая судьба. Она высилась у входа в лагерь смерти...

И вместе с тем она одна-единственная тут звала к жизни, хотя сама была уже седая от человеческого пепла. В этом страшном уголке земли шелестом своих листьев она нашептывала идущим мимо нее людям-смертникам, что есть еще жизнь на земле, что она живет и выросла для них и что до конца будет служить символом вечной жизни.

Оксана обратила внимание, как все прибывшие с нею этапом смотрели на эту освенцимскую березку с благодарностью, что выросла она здесь. А кто-то громко сказал: «Вот она, береза-узница. И деревья бывают обездоленные...»

Все это для свежего и нового человека было чудовищно и дико. И небо здесь было другое: пасмурное, низкое, и будто вжимало в землю. В небе кружились черные птицы, и весь этот клочок земли будто самой природой задуман был для ада. Слева — Западные Карпаты, впереди далеко — лес, за спиной — пустырь. Остров смерти! Даже хозяева его — гитлеровцы — чем-то отличались от других: у всех были иступленные лица.

Стали раздаваться короткие выкрики: «сюда», «сюда», «туда»... Это был отбор людей: на жизнь и на смерть из числа прибывших предыдущим этапом. «Сюда», — махнул небрежно рукой гитлеровец, и женщины отошли налево, к металлическим воротам. Оксана посмотрела на них и заметила, что все они — светловолосые, видно, немки. Переводчик сквозь зубы процедил своему коллеге: «Этим суждено пока пожить!» «Туда», — и к крематорию отошли старики и старухи преклонного возраста, один слепой чех и с подвязанной на бинте левой рукой без кисти украинка из Закарпатья. Правой рукой она вела маленькую девочку лет трех, которая, то и дело забегая вперед, теребила мать за больную руку и говорила:

— Мама, отповесь лучку, скорее выластут пальчики...

— Иночка, уже не вырастут, я слишком взрослая, — горестно отвечала мать.

Среди людей, прибывших этапом из Греции, не было никакого отбора на «жизнь», и все они оставались на клочке земли, окрещенном гитлеровцами: «туда...»

Оксана, услышав родную речь, приблизилась к украинке.

— Вы откуда? — спросила она.

— Из Черновиц. Вот руку отбили при пытках. Негодяи! А теперь куда это нас?..

Оксана молчала. Тем временем из лагеря вывели бригаду

женщин и повели к куче бревен, что лежали возле железнодорожной линии, видно, не так давно доставленные сюда поездом. Они становились гуськом, пытаясь поднять эти огромные махины, и, не сдвинув с места, горестно смотрели на колонну новичков.

Инна недоумевала, глядя на эти человеческие тени. Она подскочила к матери и сказала:

— Ма-маоцька! Почему эти столбики, толстые и длинные, лежат на земле, а эти, сухие и тонкие, стоят?

— Это не столбики, это тети. Живые тети, как мы с тобой.

— А почему ты мне никогда не говорила, что есть на свете такие тети-столбики: безволосые и некрасивые?.. Расскажи мне сейчас же о них.

Мать виновато проронила:

— Я никогда не знала, что есть на свете такие тети...

— Ну, а теперь знай! — потребовала девочка. Она помалахала узицам ручкой и захлопала в ладоши. Но, увидев, как многие из них плакали, так же удивленно пролепетала:

— А что, эти тети-столбики не умеют смеяться, они только плачут?..

Мать молчала, молчала Оксана, молчали и ее земляки, слушавшие девочку.

У передних шеренг, с которыми прибыла Оксана, что-то рьяно выкрикивали арестантские распорядители — капо\* с дубинками в руках, в полосатой одежде и с повязками на рукавах. Прибывшие люди что-то возражали, их в чем-то убеждал переводчик, пожилые женщины плакали. На них кидались овчарки. И только теперь Оксана поняла: приехавшие не хотели расставаться со своими котомками, саквояжами, землей, семенами. Особенно громко выкрикивал голос худого эсэсовца: «Золото — сюда! Багаж — туда!»

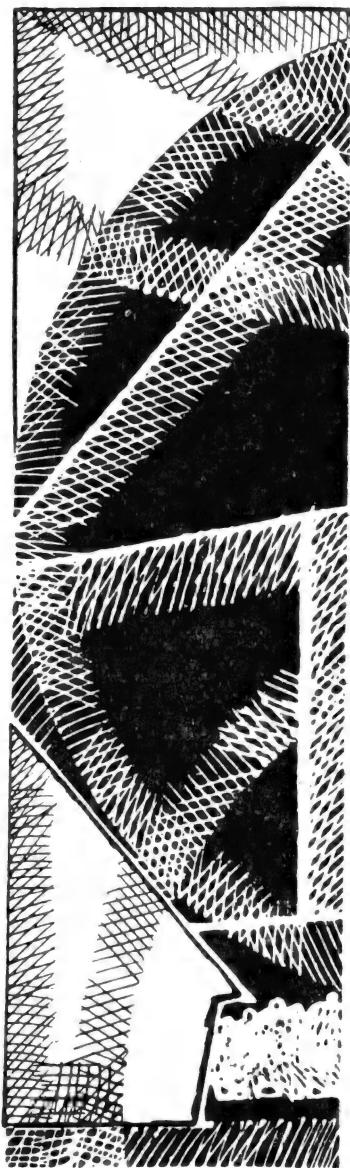
«Пассажиры», приглашенные сюда новыми властями, требовали выдать им бирки, чтобы после бани легко было установить и найти свои вещи. Но распорядители уже пустили в ход дубинки и вталкивали людей во двор крематория. Золото, как и приказывалось, осталось справа, чемоданы, корзины и все прочие вещи — чуть поодаль...

Людей вталкивали в приземистое здание с вывеской «Дезинфекция», «Душевая», и там они словно растворялись: ни в эту дверь, ни в боковую и ни через какую запасную больше не выходили. Это настораживало. Смятение и судорожный страх

---

\* Лагерный палач из числа заключенных.

можно было прочитать на лице каждого. Явно вызывала сомнение эта баня и вся ситуация «предбанного процесса». Но человек приучен доверяться человеку. Никто не решался заподозрить этих принявших их «чинов» в том, что они способны сразу убить весь этап, весь эшелон людей, прибывших сюда без всяких злых намерений. Шли рядом дети и старики, отцы и матери. Да, бесспорно, они тревожно смотрели друг другу в глаза, но только смотрели. Сказать, что их через несколько минут ждет смерть и что это не «дезинфекция», а стало быть, и не баня, а душегубка, даже и Оксана, уже зная все это, не решалась. Нет, она воздержится, она никому ничего не скажет. А вдруг это пока что настоящая баня, а та, смертельная, в другом месте и даже в другом лагере?... Все шли. Шла и Оксана. Теперь она шла совсем последней... Почему-то у самого входа в это приземистое здание оглянулась, посмотрела в небо, вспомнила мать и слова, которыми та всегда ее передразнивала: «Я выласту большая-большая и уеду далеко-далеко»; слова Василия: «Храни нашу весну...» Надзирательница с овчаркой на поводу толкнула ее в спину, и она повалилась на рядом идущую с матерью Инну. Инна упала, но бодро подхватила и сказала:





— За тобой гонятся тети-собаки? Иди первая, а я их не боюсь...

Оксана погладила девочку по головке.

Оксана первая разделась, связала свою одежду в узелок — так приказал какой-то заключенный с повязкой на рукаве, который тут же куда-то умчался, и вместо него появился переводчик. Получив в руку горсть жидкого мыла, Оксана поторопилась в распахнутую дверь «душевой». Потянуло ее туда, чтобы все рассмотреть до мытья. Холодные, мрачные стены снова насторожили ее. У входа всего одна-единственная лавка, широкая и с углублением в одном конце. На потолке воронки с частыми дырочками, как решето. Посередине бетонные колонны, на них железные трубы с проволокой. Зачем это в душевой?.. Везде сухо — ни капли воды. Пахло аммиаком и серой, как тогда в химкамере, когда Оксану пытали в заводской тюрьме. Это еще больше насторожило ее. И такие дырочки на воронках, как в том бетонном полу, и так же холодно... В душевой должно быть тепло и совсем все по-другому. Значит, это и есть душегубка, о которой говорили ей в тюрьме. А зачем здесь одна скамейка с углублением с одной стороны? Так это, видно, на ней гитлеровские мародеры вынимают у мертвых изо рта золото? Оксану заколотило в страхе, и она подалась навстречу толпе идущих сюда раздетых женщин.

Нелегко ей было выбраться снова в раздевалку. Инна звала ее к себе, приткнувшись у стенки «душевой». А мать ее, махая култей, кликала их обеих на скамейку. Два маленьких грека, увидев Оксану, тоже потянулись к ней. Белоснежная кожа опять заморозила их. Дети дергали ее за длинные косы, прыгали, что-то ворковали по-своему, смеялись. Оксана присела, обняла их крепко. «Бог мой! Неужели вы должны умереть сейчас? Пошли, пошли со мной... Инна, где ты? Иди ко мне! Скорее, Иночка...» Оксана кричала что есть силы, но ее голос терялся в шуме и в непонятном клочкотании чужой для нее речи. Видя ее волнение, гречанки-еврейки переглянулись, отняли у нее своих детей, может быть, даже подумали что-то о ней дурное, и исчезли в «душевой»...

Оксане удалось выскользнуть из камеры в раздевалку. Тем временем эсэсовки с овчарками, наведя «порядок», смеясь уходили прочь. Оксана встала за бетонной колонной, чтобы ее не заметили. Но, поразмыслив, она решила спрятаться под лавку.

Там было много всякой одежды, и она опять приткнулась за колонной. Тут ее и увидел высокий, худой, бледнолицый эсэовец, который появился откуда-то с противоположной стороны.

— О! Какая белая! Кто ты? Там, где ты жила, солнца не бывает?

— Я — русская, точнее, украинка, — ответила охотно Оксана.

— А как в Грецию попала?

Оксана, смущенно закрывая грудь распутившимися косами, отвечала:

— Не, не. Я не была в Греции. Меня этапом этим попутно взяли на вокзале в городе Освенциме.

— А за что взяли?

— Просто привели меня туда из тюрьмы...

— Так, значит, твое место все-таки здесь, в Биркенау. — Он посмотрел на дверь «душевой», которая скрипуче автоматически захлопнулась, и недовольно двинул головой. Посмотрел на часы и поспешно принялся надевать длинные, по локоть, резиновые перчатки.

— Переводчик! — выкрикнул он тут же.

Мигом появился в полосатой одежде худошавый поляк.

— Непорядок тут у тебя! Она уже была в камере и выскочила оттуда. А загрузка сегодня последняя... Каждый раз, когда ты тут дежуришь, бывают такие штучки. Ты мне смотри!.. Присоедини ее к другому этапу. А сейчас вон отсюда! — Гитлеровца словно сдуло ветром, он побежал к служебной двери, поглядывая на часы.

Оксана все поняла и, не дожидаясь разъяснений переводчика, побежала к той скамейке, где только что раздевалась. Тут же принялась разыскивать свои вещички. Но здесь было такое нагромождение различных узелков, что ей никак не удавалось разыскать свою фуфайку, сандалии и платице. Тем более что на мгновение она так и замерла от неожиданности. Из «душевой» до нее донеслись стоны, плач, оханье и крики. Оксана прислушалась и распознала голос Инны. «Мамочка! Упрячь меня, я умираю...» — кричала она. И тут Оксана не сдержалась. Из глаз хлынули слезы, и она уже не видела ничего перед собою, даже переводчика...

Тот растерялся. Если сейчас узнает хоть один эсэсовец, что эта девчонка обо всем догадалась, ее отсюда живую не выпустят. Убьют сию же минуту. Медлить было нельзя. И он начал помогать искать девушке ее вещички, твердо наказывая не плакать, делать вид, что ничего не слышала. Иначе смерть! Но если она и сделает вид самым искусным образом, встреча тут с кем бы то ни было может стать для нее роковой. И переводчик приказал надеть первое попавшееся под руки платье, обуть любую



обувь и следовать за ним. Шумы, стон и крики в «душевой» то усиливались, то внезапно обрывисто стихали. Смертельный газ циклон Б, заброшенный сюда вместо воды через воронки и желоба эсэсовцем в черных перчатках, вступил в силу, и умерщвление людей приближалось к концу...

Переводчик толкнул Оксану к выходу и подвел к новому этапу полек и украинок из Закарпатья. Перед ними митинговал краснолицый, толстоплечий эсэсовец, жестикулируя руками. Оксана, все еще не придя в себя, не слышала, что он говорил, и только поняла, когда он, махнув рукой, приказал: «На санобработку!» Нестройные шеренги под команду капо зашагали к дезинфекционным камерам. Тут была настоящая лагерная баня. Здесь человека преображали: снимали с него волосы, вытатуировывали на руках номера — порядковое число поступившего в лагерь, выдавали серые тюремные мешковатые платья в широкую синюю полосу.

Во дворе дезинфекционной камеры стояло много столов, у которых сидело по две немки. Криком они подзывали к себе очередную новенькую. Приказывали наголо раздеться, чтобы «обработку» начать с головы и до ног...

Оксана была потрясена. Раздетая, она стояла вблизи столов и не решалась сдвинуться с места. Одна из лагерных «представительниц» с зеленым треугольником схватила ее за волосы и поволокла на круг. Затем громко ахнула, загоготала что есть силы, повернула к себе спиной, и... две Оксанины косы в одно мгновение уже лежали на земле. Потом машинкой «зеленая» \* сняла все волосы с головы и толкнула девушку в очередь к первому столу. Там бесцеремонно схватили ее левую руку, зажали запястье, и на ее коже стали проступать номера. Сначала Ч, затем 0, затем 5, 1 и снова Ч. Ч051Ч — таково теперь было ее имя, ее фамилия и все, что осталось от человеческой принадлежности... Снова и снова по этим номерам взад-вперед бегала ручка-игла, и казалось, каждый укол был в самое сердце... Никогда еще Оксана не испытывала такой боли. Не то что сам процесс был мучителен, но почувствовала она в эту минуту, будто отняли у нее всю жизнь, всякие светлые надежды... Умерли для нее подруги, Вася и все друзья... Она клейменная... И жизнь для нее навсегда искалеченная. Да и все ли поймут правильно, что ее клеймили фашисты? Ведь клеймят себя татуировками самые

---

\* Заключенные, отбывавшие наказание за проституцию, убийство, воровство, мошенничество и т. д. В последние годы на них надели эсэсовскую форму, и они были пособниками эсэсовцев.

плохие люди на свете. Это ей кто-то сказал еще в школе, говорил ей об этом и учитель Медеренко, и ее подружки. Ну парень еще — так себе, но как она, девушка, вернется домой с этой омерзительной метой?.. Комок подступил к горлу, хлынули слезы, и Оксана рванула свою руку из рук палачки. От толчка пошатнулся стол. Ее трижды кнутом ударили по спине, всучили полосатую мешковину, в которую были заделаны рукава, дали иглу с ниткой и приказали нашить заготовленный заранее номер Ч051С. Рядом с номером приштамповали красный треугольник — что значило политическая заключенная, а на нем — букву «R» — русская, и вместе с первой партией уже «обработанных» отправили в карантинный блок.

Так началось исполнение приговора, вынесенного ей в Катовицах: «Пожизненное заключение в Освенциме...» «Сколько может продлиться жизнь в этом аду...» — думала Оксана, лежа уже на нарах, в карантинном блоке, слушая заклинания, нецензурщину от блоковой, которая носилась между нарами с палкой.

Перед глазами стояли вышки вокруг лагеря, двойная колючая проволока с током высокого напряжения, усиленная охрана, капо с дубинками, виселицы, крематории и ревиры, где не только лечат, но, говорят, в каком-то «десятом» делают опыты над людьми... Бежать отсюда невысказанно. И потом номер на руке... Вчера вечером какая-то полька рассказала, как нашли по номерам двоих под Берлином и привезли обратно сюда. Публично казнили... Если бы это было так просто, бежали бы все. И все же, если бы не это клеймо... Как это делалось? Две тонкие иголки, спаренные, макали в густую тушь, натягивали кожу и по заранее написанной химическим карандашом цифре с силой кололи. Зачем это врезалось в память? Как зачем? Ведь это была ее казнь... Да, иначе это не назовешь.

Нужно было иметь невероятно большой запас сил, здоровья и энергии, чтобы выжить мучительные дни карантина. К концу двадцатипятидневки таких счастливиц оставалось мало. Большую часть, потерявшую силы, отбирали в часы апелляции \* или в дни селекций в газовые печи.

Оксанин карантин тоже не прошел благополучно. Она заболела тифом и боялась сказать об этом старшей по блоку или хотя бы по штубе. Выходила вместе со всеми на утреннюю и вечернюю проверки, выносила параши, когда ее заставляли, уби-

---

\* Аппель — проверка, длившаяся весьма долго, в зависимости от настроения эсэсовцев.

рала в блоке, подбирала трупы на нарах и выносила их на проверку перед блоком вместе с живыми... А когда однажды она на нарах нашла мертвую пани Ванду, с которой вместе прибыла сюда и которая, полюбив Оксанку как родную дочь, всегда обнадёживала ее, что она еще все переживет и выйдет на волю и расскажет обо всем людям, Оксана не выдержала. Давно подбиравшаяся к ней болезнь свалила ее. С температурой сорок ее отправили в блок для тифозных. Оттуда путь был чаще всего в крематорий...

Оксана знала об этом, и, когда к ней возвращалось сознание, она уже ни о чем не жалела...

Оксана лежала в самом конце блока, за печкой. Услышав однажды чьи-то шаги, она натянула на себя байковое грязное одеяльце и прижалась к доскам. Шаги были торопливые и по мере приближения затихали. У изголовья Оксаны послышались на немецком языке голоса:

— До обхода осталось мало времени.

— Мы должны успеть...

Над Оксаной склонились три женщины. Одна слушала пульс, другая осматривала ее тело, третья сунула под одеяльце шоколадку и коржик.

— Третьи сутки не ест. Температура сорок с лишним. По нашим сведениям, дважды на ногах перенесла тиф. Это третий. Сердце крепкое и нервы тоже. Не плачет. Когда приходит в сознание, улыбается.

— Немедленно жаропонижающее. Введите глюкозу и сделайте подкожную сыворотку. А я подготовлю больную, как надо себя вести, когда придут сюда врачи-эсэсовцы. Кстати, с ампулами глюкозы и сыворотки обращайтесь осторожно. Они изъяты из эсэсовской аптеки. Для заключенных такие медикаменты не предназначаются.

Они разговаривали между собой полушепотом и по-немецки. Оксана, став свидетельницей разговора этих трех женщин, хлопотавших вокруг нее, нанизывала в своей памяти слово за словом. И постепенно ею овладевало чувство веры в себя, в незнакомых людей, которые заботились о ней. Оксана подвинулась ближе к краю нар, чтобы все расслышать, что скажет сейчас ей седая красивая немка в белом халате — политическая заключенная, как она разгадала по треугольнику и букве на нем.

— Девочка, как себя чувствуешь? — погладила седая Оксану по голове. Говорила она по-русски, но очень медленно.

Оксана даже растерялась. Она не ожидала здесь среди не-

мок, ходивших с палками и овчарками, встретить вот такую. Она как-то сомнительно двинула плечами и головой.

— Меня зовут Эмма. И ты не бойся меня. Я бить тебя не буду, я, — она помолчала, — другая немка... Так как себя чувствуешь?

— Я не могу объяснить. Первый раз в жизни так сильно болею. Ну, вот как поднимаю голову и встаю, то вместо одного окна вижу десять и больше, а потом все сливается, и я валяюсь...

— Плохо! — ответила Эмма. — Всего этого не рассказывай «большим» врачам. Ты поняла? А как начнется обход, незаметно потри щеки и больше улыбайся. Сейчас мы тебе сделаем иголками немного больно. Потерпи. Зато тебе сразу станет лучше. Только не говори об этом никому ни слова и в том реви́ре, куда мы тебя переведем. Дана! Скорее же! — сказала она другой женщине, которая и без того уже торопилась с наполненными шприцами.

Оксана повернулась на бок, и смуглолицая Дана тихо кольнула ее в ягодицу. Затем сунула Оксане в рот таблетку и подала глоток воды.

— Холодно? Дам еще одно одеяльце, — шепнула она, близко наклонясь к Оксаниному лицу. — И надо кушать все, что я тебе дала. Шоколадку съела?

— Да. Спасибо. — Оксана догадалась, что Дана была чешка или югославка, судя по ее выговору, а желтая шестигранная звезда на рукаве указывала, что она и еврейка.

Разговор на этом оборвался, потому что кто-то у входа польски и по-немецки крикнул:

— Внимание, живые! Поправьте одеяла! Эсэсовцы идут сюда!

Эмма крепко сжала Оксанино плечико и, не сказав ни слова, ушла.

Холеный, высокий, с красивым лицом доктор Мандере, в сияюще-белом, наглаженном халате, как вихрь, появился в реви́ре. В трех шагах от больной он делал заключения. Взмахом руки и тыканьем пальца он выносил решение: «газ», «газ», «газ»... Делал он это с пафосом, чтобы все видели: он — представитель комиссии для селекций, и у него есть право отбирать заключенных для отправки в крематории.

Оксана натирала щеки. Теперь ей уже не было безразлично: будет ли она жить или ей предстоит умереть. Должна жить и бороться! Она убедилась, что, кроме палачей и смерти, есть здесь и борцы. Она вспомнила слова Бруна: «Там главное —

осторожность и силы... И все еще может измениться». Неужели из этого ада можно вернуться к жизни? А вдруг? Ведь борются же почему-то эти женщины за жизни узников? Видно, не зря. А иначе зачем им было бы нужно такое рискованное занятие?»

За Мандере шла третья женщина, которая только что была возле нее. Как поняла Оксана, эта чешка — старший врач в этом блоке из числа заключенных. Шли за ним еще две эсэсовки и капо с дощечкой и карандашом. Капо вместе с Мандере и распоряжались жизнью и смертью заключенных. Мандере приказывал, она записывала и проверяла исполнение. Дана, стоявшая рядом, записывала то, что Мандере предлагал по медицинской части. Ведь она медицинская сестра этого блока.

Когда Мандере зашел за печку, где лежала Оксана, Дана объявила:

— Здесь уже все мертвые, за исключением этой, русской...

Оксана даже вздрогнула. «Так это я с самой ночи лежу одна среди мертвых? Вот почему сопротивленки не боялись свободно разговаривать. Суший ад!.. Ничего не поймешь...»

Но и в сторону уже мертвых узниц Мандере по привычке продолжал тыкать: «газ», «газ», «газ»... Капо со спинки нар списывала номера мертвых.

Мандере посмотрел в лицо Оксаны и зло произнес:

— Россия?

— Да, она русская, — ответила чешка. — Поправляется... — Мандере посмотрел на сопровождавших его, уставился на Данину шестиконечную звезду, будто заметил ее впервые, потом на Оксану и твердо произнес:

— Газ!

Оксана так и замерла. Чешка-врач удивленно посмотрела и попыталась возразить:

— Она же поправляется. У нас и так не хватает здоровых людей для производства. А эта русская очень крепкая. Ни одна больная еще не перенесла на ногах дважды тиф.

— Газ, газ, юда, — ткнул он пальцем совсем неожиданно на Дану. — Я о ней говорю с самого начала. Евреи в Освенциме имеют право прожить не более двух недель! А она у вас хозяйничает уже около года. Чем она лучше других? Газ! Сегодня же!

Капо записала на дощечку номер Даны. Мандере и все его сопровождавшие вихрем унеслись из блока...

Врач-чешка растерянно ходила по блоку. Потом она распорядилась санитаркам уносить трупы, подошла к Оксане и ласково сказала:

— «Россия» наша. Испугалась! Не бойся. Сейчас переведем тебя в ревир, там скорее поправишься. Мы многих спасли, не дадим и тебе умереть. — На глазах у нее были слезы. Она смотрела то на Оксану, то на Дану, которая стояла у окна с поникшей головой, но не плакала. Дана еще нашла в себе силы сказать:

— Милла! Уносите ее поскорее отсюда, а то палач пере-  
думает.

Дана подошла к Оксане.

— Я хочу с тобой проститься, девочка! Ты выживешь! И ваши победят! Расскажи все, как было!.. — Она наклонилась к Оксане, чтобы поцеловать ее. Та не сдержалась, ухватила ее за шею обеими руками и громко, изо всех сил рыдая, кричала:

— Не умирай, Дана, не умирай! Спасите ее, пожалуйста, может, сумеете? — схватила она другой рукой врача Миллу. — Не умирай, Да-на, — продолжала плакать Оксана, но уже недолго. Она еще что-то бредила, звала мать, отца, опять Дану, опять врачей, а температура приближалась к сорока одному градусу... Постепенно она стихла в объятиях Даны, уже потеряв сознание...

Прошло всего две недели, и, как говорят, здоровому телу нужен здоровый дух, и всякая болезнь сама покинет его. Несколькими вливаниями глюкозы и подкожной сыворотки помогли Оксане. Вскоре она уже сама садилась на нарах. Да и друзья не дали ей зачахнуть. Навещали Оксану в этом реви́ре и немецкая врач Эмма, и чешка Милла, и друзья пани Ванды, а тут еще вдобавок встрети́лась со своей односельчанкой Марией Кондратюк. Работала она на этом реви́ре санитаркой, а иногда подменяла и медсестру. И появившись одна секунда свободная, она спешила к Оксане. Возраст хоть у них и был разный, та была старше лет на шесть, но как-никак учились в одной школе, и вспомнить свою Вишневку для них было единственной тут отрадой. Мария попала сюда за побег от своего хозяина-фабриканта из-под Берлина. Оксана продолжала, как и на суде, говорить, что подозревали ее в хищении секретного альбома, но она его не брала. Не то что она не доверяла Марии, а просто лишний свидетель был пока что ни к чему. Так предчувствия ей диктовали.

Перед самой выпиской ее вновь навестила врач-чешка Милла.

— «Россия»! Мы познакомились в конторе с бумагой, с которой тебя прислало сюда гестапо, и сделали вывод, что тебе можно довериться. Будешь нам помогать?

— А что от меня требуется? Я... я сейчас же...

— Да это не сейчас, — засмеялась чешка, — и горячиться тоже не надо. Тут нужно работать очень осторожно. Гитлеровцы в каждый блок, в каждую бригаду подсылают своих людей. Их цель — обезвредить лагерь, убить всех активистов и патриотов. Поэтому на легкую дружбу не поддавайся. Ни об одном уколе и вливаниях тоже не проговоришься. Такое лекарство нам не дается. Подруг выбирай осторожно. Эммы не бойся. Она свой человек, коммунистка. Так вот легкое тебе пока поручение, но очень важное. Мы сделали все, чтобы тебя перевели в рабочий лагерь Б. Это самое лучшее, что здесь может быть. Работать придется тяжело, далеко ходить. Но зато утром рано уйдешь и вернешься поздно вечером. Не будешь видеть эти кошмары, казни, избежишь встреч с палачами, которые даже над детьми умудряются делать всякого рода опыты. Тебя это не коснется. Не бойся. Старайся только не заболеть, чтобы всегда выходить за зону. Там чистый воздух, нет дымов крематория, а это уже здоровье! Теперь насчет моего поручения. Возьми эти две пачки витаминов и таблетки от дизентерии. Сейчас ею страдают все. Умышленно на лагерь пустили загрязненную воду из болота. Надо, чтобы инфекционные больные в рефир не попали, их могут умертвить инъекциями яда. Будем помогать им и спасать, пока они еще на ногах...

Так вот, это лекарство и витамины завтра же в своей бригаде — наверное, удобнее всего в суматохе в обеденный перерыв — осторожно раздай всем вашим, русским. Почему вашим? Многие другие получают посылки, и у них лекарство есть. Вынести из лагеря это будет трудно. Тут всегда бывают обыски. Поэтому сегодня же, как только получишь платье, подпори подпушку и размести его там. А на работе постепенно будешь вынимать. На случай провала — нашла тут на полу, в рефире, когда болела. Если я срочно понадобится, сообщи через Марию или постарайся повидать меня сама. Я буду бывать в вашем лагере в субботние дни перед отбоем. А как только у меня будут снова поручения, я сама тебя найду. Пришлю лекарство через кого-то — знай, что с ним делать. Для своей бригады! На остальных участках и блоках будут обеспечивать другие. И еще — это уже для тебя лично. Ты хорошо выглядишь, не истощенная, как остальные. Не попадайся эсэсовкам на глаза. Кому завидуют, в тех они стреляют или до-

ведут до «скелета» работой и издевательствами. Они же все выродки!

Оксана от всего сердца поблагодарила чешку за такое человеческое поручение, за советы и попросила у нее разрешения как-то называть ее по-другому. Просто «Милла» она не может, не ровня же она ей.

— О моя хорошая девочка, ну зови меня «доктор Милла». Нравится так?

— Да. Лучше... — засмеялась Оксана. — Благодарю вас, доктор Милла, за все. А то уж я была в отчаянии. В таком аду без родителей и друзей, вдали от Родины — тяжелее, чем смерть сразу...

— Да, Освенцим — это не санаторий. Хозяева и сами этого не скрывают. Каждого новичка при первой встрече подготавливают к смерти, да и люди сами видят, что другого выхода тут не бывает. И все же бороться за жизни мы будем до последнего вдоха!

Оксана помолчала. У нее еще не было оснований что-либо сказать на этот счет.

— Скажите, доктор Милла, а Дану и правда?..

— До газа дело не дошло, она отравилась ядом... сама.

Они погрузили по Дане...

В лагере Б Оксану ждал восьмой блок, вторая штаба\*, верхняя полка нар. А с завтрашнего дня и двадцатая бригада.

По дороге из ревира Оксана нашла осколочек зеркала и крепко зажала в руке. Ей не терпелось увидеть себя, свою безволосую голову с пожелтевшей тряпицей на голове. Все, кого она видела сама, были просто-напросто уродливы. Только Мария, Эмма и доктор Милла были красивы. Волосы у них несколько отросли и выглядели из-под аккуратно повязанных косынок естественно, будто специально задумана короткая прическа. Как только Оксана уселась на свои нары, припрятала в уголок лекарства, данные ей доктором Миллой, и посмотрелась в зеркало. Первое впечатление сразило ее: без волос она совсем не была похожа на себя. Лицо бледное и некрасивое. Губы и формой и цветом изменились. То ли трещины от недавнего перенесенного жара их растянули, то ли сами по себе они теперь стали другими. «Неужели я такая останусь?» — не могла она удержать своих волнений. Даже устыдилась того, что красивая доктор Милла называла ее «цветущей». Но, увидя рядом поднимающуюся на нары узницу, у которой вместо ног—

---

\* Штаба — комната.



палки, вместо рук — тросточки, по глазам молодая, но вид старушечий, Оксана подумала: «Конечно, я еще не такая... Но, видно, хватит и моей молодости тут ненадолго».

У входа послышался голос блоковой.

— Номер 40514 в политуправление лагеря!

Оксана сначала не поверила, решила — ослышалась, но блоковая продолжала вопить. Ноги от страха будто потеряли упругость, и девушка поплелась между рядами нар. «Зачем? — думала она. — Арестовали Женю, и он все рассказал? Приговор исполнят немедленно?..» Все равно она не отступится. Скажет, не знала этого человека. Он придумал.

Идти было неблизко. А колодки то ли не по размеру, то ли от непривычки сваливались. Мелкие камни и песок резали пальцы. Но Оксана торопилась за блоковой, боясь хоть на шаг отстать. Как только ее шаги до той доносились тише, она мигом поворачивалась, и дубинка уже была наготове...

В канцелярии политического отделения — лагерного гестапо — былолюдно. Правда, никто на Оксану не обращал внимания, все куда-то торопились. Только один, кто-то назвал его по имени Отто, с подвязанной к шее левой рукой на бинте — видно, только что прибыл с Восточного фронта — подозрительно посмотрел на Оксанину нагрудную «паспортину» и спросил у нее:

— Кто живет у тебя в Варшаве?

Оксана пожалала плечами.

— Никто. Я русская, — показала она пальцем на свой индекс с номером.

— Могла бы и не стараться. Вижу сам по твоему лицу. Давно здесь?

— Месяц и десять дней.

— Кому-нибудь сообщала, что ты еще жива?..

— Не, не. Я лежала в ревире.

— Значит, сами догадались, что больна? Поддержать захотели...

— Я ничего не понимаю, — испуганно проговорила Оксана. Беседовали они с помощью переводчицы.

— Внесите посылку, Хассе, — обратился Отто к надзирательнице с мужицким, грубым лицом.

Та внесла раскрытый ящик, в котором было все разворочено.

— Посылки без номера больше вручать не будем. Мы хотели ее отправить обратно, но на ней нет адреса отправителя, кроме штампа, что вышла она из Варшавы. Запомни. Фамилии тут у тебя нет, и мы не обязаны переворачивать всю картотеку,

чтобы найти тебя. У тебя есть номер и лагерь. Это все! Что было в посылке лишнее, мы аннулировали. Разрешается понемногу, только по двести граммов всего. Бери и уходи! — отчеканил Отто.

Но сам продолжал смотреть на Оксану. А когда она направилась к двери, обняв ящикек, он сказал, уже глядя не на переводчицу, а на Хассе:

— В таком одеянии, а голосок бархатный.

Хассе что-то зло буркнула в ответ ему пропитым басом и захлопнула за Оксаной дверь.

40514 в сопровождении блоковой снова возвращалась в свой лагерь Б.

Оксана недоумевала. Правда, когда речь зашла о посылке, она подумала: «Опять Женя и его польские друзья». Но как они ее нашли? Прислали наугад?.. А впрочем, приговор-то Же-не известен. Были же на суде заводские люди.

Девушка с ящичком взобралась на третью полку нар. В блоке никого не было. Бригада находилась сейчас за зоной. Оксана принялась за содержимое посылки. Прислали ей, как и прошлый раз в тюрьму, все вкусное. Только всего досталось в мизерных долях. От банки с медом остались на стенке только сладкие следы, видно, изъята была и колбаса, потому что колбасой пахло, а ее не было. Сахар, масло и сухари лежали сверху, внизу — печенье, пирожки с мясом и две копченые рыбины.

Проголодавшаяся Оксана ела все подряд. Решила, что незачем и все это «дробить» к ужину, чего доброго; еще стащат, да и хранить негде, она со всем расправилась одним махом. «Раз — да досыта!» — подумала она, закусывая четырьмя конфетами, найденными на дне ящика. Но все же хотелось знать ей: это Женя не забыл ее, как и обещал, или Валя Орленко? Записки не нашла. «Значит, лагерное гестапо вынуло для «изучения»?» — заволновалась девушка. Не могло быть, чтобы те, о ком она думает, не черкнули ей ни слова. И вдруг, подняв газету со дна ящика, она рассмотрела прямо на доньшке чуть заметно, карандашом, незнакомым почерком написанные слова. «Оксанка! Жива ли ты — мы не знаем. Не очень весело мы будем отмечать твой день рождения — третьего мая! Если жива, прислушайся... Может, услышишь?»

Оксана огорчилась: все перепутано. Во-первых, день ее рождения не третьего мая, а третьего июня. Во-вторых, посылка опоздала. По ее предположениям, этот день уже позади. Точное число, дату и день в Освенциме мало кто помнил. Особенно

при такой ситуации, как у Оксаны. В беспамятстве была почти больше недели. А потом, что ни день — новые потрясения. Она спустилась с нар и подошла к блоковой.

— Какое сегодня число? — с опаской глядя на ее дубинку, спросила Оксана. Она говорила по-немецки, потому что та была немка.

— А черт его знает. Я за вас все должна помнить? Вы только со свободы, а я десять лет по тюрьмам. Кажется, второй день на май...

Да, да, она вспомнила. Сегодня второе мая. Ведь вчера Мария в реви́ре ей сказала, что на душе у нее очень тоскливо. Ведь дома наверняка празднуют Первое мая, а они в беспросветном заточении, и каждый день их приближает к смерти...

Оксана поблагодарила блоковую и сказала, что она не ошиблась.

Остальное время до вечерней проверки Оксана подпарывала подпушку и аккуратно размещала в ней аптечные упаковки с таблетками от дизентерии. Витамины пронесет под косынкой на голове. Повяжет, как все врачи, с напуском на затылке. Гитлеровцы же требовали, чтобы голова всегда была в порядке. Может, и не станут шарить по ней. А потом витамины она могла получить и в посылке.

...Снова проверка, ночь, рассвет, подъем, проверка, скудный завтрак и длинный, утомительный путь на работу.

С обыском обошлось все благополучно. И на отдаленном участке фирмы Круппа двадцатая принялась за переноску и укладку рельсов. Было трудно. После болезни Оксана еще не окрепла. Но, хорошо помня слова доктора Миллы: «За зоной чище воздух — это уже здоровье», — она крепилась. Действительно, воздух тут был чист, лагерь «Биркенау» остался далеко-далеко. Но ей показалось, что находится она где-то совсем близко от ЛП-17 и от рабочего лагеря, где содержатся ее землячки. Но о том, что те фермы, которые она сейчас видела и которые находились от нее не больше как в пятнадцати-двадцати километрах, и были фермы того военного завода, за который она приговорена к смертной казни, она твердо еще не знала. Трудно ведь сориентироваться, когда впервые попадаешь в незнакомую местность, да еще при таких условиях, что и всмотреться, поразмыслить не позволено.

...«Сегодня третье мая — день рождения». Как мог ошибиться Женья, когда она несколько раз ему повторила, когда он спросил, что день рождения у нее в начале июня. А если кто

другой прислал ей эту посылку, то о дне рождения мог бы и не напоминать. За свою горькую судьбу она не благодарна этому дню...

Время близилось к обеду. Совсем неожиданно для всех в разных местах завывла воздушная сирена, и старший надзиратель оповестил охрану: «Тревога!» Те растерялись и не знали, как быть. Держать курс на Биркенау — это двенадцать километров. Тем более что очень скоро послышался глухой рев самолетов. Их было так много и они были так тяжело нагружены, что, казалось, сама земля стонала от того, что предстоит ей сейчас вынести. Узникам приказали следовать на отдаленную поляну.

Словно ласточки из-за Бескид, вынырнули самолеты. Они постепенно становились крупнее, ярче, светлее. И будто по команде, одновременно и вместе с тем чуть раздельно разорвалось сразу много бомб. Земля вздрогнула и, казалось, сейчас расколется и откажется держать на себе этот груз: людей, горы, бомбы и жизнь.

Узники радовались, охранники взяли наизготовку автоматы. Оксана, пользуясь случаем, вынув из подпушки медикаменты, наделала больных и слабых таблетками и витаминами.

— Три раза в день до еды! — строго наказывала она.

Кто-то в шутку ее назвал «маленьким бригадным доктором».

Земля продолжала грохотать, и, казалось, уже горели и Карпаты. Ферм тех не было видно, а на их месте образовались горящие облака. Будто там сводили счет земля и небо.

Но вот к поляне, где под конвоем стояла двадцатая бригада узников Освенцима, на мотоцикле подъехал штатский человек, служащий фермы, на которой они сейчас работали. Он подошел к себе старшего конвоира и сказал:

— Уводите заключенных в лагерь! Русские вдребезги разбили Семнадцатый на ЛП. Возможно, это коснется и нас. Немедленно отсюда убирайтесь!

Все строились. Только Оксана не могла сдвинуться с места. Она едва верила своим ушам. «Неужели, неужели правда?» И снова перед глазами: суд, завод, инженер, Женя. Серый альбом... Серый альбом, который был нужен советским летчикам. Женя тогда сказал еще: «Родине...»

Оксана облегченно вздохнула. «Так вот какой у меня день рождения — третьего мая...»

Более счастливого дня в своей жизни она еще не знала.

### «РОССИЯ»

Близ металлических ворот, чуть в стороне от мостовой, выложенной серым булыжником, разноцветным ковром полыхала клумба. У клумбы развлекались эсэсовцы.

...А мимо гитлеровцев брели узники лагеря смерти «Освенцим». Оксана — в предпоследней пятерке.

Деревянные колодки то и дело сваливались с ног. Сил было мало. И все же она подняла голову и взглянула на клумбу.

И тотчас же высокий напомаженный эсэсовец зло крикнул:

— Не для тебя эти цветы, проклятая «Россия»! — и полоснул кнутом по ее плечу.

С первых дней в лагере кто-то из фашистов дал Оксане кличку «Россия». Так она и прижилась. Не подозревали палачи, что именем «Россия» еще раньше девушку называли ее друзья и друзья ее страны.

И сейчас, чуть замедлив шаг, поравнялась с Крепиной высокая, круглолицая, с оспинками на лице девушка лет двадцати пяти и прошептала:

— Крепись! Ты же наша «Россия».

Голубые глаза девушки внимательно и ласково изучали Оксану. Та кивнула головой, потом сказала:

— А ведь я украинка...

— Это неважно. Суть в том, что ты вполне оправдываешь эту кличку. У тебя типично русское лицо. Хорошо, что ты такая именно, наша «Россия»... — Ирина обняла девушку за талию и крепко прижала к себе. — Ты еще будешь счастлива, ты все переживешь. У тебя хватит сил... — подбадривала Оксану Ирина. — Ты комсомолка?

— С довоенным трехмесячным стажем...

— А билет где?

— Зарыла в клуне. В подполе. У себя дома.

В строю нельзя было разговаривать, и старшая надзирательница Хассе, услышав шепот, резко обернулась:

— Ду, зобака! Руе! — и ткнула палкой в спину Крепиной.

Пройдено шесть километров, и столько же оставалось впереди. Ирина вновь не выдержала и зло сказала:

— Эх и здорово же дали мы фрицам под Москвой! Им еще тогда наступил капут. Зря они хорохорятся. В отместку свое зло на нас вымещают. Но мы выдержим!

На стройке они работали рядом. Ирина помогала Ок-

сане долбить киркой сухую, каменистую землю и грузить в вагонетки. Потом они вместе толкали вагончик к строящемуся цеху.

В обеденный перерыв Ирина достала лишнюю порцию брюквенного супа и принесла ее Крепиной.

— Кушай! Ты еще растешь, а мне можно и потерпеть.

Они сидели вместе. Ирина вспоминала родное Подмосковье, площади и улицы Москвы, шумные вокзалы...

Как-то в короткую минуту отдыха к ним подошла немецкая узница Ольга. У нее на груди был нашит красный треугольник: политическая. Она сунула Оксане в руку обрывок советской газеты и прошептала на ухо:

— Я слышала, ты переводить умеешь. Прочти, что написано.

— Здесь читать нельзя! — ответила Оксана, искоса посмотрев на эсэсовцев, и спрятала газету в рукав. — Вечером... блок восьмой.

— Тогда прочти вот это. Только все до единого слова, — и Ольга подала Крепиной листок из тетради, на котором порусски размашистым почерком было написано: *«Ранен. Сам писать не могу. Диктую. Мама! Я дошел до Москвы, чтобы отомстить за тебя...*

*Всегда твой Курт».*

Как только Ирина услышала имя «Курт», она насторожилась и бросила взгляд на седую, с изборожденным морщинами лицом Ольгу и взволнованно спросила:

— Сколько лет вы уже скитаетесь по тюрьмам?

— Меня с мужем арестовали еще в тридцать третьем, сразу после прихода Гитлера к власти. Муж вскоре умер... А я вот все еще никак... Хочется жить ради Курта. Он рос один, без нас.

На глазах Ольги показались слезы. Она вынула из потайного кармана медальон, что заделан был в ее рукаве под мышкой, бережно открыла его. С крохотной фотографии на них смотрели грустные глаза подростка.

Ирина резко встала, снова села. Правая щека ее дергалась.

— Он дошел до Москвы... — сказала Ирина Ольге, но договорить не успела — раздался окрик:

— Ольга! Работать, холлера!

Это был голос старшего охранника. Рядом с ним стояла Мирта, немка, отбывавшая наказание за убийство. Она была бригадиром. Ольга быстро пошла в сторону.

— Мне надо с вами поговорить, Ольга, — сказала ей вслед Ирина. Но та не обернулась. Видимо, не расслышала.

Вечером они возвратились в лагерь Б, на Биркенау. Снова

их встретили эсэсовцы, снова они маршировали под звуки лагерного оркестра, выстукивая колодками в такт музыке. Две виселицы были увешаны несчастными узниками. А у стены смерти стояло еще шесть женщин. Они в чем-то провинились днем и теперь ждали своей страшной участи.

Из труб крематория тянулся черный шлейф дыма от сожженных людей. Над крышами блоков кружили раскормленные черные вороны.

Ирина тяжело вздохнула и хрипло произнесла:

— Могла ли я думать в те радостные дни у кремлевских стен, когда мы праздновали победу над фашистами под Москвой, что все это случится со мной? Или уже потом, когда с Одесской базы я с подругами совершала удачные вылеты?

— А как же это случилось? — робко спросила Оксана.

— Забросили нас в тыл к гитлеровцам, там меня ранило. Фашисты схватили, обезоружили и бросили в телячий вагон... Остановка «Освенцим»...

Мимо них пронесся сутулый охранник, догоняя надзирательницу Хассе.

— Проклятые смертоносцы! — гневно прошептала Ирина и пошла к больничным блокам.

Только спусть несколько







дней после поверки и ужина удалось Ирине посидеть с Оксаной, и она рассказала о себе.

До войны Ирина была студенткой. Увлекалась авиацией, училась водить самолет, прыгать с парашютом. Осенью сорок первого года добровольно ушла в армию. Ее зачислили в группу по уничтожению связи. Во время выполнения задания она попала под вражеский обстрел. Ирина припала к земле и ползком добралась к обледенелой иве. И тут из-за кустов прямо на нее выскочил немецкий солдат. И вместо того чтобы выстрелить в нее, представился: «Меня зовут Курт».

Он показал Ирине, как выйти к своим. Но девушка все время была настороже, готовая выстрелить в любую минуту в этого странного солдата. Он почувствовал недоверие и неожиданно запел «Интернационал» — пароль всех коммунистов мира. И тогда Ирина встала и пошла по просеке туда, куда указал солдат. Курт догнал Ирину и сказал, что к завтрашнему дню он добудет важные сведения и передаст их ей у этой же ивы. И еще он сказал ей, что хочет навсегда порвать с фашистами. Но утром эсэсовцы поймали Курта с секретными документами и повесили...

— Курта я узнала сразу по фотографии, которую нам показывала Ольга, — с грустью закончила тогда свой рассказ Ирина, — но не решилась сказать ей. Ведь у нее туберкулез, и я не хотела приблизить ее смерть. Но вчера она умерла... Умерла, так ничего и не узнав о судьбе своего сына.

## Глава 11

### ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Весна прошла, и в разгар лета тут, как и в России, пахло полынью и листьями клена. Этот запах напоминал далекий дом, где под окнами хаты растут крыжовник и клубника, а вокруг всего двора белым цветом усеяны многолетние акации. И песок тут такой же крупный, зернистый, как на Украине.

И луна такая точно, как и в России. И деревья здесь такие же высокие и так же пахнут смолой и хвоей. Но больше ничего нет похожего на то далекое и такое близкое...

Их «горизонт» — проволочное ограждение, а также контора, в которой днем и ночью обитает администрация лагеря. Нередко до самого рассвета тут просиживают оберлагерфюрер (фа-

милию его упорно скрывают от заключенных) и его заместитель — старшая надзирательница Мария Кун. Сходятся сюда и охранники, и шефы колонн, и караульные стрелки. Место сборища гестаповской команды лагеря «Бабицы» охраняется длительно. У входа стоят дежурные солдаты, проверяя у каждого пропуск или соответствующий документ. Окна затянуты густыми толстыми решетками и чаще всего наглухо зашторены белыми шелковыми полотнищами.

Здание это — бывшая школа польской деревушки Бабицы. Теперь она разделена на два мира и два лагеря. С парадной стороны, где раньше была директорская и прочие школьные кабинеты, висит у входа свастика. Тут обитают эсэсовцы. Вход со двора через густую колючую прсволоку с током высокого напряжения — это для узниц. Через десять метров — вышки, на них — дула автоматов, нацеленные прямехонько на окна бывших классов. Теперь тут на трехъярусных нарах по три человека ютятся узницы концерна «Освенцим». Правда, на этих нарах они находятся по три-четыре часа в сутки. Остальное время — в поле.

Из Биркенау сюда были присланы двести самых крепких, самых здоровых русских девушек. С ними Оксана и Ирина. Из других национальностей только две польки — Зося и Марыся. Они были очень похожи на русских девушек: такие же крепкие, несмотря на скудный лагерный паек и гитлеровский гнет. Марыся и Зося так «обрусели», что гитлеровцы не рисковали отделять их от русских.

Ночь. Всего только час назад был дан отбой. Все уснули. Июльский ветер свистел над железной крышей, и, несмотря на то, что у дымохода надорвавшаяся жесьть то и дело звенела, узницы спали крепким сном. Сегодня они дотемна копали картофельные грядки и почти до полуночи стояли на аппеле.

С парадной стороны, где разместилась канцелярия гитлеровцев, в этот поздний час с кнутом через плечо топала Мария Кун. Она осмотрела проволочный забор, уборную, пятнадцать вышек охранников, остановилась посреди двора, почесала затылок, потолковала со своей овчаркой, хлестнула по сапогам кнутом — делала она это очень часто — и задержала, наконец, свой взгляд на шалаше. Не задумываясь подошла к колоколу и уцепилась за конец подвешенного лома. Раздался мощный звон. Стрелки подхватились и припали глазами к мушкам автоматов. Во дворе было пусто и глухо, цель не попадалась на глазок, и кое-кто, различив во дворе Кун с овчаркой, зло зачертыхался...

Этой колокол извещал всегда об утреннем подъеме, о вечернем отбое, о выходе на поверку. О чем он извещал сейчас — никто не знал. Узницы, которые спали, а некоторые еще и не успели уснуть, насторожились. Что бы там ни было, это касалось их. Продолжать отдыхать они не имели права. Помаленьку начали одеваться.

— «Курочке» не спится (такую кличку дали девушки надзирательнице из-за маленького роста), — зло сказала Ирина, толкая в бок Оксану. — Поднимайся, а то эта стервоза забьет кнутом в постели. Коль ей не спится в такую поздноту, с ней не шутите.

Оксана потянулась, зевнула, ругнула надзирательницу, повязала косынку и не успела опустить с нар ноги, как увидела рядом с собой длинноухую «подругу» Кун. Овчарка нацелилась на Динину постель, схватила ее за подол платья и поволокла из штубы в одной тапочке\*.

— Придется босиком, — сказала Дина, не успев надеть тапку и не смея задерживаться.

— Вернись, обуйся. Мы тебя подождем с Ириной. Если Курочка будет бить, то троих сразу. Скорее уморится, — пошутила Оксана.

— И то верно. Подождем! — поддержала Ирина. Она почему-то всегда соглашалась с тем, что скажет Оксана.

Дина заскочила в штубу, обулась. Эсэсовка в суматохе ничего не поняла. Но на всякий случай закричала:

— Рузские холлеры, зобаки, раус!

Девушки побежали по лестнице вниз.

— Что мы будем делать в такую темень? За зону нас не поведут. Надо усиленный конвой. До Биркенау десять километров. Не станут же они оттуда вызывать...

— Станут, для палачей закон не писан. Главное — лишить нас покоя, — сказал кто-то из девушек.

— А может, за зону и не поведут? — сказала Оксана.

— Скорее всего, — ответила Ирина.

Узницы уже знали, как себя вести. Они выстроились перед школьным блоком по пять и, как по команде, повернули головы в сторону надзирательницы.

Та повела фонариком и отделила утолщенным концом дубинки одну пятерку от другой. Вдруг недосчиталась кого-то. Скомандовала псу: «Вперед!» Вскоре он выволок Марысю,

---

\* В Освенциме-Бабицах вместо деревянных колодок выдавали тапки. Так распорядился хозяин, на которого они работали.

проспавшую тревогу. Надзирательница стала ее бить и била, пока сама не выдохлась. Затем скомандовала всей бригаде: «Вперед!»

Потом Кун ринулась к двери шалаша, в левой половине которого от земли до верху лежало плотно спрессованное сухое сено, заготовленное на зиму. Теперь эсэсовка приказывала переложить эту скирду направо и точно так же.

— Но ведь это делали мужчины, мы не осилим, — сказал кто-то из женщин смешанным русско-немецким говором.

— Молчать! Работать! Зобаки! — кричала надзирательница. Она толкала по очереди девушек к куче огромных вил: «Шнэль! Шнэль! Дрек!»

Заключенные стали разрывать с трудом пласт за пластом, слой за слоем. А Курочка, одержимая злостью, приказывала каждой в отдельности брать охапку больше, толще и чаще...

— Не смотри на меня исподлобья! — уловила она взгляд Оксаны.

А девушка нарочно следила за надзирательницей, чтобы еще и еще раз поймать ее обезумевший взгляд, позлить это человекоподобное существо, которое невесть что может преподнести узницам и ей, которая стала номером 40514. Брала Оксана на вилы охапки сена такие, какие ей были под силу, а не «толще», «больше» и «чаще», как этого требовала надзирательница. Однако своенравную эсэсовку нельзя было обмануть. Она много раз уже пыталась опоясать кнутом ноги Оксаны. И все никак не удавалось ей это сделать. Девушка выставляла перед собой охапку сена, как щит, и смело дразнила палачку.

Курочка решила сорвать злость на голубоглазой Дине. Эта девушка, прозванная Ромашкой из-за круглого лица и торчащих в разные стороны коротких волосиков, нравилась одному из охранников — стрелков на вышке, и он нередко кидал ей яблоки. Кун выследила и чуть было не отправила девушку в крематорий, а на стрелка (он оказался словаком из Югославии) пожаловалась коменданту.

Надзирательница нацелилась плеткой на Дину. Та увернулась, надзирательница все же опоясала девушку плеткой, поднялся шум, кто-то замахнулся на надзирательницу вилами, она потянулась к тому месту, где должна висеть кобура с пистолетом, и, не обнаружив (забыла дома), с пеной на губах продолжала кричать. Тем временем Дина отбежала и крикнула:

— Скоро расплатишься перед Красной Армией!

Та плохо поняла сказанное, но два слова — «Красная Армия» — вызвали у нее ярость.

— Ах, доннерветтер, вы расшитываете встретить Роте Арме? Во! — показала она кукиш. Надзирательницу колотило будто в лихорадке. Мгновение она молчала, придумывая слова, какие были бы понятны и доступны этим нумерным рабам, и громко выпалила:

— Ха-ха-ха! Роте Арме ждут! Мы обратим вас прежде в кучу пепла!

Оксана перевела Ирине, что сказала надзирательница, и прошептала:

— Теперь ты понимаешь, что нужно немедленно отсюда бежать?

— Если бы это было так просто, деточка, — печально ответила Ирина.

Дина же на угрозы ауфзеерин таким же смешанным говором, какой могла понять и эсэсовка, отдельно проговорила:

— Не спишься тебе по ночам, бродишь по штубам, подслушиваешь разговоры, как бы не проспать... Когда придут наши, я тебя удушу сама, не дожидаясь приговора!

Но Кун то ли не поняла этой речи, то ли просто уже ничего не слышала. Она стояла будто вкопанная. Маленькие, всегда бегающие глаза-горошины стали стеклянно-неподвижными. Сняв с головы пилотку с эмблемой «череп с костями», Кун поправила на затылке пучок темных волос и, уходя из шалаша, буркнула: «Банда!»

В предрассветных сумерках ее серая эсэсовская форма сливалась с землей. Лицо выражало страх и грусть: «С запада бьют американцы, с востока — русские. Как быть?» Потом она с невыразимой добротой погладила свою подругу овчарку, и глаза ее нацелились в пробуждающееся небо. А оно было, как назло, черное, сумрачное, как и настроение ауфзеерин.

— Девушки! Курочка считает звезды! Отдыхайте, — крикнула Оксана.

Те громко засмеялись.

— А их нет, они под тучами! Вот ей сегодня не везет!

Две-три минуты узницы стояли молча. Тут и застал их утренний подъем. Надзирательница уже снова кричала:

— Рузкие рабы, шнель! Шнель!

Марыся посмотрела на нее, улыбнулась и по-польски сказала:

— Чем хуже, тем лучше...

После завтрака, состоявшего из кружки мутной похлебки и двухсот граммов хлеба, колонну принял шеф бригады по кличке, которую ему дали заключенные, «Козел».

Каждое утро Козел расписывался на дощечке, которую ему протягивала надзирательница, за двухсот узниц и до позднего вечера распоряжался их судьбой. Получая вечером заявку на работу, он вводил их на поля богатого нацистского банкира Морра на полный день. Правда, хозяин никогда не видел свою рабочую силу — заключенных, которых ему доброжелательно выделила администрация концерна «Освенцим». Однако Морр приказал к их арестантской полосатой одежде выдать фартуки в польском стиле и тапки вместо колодок. Замученные женщины понимали тайну этой «щедрости». Арестантское платье из тяжелой ткани обвисало и мешало работать. Фартук же устранял помехи. В остальном же Морр вполне доверял освенцимским палачам. Уж он-то знал, что они сумеют взять от узника все, что нужно!

Шел Козел в то утро на расстоянии пяти метров от бригады. В пути он любил помечтать. Ранее, возможно, он и был доволен своей судьбой. Как-никак служба в Освенциме была предложена ему в очень суровый час. Он так и не побывал за всю войну на Восточном фронте в России. Пускай он сейчас без орденов и медалей, зато руки и ноги не отмороженные, не простреленные, целехонькие остались. Только вот поражение немецкой армии в России лишало его способности радоваться. Забрызганное веснушками лицо с каждым днем становилось настороженнее. Потупив глаза в землю, он шел молча, как бы подытоживая совершенное им за время прохождения службы в СС.

На седьмом километре от лагерной зоны, на расстоянии двадцати метров одна от другой, стояли десять груженных автомашин. Козел остановил колонну, разбил всех на группы и приказал:

— Освобождайте!

— Что это? — спросила Оксана у старшей подружки, показывая на сероватый порошок, которым были доверху наполнены грузовики. Та подошла к эсэсовцу и спросила:

— Удобрение?

— Да! — буркнул тот.

На первую машину приказали подняться Оксане, Дине, Ирине и Зосе. Дул ветер. Порошок-удобрение поднимался

винтом вверх, застилал лица. Многие узницы чихали, кашляли.

Крепина вдруг под лопатой ощутила что-то твердое. Оксана разгребла порошок и обнаружила обгоревшую челюсть.

— Смотрите! — вскрикнула она.

Все молчали. Ирина, словно хмельная, подалась в конец кузова.

— Значит, человеческий пепел мы выгружаем... Вот зачем они заживо сжигают людей, — сказала она. У нее перед глазами встали трубы крематория, блок смерти, открытый ров в Биркенау, в котором на кострах горят дети и взрослые.... Крематории уже не срабатывают. А ведь еще неизвестно, чем кончится ее собственная жизнь. Эта горькая страшная правда словно парализовала ее.

— Освобождайте машину, — кричал шеф на Ирину. — Что вцепилась в борт?

Но узницы продолжали стоять. Большинство плакали.

Это заметил старший стрелок. Его, контуженного, только недавно прислали в Освенцим с Восточного фронта, и он, казалось, против русских в каждой своей жилке затаил зло. Он прилаживал уже свой автомат к груди... Но тут Ирина высвободила из-под пепла человеческий череп.







Она подняла его над головой и сказала, вытирая слезы. — Подруги! Мы не палачи и не хотим ворошить прах наших мертвых друзей! — Она подняла череп выше головы Козла. — Смотрите! Точь-в-точь эмблема на его фуражке похожа на этот череп!

«Так вот почему у гитлеровцев на петлицах и пилотках черепа с перекрещенными костями», — подумала Оксана.

А Ирина продолжала:

— Пускай они сами и выгружают этот пепел. Мы же молчанием почтим память наших многонациональных друзей, погибших в печах Освенцима!

Женщины дружно бросили лопаты, сошлись в кучу и склонили головы над пеплом...

Козел был бледен и даже не делал замечаний. Стрелок же, рассвирепев, приблизился к Ирине, топал ногами, вспоминал бога и дьявола, пытаясь что-то доказать, уяснить, то и дело свою грозную речь подкреплял словами: «Капут вам, бунтовщики!» Однако и это уже никого не страшило. Двести женщин по-прежнему стояли, склонив головы над прахом убитых... Шоферы поднялись каждый в кузов своей машины и сбросили пепел на землю сами. Затем уехали.

Прошло еще около пятнадцати минут. Стрелок что-то грозное сказал шефу, и тот приблизился к Ирине.

— Вы совсем отказываетесь работать?

— В принципе работать мы еще никогда не отказывались, ибо знаем, что иного выхода тут быть не может. Смерть или работа! А вот удобрять эти поля человеческим пеплом мы не можем и не будем! Это глумление!

— И мы добьемся своего! — совершенно неожиданно выкрикнула полька Зося. — Мы свою землю вернем обратно и не хотим, чтобы она была покрыта прахом! В протест объявляем двухдневную голодовку!

— Голодовка!!! — выкрикнули в поддержку Зосе Оксана и Дина. За ними хором это слово повторили несколько раз и другие.

Споры длились почти до самого обеда. И когда подвезли бачки с супом и корзины с пайками хлеба, никто к ним не подошел, хотя изголодавшиеся желудки ныли до боли.

Повар вернулся в лагерь и немедленно доложил о случившемся коменданту и надзирательнице. Те выехали в поле и там же приговорили Ирину и Зосю к шести суткам бункера, всех

остальных приказали спровадить на орошение полей. Там они работали до поздней ночи без обеда и ужина. Выдержали и на следующий день объявленную голодовку...

Мария Кун заявила, что за этот бунт все они будут расстреляны и что уже где-то в поле роется большой котлован, у которого будет произведена расправа: там их обольют бензином — и все они обратятся в кучу пепла...

Ну что ж, палачи редко когда не успевают сделать то, что обещают. Однако заключенные Освенцима-Бабицы добились своего. В тот день машины с пеплом больше не пришли. Морр, как узнали позже узницы, отказался удобрять поля человеческим пеплом!

И, конечно же, главную роль в этом компромиссе сыграло время, доносившее до хозяев крайне тревожные вести с Востока.

## Глава 12

### КОНЕЦ ДОЛИНИЧАМ...

По пути из Петровска Рауше, как ни странно, мало думал о «пропесочивании» его обергруппенфюрером Килкой. Другое волновало его — только что полученное в главном управлении письмо Франца Блиндта. Письмо было настолько откровенным, что он, Рауше, находясь в далеком от фронта тылу, отнесся к нему с особой настороженностью. Даже запала тревожная мысль: в здравом ли уме написаны эти строки? Или сам он, Фриц, слеп? «...Сталинград за двести дней поглотил не только немецкие самолеты и пушки, но и железную доблесть нашего солдата... Кажется, вместе с войной мы повернули на запад... Один русский пленный сказал мне: «Потрошат вас наши». Кто думал, что такое может случиться... Уцелею, даст бог, на обратном пути свидимся. Хайль Гитлер!»

Письмо говорило не просто о «небольшом и исправимом» поражении, а о полном провале немецкой армии. Смириться с этим Рауше не только не мог, а не решался допустить даже хотя бы какую-то мысль на этот счет. Да и Килка ничего похожего не дал понять. Правда, был он очень раздражен. Таким его Рауше никогда не видел. Но это раздражение было обращено против него, Рауше. А коль так, служить он обязан намного бдительней, намного добросовестней.

Килка бросил ему упрек: «Нянчитесь с оккупируемыми...» Фриц Рауше решил доказать, что он тоже настоящий ариец и победитель.

Подъезжая к Вишневке, он захотел кого-нибудь убить на глазах у своего шофера и двух охранников. Но ни проезжающих, ни проходящих не было, и только чуть поодаль от дороги, по которой следовала раушевская машина, шел, хромая, старикашка. Тропинка его соединялась с дорогой, и Рауше, поняв, что тот приближается, приказал шоферу остановиться на перекрестке широкой и узкой дорог. Тот сбавил ход.

Дед Григорий, миновав кювет, поскользнулся по намокшему чернозему и потерял равновесие из-за ушедшего вбок костыля. Заметив, как на него смотрят восемь панских глаз, подтянул к плечу костыль и молодцевато взобрался на дорогу. Рауше подал голос.

— Эй ты, калека! Что проходишь, не кланяясь освободителям? А ну-ка сюда!

Сначала Рауше сказал по-немецки, затем по-польски.

Он приоткрыл дверку машины, но сиденья не покидал.

Дед Григорий остановился перед фарами.

— Ну? — закричал Рауше. — Ко мне!

Дед Григорий, тихо поднимая костыль и легко передвигая ногу, приблизился к дверке. Его колотило от ненависти к этим извергам и «шкурникам», как он их называл, но, затаив зло, молчаливо поклонился. Восемь глаз насмешливо оглядывали его. Рауше поднял со своих коленей журнал и, повернув обложкой к деду, завопил по-польски:

— Як называчця... — и, не договорив, поперхнулся от злости.

Дед Григорий уже давно видел плохо. О том, что ему показывают обезьяну, ему и в голову не могло прийти. Перед его глазами расплывалось какое-то темное-серое пятно, и он, прикинув мысленно: «Кого же еще может так почитать этот господин, как не своего фюрера?» — уверенно выпалил:

— Це Гитлер!

Рауше выхватил из кобуры пистолет и спустил курок... Дед Григорий распластался посреди дороги.

Рауше не без удовольствия вложил пистолет в кобуру, скомандовав: «Лёс!», молча на всех посмотрел и увидел у своих подчиненных в глазах одобрение.

С этого дня Рауше решил повернуть свою работу так, что сам Килка будет у него учиться.

В тот же день он связался по телефону с отделом имперской

безопасности в Петровске и запросил срочно трех специалистов по Востоку. Это были люди из числа западнобуржуазных националистов, уроженцы горных сел и пригородов Западной Украины, бежавшие еще в конце тридцатых годов в Польшу, не признав Советскую власть. После оккупации Польши Германией они завербовались на службу абверу.

Сколько эти агенты раскрыли партизанских отрядов, явившись к русским с их же красноармейскими удостоверениями, владельцев которых убивали; сколько раз предостерегали убийства бургомистров; сколько раздобыли и передали секретных сведений в Берлин о дислокации русских войск... Кто, как не они, учили самых профессиональных агентов Гитлера, как вести себя и даже как действовать в этом далеком русском тылу! «А если бы не они, может, и не существовать бы нашему абверу здесь, среди этих диких, но не совсем, между прочим, глупых волков...» — рассуждал Рауше, наедине в первый раз отдав должное противнику. Вот и сейчас он думает о том, что вишне-вских партизан Марфушкину и Долиничу, конечно, не схватить по одной простой причине: те отлично знают и того и другого и ловко уходят от них, а на внезапный арест, как доказало время, шансов мало. Только работа, ловкая, оперативная, настойчивая и не лишенная мудрости, тут может восторжествовать. И так как Фриц Рауше страстно размышлял о своей победе и о восстановлении своего престижа, то готов был субсидировать вдвойне против того, как распорядится отдел безопасности, вплоть до личного вознаграждения присланных ему людей.

Фриц не постеснялся так заявить и тем, кто распоряжался этими людьми. Там не возражали против такого предложения, а главное, тут же дали согласие на поставку трех таких «кадров»...

Упрек Килки: «Пускай «троттель» остается вам, а нам представьте большевиков», — по-своему воздействовал на Рауше. Коль так, он не будет представлять ему для «расплаты» за Прудино этого чистильщика сапог. А найдет настоящих большевиков! Действительно, какой из «блoder хунда» большевик? И Рауше приказал Марфушкину вернуть чернорабочего Трубу и разрешить ему приступить к своим обязанностям, тем более что и работы уже накопилось непочатый край. Не приглашать же нового уборщика. Труба хоть не пытался в него стрелять.

В то августовское лето небо всегда было обложено тучами. Приближение осени дало о себе знать намного раньше, чем обычно. Кажется, раньше времени исчезли полевые цветы и ли-

лово-бисерный чабрец, свернулись в желтые комочки пушистые ромашки, и поля украсили нежеланные молочай и репей. Сорняки, в том числе и перекати-поле, будто умышленно были высеяны на грядках вишневчан, особенно посреди житвенных и пшеничных степей. Они глушили колосья, валили их наземь. Год тысяча девятьсот сорок третий по всей Петровской области выдался неурожайным. Ранняя весна с солнцепеками, а затем ветры и дожди с градом забили несозревшие колосья, обили только что завязавшиеся плоды и ягоды. Люди в основном питались тыквой, вареной или печеной, да кукурузными початками.

Марфушкин разыскал Трубу среди кукурузной ботвы у себя на огороде. Он приказал ему срочно явиться к Рауше и приступить к работе. Сам же Труба по сей день не знал, что его подозревали в причастности к взрыву в Прудине, и поэтому преспокойно жил дома. Не знал он и о том, что Рауше готовился представить его к казни за связь с партизанами. Но, судя по тому, как Марфушкин съязвил: «Вижу, нас не боишься, живешь дома, а я думал, ты уже в лесу с партизанами», — Труба понял: ему грозила беда, и пока она его миновала.

Накрапывал дождик. Марфушкин куда-то умчался, Труба зашел домой, оставил корзину с початками и облачился в необычный наряд: надел поповскую ризу вроде бы вместо дождевика.

К особняку Рауше Труба старался пройти грядками и огородами, чтобы народ его меньше видел. Но все же совсем уберечься не удалось. Какой-то полицаи из соседнего села остановил его, покрутил пальцем возле виска и озорно засмеялся. Труба не возражал против намека на его слабуюмие.

Рауше еще никогда не было так весело, как в это утро. Он смеялся заразительно и чрезмерно громко, увидев Трубу в поповской ризе. Да и право же, он никогда ничего подобного не ожидал от «троттеля», и ко всему прочему риза эта чертовски шла ему. И лицо у «блодер хунда» было недурное. И показалось оно Рауше в это утро даже умным. Он было опять засомневался: «Не подставное ли это все же лицо?» Но сам факт появления его здесь в этом странном одеянии лишний раз убеждал Фрица: «Нет, Труба — и «троттель» и «блодер хунд»! Он явно нездоров!»

— Где взял? И зачем явился сюда в этом? Сегодня твои винтики совсем на пределе? — сделал Рауше пальцем спираль над своей головой.

Марфушкин все это перевел Трубе. И тот, снимая ризу и укладывая на лавку у порога, ответил:

— Це халабуда покойного Стецько: забув у меня. Сегодня дождь на улице, а костюм у меня один. — Потом помолчал, посмотрел на Рауше и продолжил: — А насчет этого, господин шеф, не бойтесь, — Труба точь-в-точь повторил возле своего виска такую же спираль, — все в порядке, и даже чуточку краше, — ухмыльнулся он.

Марфушкин и это перевел, и все дружно посмеялись.

Труба чистил сапоги, мыл нужник, подметал двор. Только на сей раз Рауше установил ему строгое время: в кабинете «троттель» должен убираться по утрам не более часа, затем в целом по особняку столько же. По вечерам он обязан появляться только тогда, когда его пригласят — самому не приходить!

Рауше снова зашторивал окна. В присутствии Трубы молчал. Даже не поднимал телефонную трубку. Кто бывал в его кабинете, тоже молчали. А стоило Трубе выйти, склонялись над столом и о чем-то тихо переговаривались. Особенно часто Рауше совещался с Марфушкиным.

За этим явно что-то крылось. Особенно Трубу удивила дверь через чулан, которая вела в палисадник, затем в ряд густо высаженных акаций, а оттуда на огороды, в лес и далее на пустьрь. Возможно, Рауше сделал ее для удобства при бегстве?.. Что же касается его, Трубы, если Рауше вздумает и дальше его использовать как «рабочую силу», то покидать Вишневку он не собирается: мать нездорова, да нездоров и он, и вряд ли фатерланд нуждается в таких, как он...

О том, что фронт стремительно начал двигаться на запад, стало уже известно всем. И немецкие газеты не особенно скрывали свои потери на фронтах, тем более в суровое русское зимнее время. Труба замечал, что и его хозяева потихонечку уже готовят узелки.

На следующее утро Труба убирал кабинет Рауше. По его пятам ходил адъютант. К столу Рауше он не позволял подходить и даже выдернул из рук Трубы тряпицу, чтобы самому стереть пыль. «Троттель» улыбнулся и уважительно уступил тому свое «орудие производства». Сам принялся поливать на окнах цветы: калачики и фикус. И тут-то он увидел траурную процессию: гроб деда Григория на своих плечах нес Крепин, а рядом с ним еще каких-то два незнакомых парня. За гробом шла вся Вишневка.

Труба кое-как закончил мыть пол в кабинете Рауше, вынес

ведро, поставил в угол и, не спрашивая разрешения — ведь ему еще оставалось работать час по двору, — пошел вслед за процессией. Кто-то из селян, увидев Трубу, зло крикнул: «Геть, полицейчик, отсюдава. Дуралей, прислуга немецка...» А Труба шел и шел молча...

Крепин больше всех был удручен на этих похоронах. Он даже не скрыл того, что должно было оставаться в тайне. Тихо прошептал: «Прощай, кореш... Отомщу за тебя!» Кто-то его подтолкнул и шепнул, указывая на Трубу: «Полицей тут!» У Трубы сжалось сердце, и он, положив у ног деда Григория букет астр, ушел с кладбища, чтобы не смущать никого своим присутствием. Из полицейских тут никого не было.

Труба не мог опомниться до самого вечера. Однако его беспокоило то, что не до конца довел сегодня работу в особняке Рауше, и он решил туда навеститься.

Время было еще не позднее. Во дворе под дубом стояла машина Рауше. В кабинете сквозь небрежно зашторенные окна Труба увидел несколько фигур. Узнал он Марфушкина и шефа. Остальные сидели спиной.

Труба обошел особняк, чтобы его не заметили, как-никак в этот час ему тут уже не положено бывать, и за домом занялся своими делами. Поначалу снес на мусорник стружки, подчистил вокруг новой двери лопатой и начал было подметать метелкой. Вдруг в чулане послышались тихие голоса Рауше и Марфушкина. Они кому-то объясняли, что входить в дом надо только через эту дверь в чулане. Потом были названы имена: Ефима и Рузанко! Рауше приказывал им показать неизвестные места и район, где могут обитать «эти бандиты...». Из дальнейшего разговора Труба понял, что Рауше задумал операцию против тех, кого подозревал во взрыве в прудинской церкви.

Голоса стихли, зашаркали ноги, и Труба, схватив метлу, спрятался в кустах малины. Новая дверь распахнулась, и первым появился колченогий Ефим, за ним три широкоплечих, упитанных детины. За ними, шмыгая носом, — толстоногий Рузанко. Рауше и Марфушкин остались в кабинете.

Гости весело перекидывались фразами, а когда скрылись в темной акациевой аллее, заготовили. Неповоротливый Рузанко едва успевал за ними.

Труба не слышал, в чем конкретно напутствовал Рауше трех незнакомцев, Рузанко и Ефима. А знать об этом очень хотелось. Труба упорно искал встречи с односельчанами. Но и Ефим и Рузанко как провалились. Подробный план их замысла для него остался тайной.

Фронт приближался с каждым днем, гремела канонада, слышался разрозненный взрыв снарядов, гудение самолетов, рев мотоциклов, бегущих на запад...

Люди воспрянули духом. Под тынами собирались кучками и обсуждали, хорошо это или плохо, что Вишневка оставалась как бы в кольце, а бои гремели со всех сторон — спереди и сзади. «Не забыли бы про нас, не оставили бы нам фрицев, скорее бы от них освободиться», — поговаривали вишневанцы.

Труба в последние дни был очень занят. Он скупал на рынке черный материал. Поговаривали селяне, будто к похоронам готовится...

Анна Евсеевна все бегала к своим яворенкам-«предсказателям» и рассуждала, хлопоча над ними: «И вредителя сосунка давно закололи, а вы чахнете... Чого ж вам не хватает? За Лешиним намертво усох Оксанкин, а теперь вот и мужа Павла...» И она сделала для себя вывод: «Тех двоих отняла война, а чоловика ни за что не отдам! Или вместе...»

А Павел Ильич заявился домой веселый, шумный и даже помолодевший. Кинул на припечек огромный узел и сказал:

— Постирай, стара, бельишко моим парням да погладь. Важная и ответственная работа нам предстоит, а потом парадная встреча...

— Так и я сошью себе гарный фартук и пойду на тот парад...

Павел Ильич улыбнулся и посмотрел на жену. Потом обошел хозяйство, вычистил курень Амура, заглянул в шалаш. Подремонтировал куриный насест, Машкино логово прибрал и снова вернулся в хату. Жена кипятила на плите в огромном чугуне белье и рассматривала на столе серую, загрязненную рубашку. Обнаружила отсутствие двух пуговиц, принялась искать иголку и нитки. Вот уже и пуговицы точно в цвет сорочки были у нее в руке, и она уселась на краешек припечка, чтобы пришить их.

— Миколая Миколаича? — показала она на рубашку в руках.

— Да! — ответил муж. — Покрахмаль и сделай как надо. И мою тоже.

Анна Евсеевна возилась с бельем и не заметила, как заглянул к ним во двор почтальон и принес письмо. Павел Ильич хотел сам вначале его прочитать, но тут появилась Анна Евсеевна, вырвав из рук мужа конверт и не найдя в последнем слове букву «о», круглую как око, проронила: «Не она пишет». Анна Евсеевна так и повалилась на лавку. А Павел Ильич дрожащими руками раскрыл конверт. Писала Валя: «...Нет больше



на свете Оксанки. Ее приговорили к смертной казни... Отправили ее в Освенцим, а это и есть казнь, оттуда уже больше никто не возвращается... Мы долго не решались вам сообщить об этом, и нас мучает совесть. Вернемся ли мы домой, кто его знает, а вам ведь нужна правда: Оксанка была смелая и сильная. Даже мы, старшие, завидовали ей...»

Анна Евсеевна голосила навзрыд. Сошлись соседи, выл Амур.

Кто-то принес букеты живых цветов и положил перед Оксаниным портретом, кто-то на венке цветов вокруг портрета прикрепил широкую черную траурную ленту. Спустя час прибежали старшие дочери: Тоня из Днепропетровска и Мотя из Якимовки. И снова голосили и навзрыд кричали... Потом все гурьбой пошли отпевать в церковь — так было принято, и вскоре вся Вишневка узнала о гибели Оксанки. Узнал и Пантелей Долинич. Он остановил около церкви угрюмо свесившего голову Павла Ильича и сказал:

— Як бы созналась, куда девался учитель Медеренко, то мы б его сцапали, а она была б жива.

Крепин, хоть и был подавлен горем, зло спросил: «Ты-то как себя чувствуешь, староста? Гремят наши пушки?» Держа под руку чуть живую Анну Евсеевну, Крепин медленно направился домой. Долинич слова Крепина задел за живое, и он вслед ему закричал:

— Обо мне не хлопочи, усач! Завтра лечу в Берлин! Яропланчик завтра ждем...

— А где же он приземлится? Тут и аэродрома-то нет поблизости, — не без умысла спросил Крепин.

— О-о-о-о! В старых плавнях все поле як яродром...

Усы Павла Ильича дрогнули. «Ага, задумал бежать через старые плавни. Ну посмотрим...»

Анне Евсеевне стало плохо, кто-то принес воды, усадили ее на лавку. Она то замолкала, то совсем уже тихим охрипшим голосом шептала: «Милая доченька. Та тобі ж було, мабуть, дуже больно, білы палачи... издивались. Ой, просты мени, шо надилыла тобі таку гирьку долю...»

Крепин попросил дочерей не оставлять мать, зайти с ней к лекарю, чтобы дал ей что-нибудь успокоительное, а сам быстрым шагом пошел домой.

А Долинич продолжал стоять на крыльце церкви и, видно, досадовал, что проговорился этому дерзкому старику про завтрашний день: «Чего доброго, задумает помешать». Мелкими шажками подался он в свою «старостскую».

Там никого не было. Никого не было и в полицейском пунк-

те, Марфушкин пошел упаковывать вещи, так как жена его подговаривала на «индивидуальное бегство». Но Рауше он был еще нужен, и Марфушкин настойчиво упрасивал жену выждать еще пару деньков. За это время русские могут сдвинуться самое большее на пятьдесят километров, а фронт в двухстах километрах от Вишневки. Уж Рауше знает точно. Он то и дело справлялся в области.

Долинич все больше и больше тревожил безнадежный конец. Он заглянул домой. Люся и Меланья сидели на упакованных чемоданах и гадали на картах. А они, волшебные, предсказывали, что и самолет из Берлина не придет и что никакая дорога никуда не предстоит... Узнав об этом, Долинич вгорячах помчался к Рауше. Когда староста вошел в кабинет, Рауше ходил взад-вперед. У стола, с прилипшими ко лбу волосами, сидел Марфушкин.

— Ко мне? — поднял он на старосту глаза.

— К вам обоим. Колы буде обещанный яроплан? Красни жмуть!

Тем временем зазвонил телефонный звонок, и на том конце провода громко отозвались:

— Фриц! Килка уже бежал. В области никого не осталось! Русские чертовски жмут!

— Дьявол! А я из-за него должен сидеть в этой дыре? Ну я представляю ему большевиков! Я докажу ему, кто такой Рауше! Ждите нас в районе! Завтра к обеду!.. Или утром...

— А-а как же мы? — наклонился Долинич к Марфушкину. Нижняя губа у него дрожала, как у кролика.

— Для меня местечко шеф обещал в своей машине, — беспечно ответил Марфушкин. — А... а тебе лучше самому позаботиться. Семья у тебя большая...

Долинич глухо застонал.

— Ну, ахвидезеен, господин Рауше. Я це ще вам припомню! — Староста сердито хлопнул дверью.

Рауше высунул голову через окно:

— Прежде чем заниматься личными делами, выполняйте мои указания. Где Труба? Немедленно мне его пришлите! Надо мешки зашивать, да поскорее!

Долинич остановился. Глаза и рот у него были раскрыты. Он слушал и ничего не воспринимал. У него не было сил, чтобы дойти до дому, а тут еще искать Трубу. И он, чтобы избавить себя от лишних обязанностей, ответил:

— А где его найти. Он уже за границу и забув, яки мы

з вами. Труба не дюжа на бога надеется. Голова у него часом краше соображает, як наша з вами...

Пока Марфушкин переводил, Долинич скрылся за поворотом, больше не прислушиваясь к ругани шефа. Запыхавшись, примчался домой, держа на поводу двух лошадей, привязал их к деревянному косяку, вошел в дом и изнеможенно повалился на кушетку.

— Карты правду тебе предвещали. Яроплана не буде, и яродрома тоже. А буде фига, пика и без дна макитра.

— Половина того, шо планировали взять в Берлин, — геть оставляй. Без яроплана нам буде тяжко. Тьфу, Фриц рыжий, все наклепав... А я поверил. Будь вы трижды прокляты, фашисты...

Меланья плакала. Слезы ручьем текли по ее лицу. Но она не переставала хватать узлы, разворачивать их, перебирать, снова складывать. Обе прислуги Клавы покинули дом еще два дня назад. Далекие и близкие родственники отвернулись от Долиничей. Правда, когда только пришли сюда немецкие власти, все они клонились к своему удачливому родственнику, и он немало для них делал, но все это забылось. Даже Данило, у которого была необоримая страсть выдвинуться при новых властях, а он тоже считался дальним родственником Долинич, стал готовиться к приходу советских войск. Он забил несколько бычков, заказал дояркам по домашнему рецепту буженинку, зажарил оковалки мяса, сбил бочку сливочного масла, заготовил пару ведер сливок. Все это стояло в леднике. Кто знает, как она тут, околodneпровская фронтовая жизнь, потечет. Может быть, и похлебать солдатам некогда будет. А тут Данило готовый добротный продукт им предложит. Мол, видите, я никакой не враг, а свой вам человек. Работа у меня была нейтральная. Быки, свиньи, коровы — какая тут политика.

В день отъезда Долинич все же решил обратиться к своему родственнику за помощью. Дело в том, что в последний час повозка оказалась неисправна: ось треснута и правая оглобля совсем не поворачивалась. И Данило в ответ на просьбу старосты пустился философствовать. Долинич, чертыхаясь, помчался домой.

Пока Меланья и Люся вновь перебирали все в своих узлах и чемоданах, оставляя посуду и прочие не очень нужные на первый случай принадлежности, Пантелей сам занимался подготовкой «транспорта».

Кое-как скрутил ось, запряг лошадей, направил оглоблю, утешая себя: «Лишь бы до Днипра хватило», взвалил на по-

возку все узелки и чемоданы и дал команду трогаться. Меланья крестилась, Люся гладила Мурку, сын шел в сторонке и косился исподлобья на отца.

Вечер был ясным. Полная луна светила ярко. Бездорожье приводило Долиничу в ужас. На повозке что-то бряцало, и эхо откликалось чуть ли не в соседнем селе. Где-то лаяли псы, мычал теленок.

— Я боюсь, Пантелей, — невесело сказала жена.

— Да ты шо? Все лады буде, приободришь, — а у самого даже коленки дрожали от страха.

Снаряды рвались все ближе и ближе. До переправы оставалось три километра. «Хоть бы паромщика застать», — подумал Долинич, и тотчас раздался голос:

— Руки вверх, изменник! — Из-за кустов вышел Павел Ильич Крепин с автоматом через плечо. — Обыскать! Вот и ядром твой!

Вспыхнули четыре ярких фонаря, и Долиничей окружили. Архипов скрутил руки старосте. Тут же из кармана у Долиничу выпал пистолет.

— А ты будто и стрелять-то никогда не умел. Когда же научился? — спросил Павел Ильич. — Лукьянцев! Ты без пистолета, возьми!

— Я особо и не умею, — оправдывался Долинич. — Це я прихватил, кабы неприятеля тут встретил.

— Кого имеешь в виду? Красноармейцев?

— Ага!

— Так вот они, перед тобой! — показал Крепин на своих парней. — А теперь докладывай: где все остальные и какой дорогой будут бежать? Где Рауше?

— У себя. А бежать будут через район на рассвете або ночью.

— Правду говоришь? — вмешался уже Архипов.

— Клянусь, правду, — Долинич посмотрел на жену и детей. — Воны ж плачут, бояться. А виноватый все-таки я...

— Виноват — ответишь перед законом. Если только насчет Рауше обманываешь и заведешь в логово, то первую пулю получишь ты, — закончил Архипов.

— Клянусь — правду говорю.

Крепин дал команду двинуться по огородам и пустырям.

По вспаханной земле идти было тяжело, особенно грузному Долиничу, и Павел Ильич развязал ему руки.

Шли молча, окружив Долиничеву бричку с багажом. Только Крепин, поднимая свое измученное лицо, повторял одни и те же

фразы: «Где же Клим? Он не мог не прибыть, а иначе поставил бы нас в известность. Не случилось ли с ним что?»

Никто не отвечал Павлу Ильичу, слов не находили; все волновались, как и он. В шесть часов утра Костя Лазаренко и Юрий Лукьянцев должны были на своей лодке, которая вот уже больше года всегда находилась под руками у партизан и тщательно замаскировывалась в кустарниках лозы, переправиться на правый берег Днепра, чтобы там, у карьера, куда должен был подойти Клим, забрать его и переправить на левый берег. В Агатове должно было состояться распределение партизан на две группы: одну в направлении старых плавней поведет Крепин, вторую — к мостовой, ведущей в область, — Рауше со своей охранкой мог бежать только туда — возглавит Клим. И у той и у другой стояла задача: не выпустить из Вишневки предателей и палачей! Схватить их и представить советским органам. И вот лодки на месте не оказалось, видно, она была угнана еще ночью. Костя и Юрий вынуждены были дожидаться, пока начнет работу переправа, и переехали на одном из паромов. В назначенном месте Клима не оказалось. Они ждали еще три часа, но Николай Николаевич не явился. Потеряв надежду, парни вернулись в отряд.

Что могло случиться? Появился предатель в отряде? Этого не могло быть! Все свои, проверенные временем и делами люди. Возможно, Клим получил новое задание? Два дня назад Тарасу стало известно, что в области действует группа чекистов. И он сказал, что, если им понадобятся люди, они, партизаны, должны будут перейти в их подчинение и помогать им. А как это должно произойти, Тарас и сам не знает. Полагал только, что назревает такое время, когда чекисты будут действовать открыто. Имена их не были названы ему, по-видимому, из-за ненадежной связи.

Исчезновение Клима насторожило партизан. На ходу перестраивались все планы. Коль Клим не явился — делить отряд на две группы не стали и приступили к действиям сообща. Задержан староста. Предстоит встретиться лицом к лицу с гитлеровцами, которые на протяжении двух лет пытались их схватить и учинить над ними зверскую расправу. Теперь они, партизаны, сами идут к ним...

Плавни только начинались. До особняка Рауше оставалось около семи километров.

А тем временем в кабинете Рауше собралась вся полиция Вишневки. Через запасную дверь, что была недавно вырублена в чулане, вволокли едва живого Медеренко. Лицо все в крово-

подтеках, костюм окровавлен и изорван. Ключьями вырвана борода. Разорван рот. Руки за спиной связаны ремнем.

— О! — восхитился Рауше. — Так это сам партизанский бог?

— Да. Это он. Кличка его Клим, — ответил незнакомый полицейям верзила с картофельным носом.

— Даже кличку знаете. Превосходно! Вот как надо работать! — посмотрел Рауше на Марфушкина. — А вы два года не могли поймать этого карася!

Марфушкин оправдывался:

— Они же специалисты. У них больше опыта.

— Возможно, не спорю. А ну-ка подведите его поближе.

Медеренко подтолкнули вплотную к Рауше.

— Говори, где твои бандиты?

— Не знаю! Я сам по себе!

— А кто знает, зобака? — И Рауше полоснул Медеренко по спине резиновой дубинкой, что хранилась в его письменном столе.

Тот только зажмурил глаза, даже не ойкнув.

— Тогда говори, кто и когда тебе сообщил о прибытии патриарха?

— Никто и никогда! Я ничего об этом не знаю. И к взрыву в Прудине ни я, ни мои друзья не имели никакого отношения.

— А к чему вы имели отношение?

— Ко многому. Скажу еще, что вы, палач Рауше, и вся ваша свора будете убиты через несколько часов, а может быть, минут... Это уж я не скрою. Очень сожалею, что Прудино — не моя работа.

Марфушкин переводил.

— Так чья же? — выпучив глаза на Марфушкина, закричал Рауше.

— Он лжет, вводит вас в заблуждение, господин шеф! Это же большевистское отродье, ему не нужно верить!

Медеренко улыбнулся:

— И за эти слова ответишь, холуй!

Марфушкин зло закусил губу.

— Последний раз спрашиваю. Где твои бандиты? — неистовствовал гитлеровец.

— А вы не беспокойтесь о них. Они о вас сами не забудут, придут проститься... — Медеренко улыбнулся, посмотрел через окно на улицу.

Рауше теперь только понял, что слишком медлит и пора отсюда немедленно убираться.

— Уведите его в конюшню!

Четыре полиция окружили Медеренко и приказали идти вперед. А когда были у порога, Рауше добавил:

— Если я раздумаю брать его с собой, вы там услышите звонок. Вы меня поняли?

— Есть! Хайль Гитлер!

Рауше не сомневался, что человек, которого только что увели из его кабинета, — тот, за кем он так долго охотился. Штурмбаннфюрер решил щедро расплатиться с тремя наемниками, пусть знают, что он человек чести.

Пока гитлеровец искал в столике миниатюрную шкатулку, в которой были заготовлены деньги и золото, те торопились рассказать в деталях, к каким уловкам им пришлось прибегнуть, чтобы напасть на след партизан.

Как оказалось, немалую роль в судьбе Климa сыграли Рузанко и Ефим. Они раздобыли его фотографию. Затем тщательно выслеживали, куда ведут свежевытопанные тропинки по Приднепровским лесам. Напали и на какой-то подозрительный след на песке. Проследили в кустах лозы лодку. Установили дежурство. И вот вечером приблизились к лодке двое, заговорили. Рузанко услышал, что Клим утром будет у карьера в четверть седьмого и его на лодке перебросят через Днепр... Запомнил из беседы имя «Костя». Дальше все было просто: абверовцы через час угнали лодку к карьере, где должен утром появиться Клим.

...Встреча состоялась в четверть седьмого.

Бывалые шпионы по-деловому встретили Медеренко, как только узнали его по фотографии. Вежливо поздоровались. Показали красноармейские удостоверения. Доложили, что, дескать, «свои», заброшенные сюда десантом для того, чтобы помогать им, партизанам, сохранить мосты, промышленные коммуникации, жизни видных людей. О вишневских партизанах будто бы им все известно, и вот этой ночью они прибыли к ним на помощь. Костю и других парней послали уже на задание — фронт, война не ждет, — а за ним, за Климом, прибыли сами.

У Климa и вовсе после услышанной своей клички всякие сомнения рассеялись, а тут опознал и свою лодку, заговорили те о Косте, и он принял незнакомцев за тех чекистов, о которых недавно докладывал отряду сам Тарас.

— Так вы и есть чекисты, которых мы ждем? — на всякий случай спросил он.

— Ну, конечно! — воскликнули те дружно.

— Не будем терять время, — заключил один из них, до этого не обронивший ни слова.

Уселись в лодку...

И только посреди Днепра у Клима возникло подозрение: лодка уходила в район Панькова. На берегу он заметил Рузанко, прятавшегося в березняке, и догадался: ловушка.

Началась потасовка. Однако «натренированная тройка» легко справилась с «бородачом», как называли бандиты Клим.

Буржуазно-националистические подонки, захлебываясь, докладывали Рауше об успешной операции.

Фриц подал старшему шкатулку, смахивая со лба пот, буд-то он сам потрудился. Затем отчеканил:

— Это плата и за будущее. Вы хорошо запомнили мой наказ?

— Да, герр!

— Будьте беспощадны! В этом залог нашей победы!

— Хайль Гитлер! — отчеканили все хором.

— Хааайль... — едва выдавил Рауше.

Те покинули особняк Рауше, на сей раз через главный вход.

Фриц суетился. Он хватал все, что лежало у него на столе, и совал в портфель, то и дело сокрушался, что до сих пор не идет Труба. Ведь в хозяйских делах «троттель» был незаменим. Он не очень верил в то, что тот уже «за границей».

Рауше позвал своего адъютанта и охранника, и те принялись упаковывать мешки и сносить их в багажник машины. Марфушкин сидел у стола. Вокруг него как неприкаемые топтались три полиция. Они будут подменять тех, кто охраняет Медеренко. А возможно, и еще по каким-нибудь вопросам понадобятся шефу.

Через чуланную дверь, опять облаченный в черный поповский балахон, вошел Труба. Рауше на него покосился.

— Чого ж окна не зашторюете? — спросил Труба. Он аккуратно затянул занавески, а затем прикрыл и ставни.

— Сегодня нет дождя, почему снова в ризе, сумасшедшая собака? — зло выпалил гестаповец.

— У нас дождик накрапывал. Скоро и тут буде. Ага, сапожни щетки не забудьте. Я зараз все вам подготовлю, шеф, — Труба вышел в переднюю. Он осторожно приоткрыл чуланную дверь, и в переднюю вошли один за другим десять человек в таких же черных балахонах, как Труба. В один миг все очутились в кабинете Рауше. Отбросили за спины балахоны и оказались крепкими молодыми парнями с автоматами в руках.



Вмиг у чекистов уже и пилотки с красными звездочками ладно сидели на головах...

— Труба... ба... а хйба цеты? — как-то дружно завопили полицаи.

Рауше остолбенел.

— Именем закона Союза Советских Социалистических Республик вы арестованы! Сложить оружие! — скомандовал майор Труба.

Но никто оружие не складывал, хотя и стрелять никто не решался. Но вот штурмбаннфюрер как бы опомнился и рванулся к двери, видно рассчитывая дать команду своим охранникам.

Труба преградил ему дорогу и неожиданно для всех заговорил по-немецки:

— Война для гитлеровской армии проиграна! И если вы, господин Рауше, поднимете шум и позовете охрану, я убью вас сию же секунду!

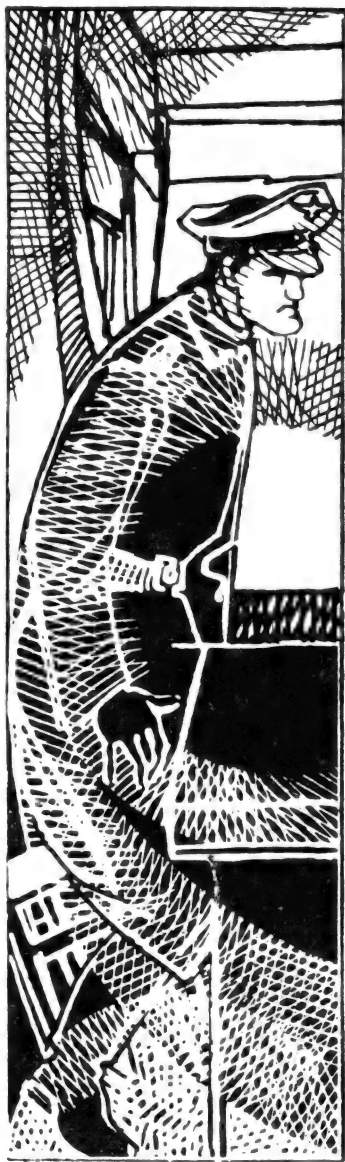
Рауше попятился.

— Что это за спектакль? — ошалело уставился на Трубу Марфушкин. — Тронутый...

— Вы к кому обращаетесь, господин гитлеровский переводчик? Ко мне или к моему брату?

— К какому еще брату! — оторопел Марфушкин.

— За два года работы с вами я убедился, что вы всегда плохо соображали! Мой родной брат Иван Иванович был с эвакуацией лошадей на





Урал и не вернулся. Вместо него прибыл сюда я — Марк Иванович Труба. И огныне для вас я — «гражданин начальник». Это говорит вам о чем-нибудь?

Марфушкин наконец понял, что все происходящее не шутка и не спектакль. Двое чекистов надели на бывшего начальника полиции наручники и вывели в чулан.

— Ой-йо-йо, — затанул присутствовавший здесь соркинский полицей. — Вспомнил — был у Ваньки братик-однородок — большой человек, говорили. Только о нем все забыли. Выбыл отсюда еще в детстве.

Рауше, поняв безвыходное положение, сложил оружие. Сложили и остальные. Никто не обратил внимания, как Рауше нажал кнопку... Послышались глухие выстрелы.

Труба насторожился:

— Что это?

Рауше молчал.

Помощники прошептали: «Расстреляли...»

— Кого расстреляли?

— Того, кто взорвал прудинскую церковь! — отчеканил Рауше.

— Прудинская церковь — дело рук моих людей!

Рауше от неожиданности вздрогнул.

Тем временем в кабинет вошел один из полицейских, охранявших Медеренко. Увидев людей в советской военной форме, он кинулся обратно. Чекисты догнали его, зажали рот, связали руки и обезоружили. Труба тем временем приказал Рауше и полицаям запереть в чулане, где уже находился Марфушкин. Из коробки, в которой хранились сапожные щетки, он извлек уже давно приготовленный им амбарный замок.

Рауше не мог допустить мысли, что «троттель» когда-нибудь решит его судьбу. Он был ошеломлен такой неожиданностью и кричал из-за чуланной двери:

— Мы, майор, с вами еще не расстаемся!.. И еще посмотрим, чем вы мне за все за это заплатите!.. Если даже мое сердце перестанет биться...

— Угроза, герр Рауше? Думаю, вы и на этот раз проиграете! — спокойно ответил майор Труба. — Вы намекаете на тех троих, для которых прорубили дверь? На этот счет мы вас еще серьезно допросим. Полагаю, что они тоже очень скоро будут рядом с вами...

— Не-е-ет! Не-е-ет! Не-е-е-ет! — топая ногами, неистовствовал Рауше.

На улице послышались выстрелы. И Труба скомандовал: «Пора! Выходим!»

Долинич решил, что в этой суете партизаны, препроводившие его только что к особняку Рауше, не усмотрят за ним, и он попытался приблизиться к кустам акации. Архипов тут же скомандовал «вперед», Долинича схватили и проводили к арестованным.

Труба попытался подползти к партизанам, чтобы те по ошибке не начали стрелять в его людей.

— Павел Ильич! — окликнул он Крепина, который пробрался в машину Рауше и строчил оттуда из автомата.

Крепин остолбенел от неожиданности: «Труба — не Труба? Советская военная форма?»

В это время два немецких автоматчика, залегших во рву, взяли на прицел машину. И одна пуля уже продырявила на плече пиджак Крепина... Тогда Труба немедля вытащил Крепина из машины, и они скатились вместе в канаву. Оба засмеялись, но Крепин все еще ничего не мог понять.

— Самосад есть? — подшутил Труба. — Только не ищите, курить некогда...

— Есть, — заволновался Крепин. — Только как все это получается?..

— Так вот и получается, Павел Ильич... Я брат Ивана, Марк, будем знакомы, — пожал он крепко тому руку.

— Так вы и есть те чекисты, о которых мы узнали только днями?

— Да, Павел Ильич! Пятеро нас были оставлены по заданию в тылу у немцев, а еще пятерых нам на помощь подбросили недавно десантом.

— Молодцы! — обрадованно сказал Крепин. — Так ты же, сынок, герой еще с финской. А я помню, Ванька, бывало, частенько хвастался тобою. Ну кто мог подумать, что ты — это не он!

— Близнецы ведь...

Бой усиливался. Гитлеровцы взяли на прицел русского военного офицера. Завязалась перестрелка. Крепин и Труба вынуждены были податься в кусты акации. Оттуда они залпом обстреляли своих противников, и огневые точки заглохли. Завязалась перестрелка между Архиповым и двумя немецкими солдатами. Крепин и Труба подались на помощь, но немецкие солдаты кинулись наутек.

Павел Ильич спросил:

— Почему же ты, сынок, не открылся мне по секрету еще тогда, когда приходил за табаком? Ведь я однажды чуть было тебя не пристрелил.

— Всякое могло быть. Открыться вам по своей служебной субординации не имел права. Ведь у вас стоял штаб нашей армии, и если бы до Рауше дошли слухи, что мы — друзья, он бы пристрелил меня как «красного командира». Да и вообще не подпустил бы к себе. Значит, я бы не выполнил задание, и не случилось бы тут то, что сейчас произошло...

— Теперь все понятно, — успокоился Павел Ильич.

Крепин и Труба продолжали отстреливаться...

Вскоре один из чекистов поднялся на чердак особняка и вывесил красный флаг. Перестрелка понемногу стихла, а затем и совсем прекратилась. Немецкие солдаты, оставшиеся в живых, сложили оружие.

И тотчас майору Трубе доложили, что в конюшне обнаружен труп неизвестного человека. Он — туда. За ним — Крепин. Перед ними лежал Клим — Николай Николаевич Медеренко...

А спустя немного они уже знали и о том, что в этом бою погибли два чекиста — Богатко и Лунич, а также партизаны Архипов, Пелехов и Никифоров...

Фронт приближался с каждым часом. По всей Петровской области, где поработали чекисты и партизаны, путь красноармейцам был облегчен.

Когда хоронили в братской могиле Медеренко и всех погибших в этом бою партизан и чекистов, в Вишневке прозвучали первые раскаты советских орудий...

## Глава 13

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Эмка» подкатила к дому Крепиных. Амур было залаял, но тут же протяжно заскулил: у-у-у-у-у-у...

— Ну говорил же я тебе, дружок, что вернусь! Как видишь, выполнил свое обещание! — засмеялся высокий, плечистый генерал, приближаясь к псу.

Тот, вилая хвостом, вскинул лапы на своего давнего друга, а потом припал брюхом к земле, как бы низко кланяясь ему. Гончаров от души рассмеялся, погладил пса и сунул ему кусок колбасы.

Открылась дверь, и из хаты вышел хозяин дома, а через

мгновение появилась и Анна Евсеевна. Несколько крупных морщин у губ и у глаз делали ее лицо безжизненным и печальным. Василий Коралов нетерпеливо проронил:

— Случилось что?..

Анна Евсеевна прикрыла глаза, молча протянув Василию свою руку, а затем припала на грудь — сначала Коралову, затем Гончарову. Крупные слезы катились по щекам, и Анна Евсеевна, смущенно вытирая их, пригласила всех в хату. Василий тревожно оглядывался по сторонам: Оксаны не было.

Крепину и Гончаров остановились у порога. Павел Ильич, охваченный радостью, что жив комдив, тут же принялся докладывать ему о судьбе его воинов, о том, что продолжали они оставаться в строю; верно сражались с врагами в вишне-вском партизанском отряде. С грустью поведал Павел Ильич о тех, кто погиб, а Гончаров все записывал в свой блокнот, едва роняя: «Надо же, а мы до сих пор считали их без вести пропавшими». Очень он порадовался, что Игнат Верещак, Костя Лазаренко, Виталий Карасев и Юрий Лукьянцев по представлению подпольного обкома партии вновь зачислены в ряды Красной Армии и вот уже три дня как ушли.

Когда Павел Ильич и генерал вошли в ту половину хаты, где ранее был штаб дивизии, Василий Коралов сидел у стола и перечитывал письма Оксаны. Анна Евсеевна, облокотясь на подоконник, тихо плакала, глядя то на портрет дочери, то на Василия.

Гончаров не сразу понял, что произошло. И только тогда, когда увидел Оксанин портрет, окаймленный черной лентой, догадался: «Значит, опоздали мы...»

— Намного, — добавил Павел Ильич. — На целый год. Это случилось осенью сорок второго... Узнали мы об этом совсем недавно.

Коралов до этого дня никогда не курил и не понимал вкуса курева. А тут, не зная, как скрыть подступившие слезы, подал Гончарову письмо Вали Орленко, сообщавшее о гибели Оксаны, глухо сказал, непонятно к кому обращаясь:

— Закурить бы...

Гончаров тут же вынул новенькую пачку, подал зажигалку Коралову:

— Крепись, капитан!

Анна Евсеевна снова запричитала, что душа ее не может смириться со смертью дочки, особенно сейчас, когда ее яворенок как никогда распушился, зазеленел.

Крепин и Гончаров горько усмехнулись. Но Анна Евсеевна настойчиво сказала, что всю жизнь будет ждать Оксану.

— Да кто ж не хочет того, чтобы случилось так, как ты мечтаешь, — печально проговорил Павел Ильич. — А сейчас готовь обед гостям. Люди с дороги. Вы далеко теперь от нас? — спросил Крепин у генерала.

— В районе Нижнего Холма дислоцируемся. Что-то около ста километров отсюда. Готовимся освобождать Петровск.

Евсеевна хлопотала у печки, бегала в клуню, снова возвращалась в хату, потом снова шла в будку, ища в куриных гнездах свежие яйца. Вскоре зашипела глазунья, запахло украинским борщом и варениками. Гончаров и Крепин все еще вспоминали покойных друзей: майора Архипова, врача Пелехова, шутника Максима Скрипко и застенчивого Мишу Никифорова. Шофер возился около своей «эмки», а Коралов... Коралов сидел на треноге черешни, где всегда так любила сидеть Оксанка. У его ног валялось множество окурков... Он вспоминал все до мельчайших деталей встречи с Оксаной. Василий представлял Оксану в цветастом платице, громкоголосой и веселой. То мчится утром на огород с корзиной в руках или с лопатой на плече, то носится вокруг армейской кухни, помогая поварам. Вспомнилось Василию, что последние дни Оксана была скупа на слова и необычно тиха. И вдруг Коралову почудилось, что видит он девушку в полосатой одежде узника, перед судом в гестапо, перед смертью...

Все это поплыло перед глазами: и люди в зеленом и в черном, и высокие тюремные стены, и колючая проволока — все это он как бы увидел. Если бы мог кто-нибудь понять его в ту минуту! Казалось, не одна Оксана ушла из его жизни, а ушел и он. Осталось что-то малое от него самого, малое и такое ничтожное, что и суть существования его стала теперь совершенно бессмысленной. «Оксанка! Какие прекрасные минуты ты подарила мне! Ты так и не узнала, что я боялся притронуться к тебе. Ты одна была в силе жизнь мою сделать песней. И вот я один... Без тебя...»

Коралов встал, докуривая последнюю папиросу. Его начало подташнивать, и он с неприязнью подумал: «Кому взбрело в голову утверждать, будто курево успокаивает? Напротив, ко всему прочему еще и чертовски кружится голова». Он еще раз посмотрел на треногу черешни, еще раз представил живую Оксанку и медленно, словно хмельной, поплелся в хату.

Обед был готов, и Анна Евсеевна обняла Васю за плечи, усаживая возле себя.

— Будто и Оксанка рядом, як ты тут, — сказала хозяйка сквозь слезы, подавая Коралову ложку.

— Спасибо. Да я и есть-то не хочу. Так посижу.

— Смотри, капитан, не заболей!

— Все обойдется, товарищ генерал.

— Сынок! — спохватилась Анна Евсеевна. — Ось Оксанка як скучала по тебе, писала письма. Но отправлять было ж некуда, так она все складывала их, чтоб когда-нибудь тебе переслать сразу все или отдать лично при встрече. А коли фашисты ее угнали, я и приберегла их для тебя.

Василий тут же начал их читать. Вот первое: *«Вася! Немцы думают, я молоденькая, глупая, и не обращают на меня внимания. Ну и пускай себе думают... А я все вижу, что нужно... А как ты обо мне думаешь сейчас? Напиши...»* А вот еще: *«Вася! Я каждый день пишу тебе письма, потому что теперь ты — мой «Самоконтроль». А еще потому, что я люблю наших! Спросишь, а тебя? Ну конечно! И очень сильно! Потому что ты же похож на Андруся...»*

Вася грустно улыбнулся. Конечно, он мало чем был похож на Андруся. Но сейчас все это не имело никакого значения.

Обед кончился, и гости начали собираться в обратный путь. Набрали несколько букетов астр, чтобы положить на могилы погибших в Вишневке однополчан-партизан. Простились с хозяевами, пообещали, коль удастся, побывать в Освенциме: возможно, нападут на след Оксанки и больше о ней узнают, и все тут же сообщат им. Простились и с Амуром. Павел Ильич поехал с гостями на кладбище.

Навстречу, по направлению к Днепру, мчались машины, танки, двигался конный эскадрон, в небе под облаками неслись штурмовики. 57-я армия генерала Н. А. Гагена готовилась форсировать Днепр. На правой стороне изредка раздавались жиденькие выстрелы, и тут, на левой, на пустырях рвались снаряды. Это две эсэсовские пушки создавали видимость, будто оборона той стороны усиливается и об отступлении немецкой армии не может быть и речи. На самом же деле там готовились к бегству и у берега осталось только два оружейных расчета, которые продолжали отстреливаться.

Пели дрозды. Кружили в небе галки. Улицы были полны жизни. Только Василий Коралов всего этого сейчас не видел и не слышал. Сообщение о гибели Оксаны, а потом все ее



письма, которые он вез сейчас с собой и перечитал уже по нескольку раз, настолько глубоко ранили его душу, что он как бы на время выключился из жизни.

\* \* \*

Имена советских маршалов Рокоссовского и Жукова, командовавших фронтами, двинувшимися на Берлин, теперь передавались из уст в уста. Узники начали сочинять о них легенды, песни, стихи. Кому посчастливилось видеть этих людей, рассказывали о них все, что знали. На разных языках мира произносились имена советских военачальников. Писали их фамилии на остовах разбитых зданий, на стенах блоков, на нарах, на окнах и на земле... Да, да! На земле. Польские девочки и мальчики на обочинах шоссе и на тротуарах старательно и четко выводили эти две фамилии. Поскольку растеклась широкая молва, что Рокоссовский — поляк, а Жуков — русский, то эти две нации совсем побратались. И все-таки не столько радость, сколько страх охватывал узников лагеря смерти. Гитлеровцы готовятся удирать за океан и все чаще грозятся, что скоро их, узников, превратят в кучу пепла. А ведь это так и будет, чтобы не осталось свидетелей зверств фашистов...

Однажды в поле в обеденный перерыв Ирина отозвала Оксану и тихо прошептала:

— Поговорим. В лагере такая возможность не представится. Ты обещала что-то сказать по поводу уничтожения нашей принадлежности к лагерю.

— Да, — Оксана незаметно вынула из-за пазухи свернутый клочок бумаги. Развернула, подала Ирине.

— Вот в это должны превратиться наши лагерные номера...

Ирина не могла понять, что было изображено на листе бумаги. Пока что она видела несколько странных рисунков и несколько разных слов.

— Так ты предлагаешь изменить наши номера вот на это? Гм, — ухмыльнулась она. — Мне думается, если бы это было так просто, то и другие сделали бы такое.

Лицо Крепиной зарделось, и она отрубилась:

— Я не знаю, почему другие до этого не додумались. А мы должны попробовать...

— Но ведь у тебя тут целая галантерея: и сердце, и ключ, и якорь, и слова... — сказала Ирина.

— А мы сначала все это нарисуем химическим карандашом и по нарисованному... — сказала Оксана. — Ну вот, смотри,

у меня номер Ч051Ч. К первой четверке добавим снизу черточку, нуль так и останется, из пятерки хорошо получится буква «В», над единицей поставим точку, и получится украинское «і», снова к четверке добавим черточку и допишем новую букву «А». А потом еще раз уже по всему, этому слову слегка пройдемся тушью, чтобы не было разницы в цвете. Итак, получится слово «НОВІНА». Это и будет моя новая фамилия, под которой я буду жить до освобождения. Кроме того, сделаем еще по три татуировки вокруг этих лагерных номеров, иначе эсэсовцы заподозрят и догадаются...

Ирина так внимательно смотрела на Оксану, будто видела ее впервые.

— Бог мой! Как же ты до этого додумалась? Умничка моя! — Подруга схватила Оксану и крепко прижала к своей груди.

— Из твоего номера фамилия не получится, — продолжала Оксана, — мешают семерки, девятка, тройка. Придется тебе свою новую фамилию так помнить. А из твоего номера сделаем что-то похожее на цветок. Ниже — якорь, а еще ниже — имя твоего мужа. Вверху у плеча голубь с письмом...

Ирина засмеялась.

— Всю биографию учла! Да! Замыслы у тебя наполеоновские. Сбыться бы им!

— Об одном я печалюсь, если они и сбудутся... — начала Оксана. — Как будем жить потом с этими безобразными татуировками?

— Что ты, Оксанка! Вернуться бы только к жизни. А это все мелочь. Наши с тобой татуировки возвращают нам жизнь... Я лично буду носить их с гордостью. И хорошие люди еще цветы нам с тобою за них принесут. А те, что нас не поймут, они нам не нужны. И печалиться о них не будем.

— Ой, Иринка! А мне не очень верится в то, что ты говоришь. Вот придумала я все это, и к жизни хочется вернуться, а душа болит, будто подсказывает: «Не делай, остановись, навсегда себе жизнь искалечишь...» Вот, может быть, поэтому и другие узники, о которых ты говоришь, на это не решаются.

— Чепуха! Просто все это сложно, опасно и рискованно. Вот и боятся решиться на такое. А предложили бы мы им сейчас все то, что мы задумали, подставили бы они не только руки, но и грудь. Или ты хочешь развеяться пеплом по Силезии?.. Таких, как мы, фюреры в свидетелях не оставят.

— Ира! Но ведь нам нужны одежда и обувь, — загрустила Оксана. — Ты же знаешь, я на это не способна.

Ирина засмеялась.

— В смысле «достать» от тебя действительно пользы мало. Организацию обуви, одежды и всего необходимого для побега беру на себя. Твое дело — тушь, иголки, как и где проделать эту операцию, ясно?

Время обеда истекло. Девушки работали на разных грядах, и им пора было разойтись.

Накрапывал дождик. Но Оксана была в отличном расположении духа. Она шла рядом с конвоиром и несла с Диной бачок с водой. Та, как всегда, шутила и требовала, чтобы Оксана перевела по-немецки следующие ее фразы: «Не намерен ли сей лиловощекий господин разрешить ей, Дине, представительнице побеждающей армии, выкупаться в русле Вислы? И что за это в свое время он может быть частично прощен...»

Оксана смеялась и переводить не решалась. Тогда Дина попросила Марысю. И Марыся не решилась перевести это.

Дина кинула бачок на землю и сказала:

— Чего с ними церемониться? Кончилось их время! Приближается наше! — Она сняла с себя платье и в одной сорочке пошла к воде. Конвоир засуетился, подал какой-то знак другому конвоиру и пошел следом за Диной.

Когда та дошла до обрыва, он закричал:

— Холлера! Что задумала?

Дина по-русски объяснила конвоиру, что ей дурно и что она может «срочно умереть», а посему требуется сию минуту выкупаться. Они же, немцы, каждый день это делают, а почему русским нельзя?.. И вообще им пора сматывать удочки, ежели не хотят опоздать...

Разразился громкий смех. Конвоир заволновался, попросил всех отойти от воды. Но никто не шелохнулся. А Дина аккуратно сложила перед конвоиром всю свою лагерную одежду и сказала:

— ...В залог! Ну куда же я, голенькая, убегу. Сразу полиция поймет, что выскочила из вашего рая... — Дина пошла к воде, продолжая убеждать конвоира: — Окунись и цурюк (назад)...

Она сама поражалась своей смелости, но отступить ни за что не хотела.

Дина шла по берегу, как ожившая Венера Милосская. Ни изнурительный труд, ни голод будто не коснулись ее прелестного юного тела. Все залюбовались ею.

Дина уже была в Висле и задорно кричала конвоиру: «Красные победят!» А тот уже готов был со всем соглашаться, лишь бы эта сумасшедшая русская выходила на берег. Конеч-

но, он мог и пристрелить эту узницу, как это он делал неоднократно на протяжении всех трех лет войны. Но шел четвертый год, и приближающаяся фронтовая канонада напоминала о том, что созревает время, когда придется отвечать за каждого убитого...

Конвоир, поиграв затвором, поставил автомат на землю. Тем временем и Дина вышла на берег с горстью пива. Конвоир не переносил их и поспешил отойти. Мало-помалу он успокоился. Спустя час молчаливо и хмуро приказал колонне двинуться на картофельные поля. Дина торжествовала победу.

Оксана тоже решила попытать свое счастье. Только в другом плане. Вот лиловощекий подошел к кусту хвой, где Оксана поставила бачок, и кинул на него свою плащ-накидку. Девушке захотелось поискать в ней тоненькую иголку. Она знала, что гитлеровцы всегда при себе носили иголку и нитки. Однако осматривать плащ-накидку было опасно. Тогда она еще поближе придвинула бачок, улучила момент, когда никто не смотрел на нее, схватила капюшон и наполовину оторвала его. На прополку грядки стала тут, поблизости.

Дождик усиливался. Вот лиловощекий взял плащ-накидку, развернул и с размаху кинул на плечи. Отыскав на спине капюшон, посадил его на голову. Но тот свалился на плечо. Он тут же заметил надорванное место и зачертыхался:

— Дьявол! Утром все было в норме. Как же я это!..

Оксана тотчас вызвалась:

— Давайте я зашью!

Конвоир снял свою фуражку, поискал иголку. Не нашел. Потом подозвал к себе партнера и у него попросил иголку с ниткой. Тот вынул из кошелька и протянул Оксане:

— Битте! (Пожалуйста!)

Оксана быстро залатала дырку. В ее руках была та иголка, которая ей нужна. Во что бы то ни стало она решила не возвращать ее лиловощекому.

— Потеряла иголку! — жалобно сказала она, подавая конвоиру плащ-накидку.

— А! Пустяки! — ткнул он рукой в землю, когда Оксана наклонилась поискать пропажу. Оксана продолжала делать вид, что ищет, хотя иголка была уже в ее подпашке.

— Не ищи, иди работай!

Вечером после апелляции Оксана взобралась к Ирине на нары и прошептала:

— Теперь нужно вторую такую!

Оксана показала иголку, Ирина восхитилась:

— А еще говоришь, что ты плохой организатор.

— Да это совсем случайно, — засмеялась Оксана и рассказала историю с купанием Дины, а потом уже и о том, как ей пришла мысль о приобретении иголки.

— Говоришь, нужна такая же? — сказала Ирина. — А «цыганки», которые нам дают пришивать на платьях лагерные номера, не подойдут?

— Что ты? Они толстые, тупые, да еще и ржавые. Намучаемся только изрядно, да еще и заболеем. Нас раскроют раньше времени. А то и испортим всё. Номера останутся не до конца зататуированными, и бежать не сможем. Мария Кун догадается при сверке. Надо делать все чисто, чтобы уже было наверняка. Я хорошо запомнила: те иголки, которыми нас татуировали в Освенциме, были очень острые. И были они спаренные. Спарим и мы. Видно, так тушь пройдет глубже и быстрее все затянется. А так можно зазря исколоться...

— «Россия»! Не зря тебе гитлеровцы дали такую кличку.

— Давай больше о деле думать. Нужен еще табак, — требовательно заговорила Оксана.

— Хорошо. Завтра стырю у Козла пачку сигарет или папирос. Он как садится на перекур, так и забывает на земле. Потом ищет. А я подберу — дело с концом. Только зачем табак-то?

— Посыпем им следы, чтобы овчарки нас потеряли.

— О! Бог мой! И это твоё изобретение? — удивилась Ирина.

— Ну что ты! — рассмеялась Оксана. — Моего отца. Это уже проверено в деле... Он всегда разведчиков к немцам сопровождал с кисетом табака. Это средство, говорил, еще в гражданскую себя оправдало. Вот я и вспомнила...

Начались поиски второй иголки, туши, табака, одежды.

Однажды пришла очередь Ирины раздавать ужин. Все вышли на апель. Она осталась в штубах одна. В тот день у ближней вышки дежурил стрелок, который симпатизировал Дине и нередко кидал ей в окна яблоки. Но так как Мария Кун уже дважды его уличила в этом и даже пожаловалась на него коменданту лагеря, то временно он был отстранен от работы. И вот первый раз появился снова... Заметив Ирину у окон, негромко сказал:

— Динья здорова?

— Да! — ответила Ирина. — А ты хочешь ей гостинца прислать? Кидай! И вместе с ним пришли мне тоненькую, длиненькую стальную иголочку. Очень надо! Ходим на работу бо-

сиком, и нечем даже занозу вынуть. Мучаемся. Дина вчера плакала из-за этого...

Стрелок поверил. Тут же начал шарить по околышу своей фуражки. Он сунул иголку в огромное краснобокое яблоко и кинул в окно. Затем так же кинул гостинец Дине: три плитки связанного шоколада. Потом с деловым видом добавил: «Скоро Русь! И я з вами...» Он еще хотел что-то сказать, но залаяла овчарка Кун. Она неслась к вышке стрелка, а надзирательница — в блок к Ирине.

Ирина успела упрятать в печь то, что передал ей стрелок, и наклонилась мыть пол. Надзирательница пошарила по всем закуткам, подняла несколько одеял и понеслась в другую штубу. Потом вернулась к Ирине и спросила:

— Это с тобой говорил этот «фольксдейче»?

— Нет, нет. Это он там с кем-то перекликался во дворе конторы. Наверное, с комендантом... — Ирина знала, что ауфзеерин боялась высших чинов.

Ауфзеерин еще покрутилась посреди штубы, оглядывая каждый угол. Потом вышла из блока.

Ирина достала яблоко и с трудом обнаружила иголку. Вынула и ахнула от радости: та, что нужна!

А Оксана, узнав об удаче, просто запрыгала от счастья: «Значит, сама судьба нам помогает...» — и принялась писать в Биркенау письмо своим друзьям-интернационалисткам. «Дорогие мои доктор Милла и Эмма! Вы не забыли еще меня? Я — та «Россия», которую вы спасли от смерти, когда меня только пригнали в Освенцим. Был у меня тогда тройной тиф... Я узнала от врача, что приезжала к нам в Бабицы из Биркенау, что вы живы и пока здоровы. Рада за вас! И очень соскучилась по вас. Скоро будет свобода, и мы непременно увидимся. Приезжайте к нам в Россию, в Москву и в Киев. И непременно ко мне в гости домой!

Я пока здорова, и мои подружки тоже. Живется неважно... Ну вот, какая у меня просьба к вам. К нам из Биркенау раз в неделю хозяйственники привозят повидло и другие продукты. Так вот через этих девушек передайте мне какие-нибудь таблетки от головной боли, и такие, чтобы я не волновалась. Кажется, успокоительные называются. И еще. По секрету узнайте у немецких коммунистов, которые недавно прибыли в Освенцим, фамилии крупных и известных в Германии фабрикантов, хотя бы одного-двух, которые жили под Берлином, короче, далеко отсюда, и которые уже обязательно уехали в Америку или еще куда-либо в связи с приближением наших... И у кото-

рых много работало наших русских девушек. Буду искать свою племянницу... Это надо срочно, со дня на день всякое может быть. Целую».

А через два дня Оксану разыскали две польки и вручили ей тайком небольшую коробочку. В ней были разные медикаменты: те, которые она просила и которых не просила. Ее интернациональные подружки учили и то, что фронт приближается и что она может оказаться раненой, а посему постарались Оксану снабдить бинтами, повязками, ватой, йодом и эмульсией. А на самом доньшке она обнаружила и ответное письмецо: «Милая наша девочка! Как мы счастливы, что у тебя все хорошо. Кто тебе писал это письмо? У вас же нет там немок. Неужели сама за это время так хорошо изучила немецкий? О встрече на свободе с тобой мечтаем. Но сбудется ли это? Выполняем твою просьбу срочно, как ты и просила. Фамилия такого: Эрвин Риттер, жил вблизи Берлина, промышленник, бежал в Швейцарию, у него работало более пятисот русских — целый лагерь.. Как с питанием? Среди лекарств — стакан повидла и стакан маргарина. Не спутай с эмульсией. Она в баночке. Твои друзья: чешка Милла, немка Эмма. Целуем. До встречи».







### ДОНЬИ РОСИТЫ

Спустя два дня Ирина принесла пачку «козловых» папирос и несколько окурков, найденных по дороге в лагерь. Вечером вывзалась убраться в конторе вместо Марыси, так как та заболела, и унесла оттуда тушь. А чтобы дежурный не догадался, извинилась перед ним, будто случайно опрокинула весь флакон на бумагу. Попросила у него и новые листы — застлать столы. Для убедительности кое-где помазала по бумаге тушью.

Когда в лагере уже все спали, Ирина и Оксана сносили на чердак в тайничок все добытое и необходимое для предстоящей операции с татуировками. К уничтожению лагерных знаков они уже могли приступить, однако вопрос с одеждой и обувью пока что не был разрешен. А коль так, приступать к перетатуировкам было рискованно. Очень часто узники в совершенно неопределенное время подвергались проверкам. Гитлеровцы сверяли нагрудные тряпичные знаки, пришитые на одежде, с клеймом на руке. Оксану и Ирину могло постигнуть преждевременное разоблачение, а значит, и гибель. Нужно было точно рассчитать время, когда сойдет краснота и спадет отечность в местах наколов.

— Послезавтра наши летние платья с короткими рукавами забирают для дезинфекции. Вернут нам их, я интересовалась, через пятнадцать дней. Мы пока будем ходить в полосатых — с длинными рукавами. Вот и надо все успеть за это время. Все дни, которые проведем тут, в лагере, уже с зашифрованными метами, надо вести себя безукоризненно, не лезть на рожон, — сказала Оксана.

— Разве ты не заметила, что я начинаю перестраиваться? — весело спросила у подружки Ирина. — Даже пуговицу конвоиру вывзалась пришить. Будь он трижды неладный...

Обе они посмеялись, хотя на душе у них было беспокойно: вопрос с одеждой оставался неразрешимым.

— Может быть, попытаться достать у вольнонаемных? — сказала как-то Ирина.

— У тех, которых видим за пятнадцать километров от себя, величиной с мошку?.. — пошутила Оксана.

— Не шути, коль не знаешь, — воспротивилась старшая подруга. — Сегодня нашей бригаде объявили, что с завтрашнего дня мы будем ходить на отдаленное поле, на уборку ово-

шей. Будто распорядился так Морр. Приказал выписать шоферам пропуска. Марыся подслушала, как комендант сказал стрелкам: «Транспорт прибудет от военных управлений, торговли и от работников искусства». Значит, работы растянутся на пару недель.

— Как сделать, чтобы я попала в твою бригаду? — спросила Оксана. — Надо же, чтобы видели, для кого одежду подобрать.

— Я переговорю с Марысей. Кажется, заболела Вера. Она в поле не пойдет, а будет работать по блоку. Вот ты и заменишь ее.

Так и случилось. Наутро Оксану записали в Иринину бригаду вместо Веры, и подружки, довольные, взяв друг друга за руки, двинулись в поле.

Идти было далеко. И снова возникали новые планы, а с ними и волнения: вдруг ни с кем не удастся сговориться, чем заплатят за одежду и обувь — у бедных людей у самих нет марок, а кто побогаче не захочет с ними связываться.

Где-то далеко-далеко завывала авиационная сирена, извещавшая о приближении советских бомбардировщиков, но узников продолжали сопровождать на отдаленный участок к самому притоку Вислы.

...Вот и поле. По группам разбили бригаду. Марысе было приказано в этот день руководить всеми работами узников на правах освобожденного бригадира. И она не разделяла подружек: послала Ирину и Оксану с первой партией к самой насыпи у реки, где уже стояли три грузовые автомашины. Конвоя было не густо, и стрелки оцепили узников и вольнонаемных одним широким кольцом.

Тотчас раздался приглушенный и отдаленный взрыв. Один за другим... Стрелки поглядывали в небо, но не расставались с полюбившимися им словами: «Работать, зобаки!»

От машин к группе узниц направился молодой статный парнишка. Он возглавлял транспортную колонну от работников искусства. И как только увидал на груди у каждой из них букву «R», что значило «русские», заулыбался, а затем сжал свои ладони и поднял руки на уровне лица:

— Рокоссовский — Жуков! Войне капут. Русские победят, но и поляки тут не последнее место имеют, — намекая на то, что Рокоссовский по национальности поляк.

Он улыбнулся и сощурил глаза.

Все закричали:

— Конечно же, конечно. Вы и мы — одно целое!

Тот обрадовался и представился:

— Владислав, начинающий актер...

Кто-то засмеялся и спросил:

— А что это значит?

Тем временем подошла Марыся и распорядилась:

— В этой группе старшая будет Ирина, — она уже свободно говорила по-русски, и Владислав сказал, глядя на ее нагрудную лагерную мету:

— Глава — русска, плечи — польски.

Ирина и Владислав заговорили о работе. Он просил одну машину загрузить картофелем, другую капустой.

Ирина распределила членов своей группы. Оксану и Дину заставила подносить овощи к машинам.

...Машины уходили одна за другой. У последней грядки конвоиры осматривали их, пересчитывали людей, не спрятались ли кто среди овощей. Уехал с последней и Владислав и вновь вернулся со вторым рейсом.

Шоферы вели себя настороженно, мало общались с заключенными, и Ирина, боясь, что, возможно, больше и не встретится подобный человек, как Владислав, мало-помалу начала зондировать почву. Конвоиры, правда, посматривали на Владислава недоверчивыми глазами, хотя этому гражданскому человеку не решались делать замечания. Он отбирал продукты, какие ему были нужны, и все время крутился на грядках, у машины и у сапетов.

Никто не догадывался, что этот голубоглазый и веселый на вид парнишка немало повидал в жизни. На его глазах гитлеровцы убили мать, отец ушел в партизаны. А он трудится при временных выездных актерских труппах, выполняя разные работы, или помогает актерам хоть как-то просуществовать, если их преследуют гитлеровцы. Вот и сейчас он обманул Морра, купил продукты для польско-еврейских артистов и для партизан.

Когда Владислав засмотрелся на Оксану, Ирина тихо произнесла:

— Не помогли бы вы мне и ей?..

— Рокоссовский — Жуков, Жуков — Рокоссовский! Прошу! Пожалуйста! — так же тихо ответил поляк.

— Мне и ей надо платье, обувь, немного марок и компас!

— Бегац хцешь? — догадался он.

— Да! — несмело ответила Ирина.

— Готов! — ответил Владислав. — И счастлив буду с вами на воле цпацеровать...

Ирина ухмыльнулась.

Владислав призадумался, еще раз посмотрел на Оксану, а затем на Ирину и зачастил смешанным говором:

— Как скоро надо все, что хцешь?

— Не позже чем через пятнадцать дней!

— Давай сощета! Це будже сирпень (август). Добже! Тут! Я ще сюда прибуду повторно, тогда, когда кажешь, и вши-ско доставлю. Поначалу пристрою машину у кустов. Шипко там все упрячу. Тебе укажу, гже. Но ничэго этого я в доме не имею. И марок мало. Могу только те костюмы, шо сохранились в нашем театре после бомбежки. — Поляк снова призадумался, видно, вспоминал, что там сохранилось. И, посмотрев на Оксану, сказал: — Ей бы добже было в сукэнке (платье), которое одевала наша панинка — любовница Наполеона, когда он тут бывал. Кружева, длинно, ладно...

— А посовременнее у вас ничего нет? От любовницы Гитлера ничего не нашлось бы?

Поляк от души посмеялся.

— Еву? О ней еще у нас в театрах не игралось. Костюмы не заготовлены. А потом кажут, она в шподнэ (брюках) ходит. Шобы драпать было лепши (удобнее)...

Они снова засмеялись.

Владиславу очень хотелось заговорить с Оксаной, но Ирина хотела довести разговор до конца.

— Пан! Обувь нам тоже надо!

— Я запомнил все, цо поначалу сказала. Поведай размер буциков.

— Тридцать восемь у Оксаны и у меня, — ответила Ирина.

Владислав все о чем-то думал, глядя то на Ирину, то на Оксану. Потом, к удивлению Ирины, заговорил об испанском драматурге Федерико Гарсиа Лорке, который в тысяча девятьсот тридцать шестом году возглавил в Мадриде Союз антифашистской интеллигенции и в том же году был убит фашистскими властями. Прогрессивный мир о нем не забыл. Франция сейчас репетирует некоторые его драмы. Скоро на сцене венского «Бургтеатра» будет поставлена «Донья Росита».

— Приступили было и у нас к ее репетициям, но театр разбомбили. Даже декорации сгорели. Неизвестно, куда разбрелись и артисты. Вот я и принесу вам убранье из «Доньи Роситы». Вам требуется быть гарно одетыми. У таких гестаповцы на улицах не спрашивают аусвайс. В Кракове на вокзале вас встретим. Далее решим...

Ирина и не знала, как отблагодарить Владислава. В тот

день это был его последний рейс, и он не обещал прибыть ранее назначенного ими дня в августе.

Владислав все же взял из рук Оксаны сапет и сказал, что несколько раз он принесет капусту и за нее и за Дину. Они могут отдохнуть. Но конвоир посмотрел на часы и затребовал:

— Вы еще не готовы? Едут новые машины. Освобождайте плац!

Владислав посмотрел Оксане в глаза и сказал:

— До видзенья... артисточка...

Та ничего не поняла, посмотрела на Ирину. Оксане не терпелось знать, на что намекал польский друг, но она ответила ему только улыбкой, как и на все остальные его шутки.

Владислав снова подошел к Ирине и почти взволнованно сказал:

— Чуть было не забыл. То убранье — до пяткок. Я должен, видно, укоротить? Тут вы не сумеете... И боюсь, что ошибусь. Какую длину надо вам и ей?

— А какие платья носят на воле? Мы давно оттуда.

— Не видел. На подолы не гляжу, выше...

Ирина засмеялась.

— Тогда оставьте обеим по сто сантиметров. Ростом мы одинаковы, но учтите: я толще. У меня кость шире. Оксанка тоненькая.

— Это уже я, панинка, разглядел, — засмеялся Владислав. — То, цо надо!..

Спустя два дня, когда заключенным выдали полосатые платья, Оксана и Ирина после отбоя забрались на чердак, свернув на своих нарах одеяла так, будто они на месте.

— Приступим! — как-то торопливо сказала Ирина.

Оксана смело подставила ей свою руку и сказала:

— Начнем с плеча. Номер пока не тронем. Срисуй с бумаги силуэт моряка в бескозырке, точнее получится и легче...

Ирина дрожащими руками взяла химический карандаш. Подумала о чем-то, видно, нерадостном, ибо у нее на щеках задрожали мускулы.

...Иголки в руках Ирины, скрученные туго нитками, безжалостно жалили тело Оксаны. Ей хотелось крикнуть, что больше она не вынесет, что готова отказаться от своих замыслов, но мысль о свободе, о которой она уже мечтала днем и ночью, в какой-то мере все же притупляла эту боль. Но вот опять нахлынуло то страшное и тревожное, что все время подтаци-

вало ее душу. «Как рассказать людям, что кроется под этим словом НОВІНА? А не иметь этих татуировок — значит умереть тут, в Освенциме-Бабицах, под сухой, порядковой, никому и ни о чем не говорящей цифрой 40514. Ужасно! А как хочется жить! Вася! Что скажешь ты? Не отвернешься ли от меня?»

Ирина торопилась.

— Начало неплохое, — сказала она, глядя на Оксанино плечо.

Та боялась повернуть голову, и Ирина заметила в ее глазах слезинку. Такое с Оксаной было редко.

— Да ты что? — сказала растеряннo Ирина. — Смеяться надо!

Оксана проглотила комок.

— Просто маму вспомнила, очень соскучилась. Будто слышу ее голос, она зовет меня и плачет. Наверное, с ней что-то случилось... — И на глазах Оксаны показались слезы.

— Ладно, я все понимаю... Крепись, осталось недолго...

Оксана проглотила подступивший к горлу комок и прошептала:

— Это верно.

Когда подошла очередь Ирины, она смело подставила свое плечо под руки подружки. И не покривилась, когда Оксана заработала иголками по нарисованному. Младшая поняла, что ее старшая подружка хоть сначала и не верила во всю ее затею, но сейчас верит в нее гораздо больше, чем она сама, Оксана. И конечно, оттого, что та больше знает жизнь. Как она благодарна Ирине за дружбу! Ведь вместе они не испытывали такого страшного одиночества, как многие другие, находили силы и для шуток, и даже для смеха. Всякие освенцимские тяготы легче переносились, когда рядом был верный, надежный друг.

В тот вечер они накололи только по одной татуировке. В следующие вечера — еще по две около лагерных номеров. И наконец, в последнюю, четвертую ночь видоизменили свои освенцимские цифровые знаки. Оксанин номер 40514 обратился в хорошо читаемое слово «НОВІНА», а Иринина цифра — в роскошную хризантему.

— Покончено с Освенцимом! — засмеялась Ирина. — Даже на душе стало как-то легче. С глаз фашистское клеймо — давай хризантемы!

Девушки, несмотря на то, что им грозила в любую минуту смерть, если бы эсэсовцы обнаружили их на чердаке, да еще

за уничтожением лагерного «паспорта», прыснули от смеха. Особенно развеселилась Оксана.

— Медхен «Новина», — сказала шутливо Ирина. — Шпацирен на нары. Пока что в картотеке Освенцима ты узник номер 40514. Под властью режима!

Девушки разошлись. Они тихо улеглись на нары, чтобы не разбудить изморенных подруг и не попасться на глаза Марии Кун, ежели она притаилась где-нибудь за нарами. Такое частенько с ней бывало.

...Шли дни за днями.

В последнюю неделю особенно тяжело работалось Ирине и Оксане. Солнце припекало, а снять с себя платья они не могли. Подругам объяснили, что им нездоровится. У Ирины действительно нагноилась и воспалилась «хризантема».

— Что-то вы обе приуныли, — волновалась Дина. — Не снова ли тиф? Не угодили бы в Биркенау...

К Ирине подошла Марыся.

— Уж очень ты бледна.

— Нет, нет, ничего, — задумчиво ответила Ирина.

— Оксанка! Сними хоть ты свою робу. Ты же не так хвораешь, как Иринка. По лицу видно.

Оксана стушеввалась. Она не знала, что на это ответить польской подружке.

Выручила Ирина:

— Не тревожьте ее. Пускай работает одетая. Она же молоденькая. Мы все замужем побывали, вот и ведем себя проще. А она в присутствии мужчин стесняется поднять подол платья, не то чтобы работать в одной сорочке.

— Та какие тут мужчины? Эсэсовцы! — возразила Дина. — Я их совсем не признаю.

— Но они же люди. У них есть глаза и головы не глупее наших... — сказала Ирина.

— Чихать на их головы! Какая у палачей голова? Дурманом одним забита, — протестовала уже Вера.

— Это уже другая статья. Короче, не портите Оксану.

— Тоже мне, она хочет Оксане добра, как будто мы ее портим, — воспротивилась уже всерьез Дина. — Оксана! А ну-ка снимай платье! Не слушай ее... Мы тоже твои подружки.

Ирина рассердилась, посмотрела зло на Дину.

— Говорю, не трогай ее. Озноб у человека. Пускай лучше потерпит.

Девчата заспорили. Оксана, услышав, что из-за нее пошла

перепалка, и не зная, как себя вести, отошла подальше, на другую грядку.

И вот следующий день...

Накануне вечером Оксана и Ирина поднялись на чердак, где хранилась их аптечка, присланная интернациональными подругами из Освенцима-Биркенау, обработали Ирину «хризантему»: развели йод с водой, промыли, покрыли эмульсией, сверху забинтовали. Гнойнички смягчились и боль стихла. У Оксаны вообще все обошлось благополучно: сами по себе исчезли отечность и краснота.

Наутро Мария Кун задумала сверить нагрудные меты с номерами на руках. Вечером она избила какую-то женщину за отсутствие номера на платье и теперь решила проверить всех узниц.

У Ирины заработали на щеках мускулы. Ей даже подумалось, что кто-то явно подсмотрел, подслушал их затею и надзирательница задумала раскрыть их перед строем.

Ирина толкнула Оксану.

— Как быть?

— Как скажешь, Иринка, — дрожащим голосом ответила Оксана. — Теперь ты небось проклинаешь меня, что я придумала эту глупость.

— Перестань! — рассердилась Ирина. — А я что, без головы была, когда «хризантему» себе сочиняла?

Кун тщательно продолжала сверять номера.

Оксана стояла ни жива ни мертва. Страх парализовал ее нервы. Безразличие и пустота! «Все равно выхода отсюда нет. Смерть когда-никогда... И даже лучше, что раньше...» А перед глазами — мать, в ушах — наставление отца, а вот и Вася...

— Я больше не могу! Сердце лопнет! — шепнула Оксана Ирине. — У меня же бинт на руке. Что делать?

— Может, сейчас кинемся на проволоку? — спросила Оксана.

На переносице Оксаны выступил бисеринками пот... Ирина знала — это предел напряжения. Вот-вот с Оксаной что-то произойдет.

Пятерки отходили к воротам одна за одной. Оставалось девять. Оксана и Ирина стояли с зажатыми кулаками. Даже бинт уже снять со своего запястья Ирина не имела сил. «Пускай это сделает сама надзирательница...»

У главных ворот, такое часто бывало и раньше, остановилась легковая машина. В ней сидели эсэсовцы, а с ними и комендант



лагеря. Не выходя из машины, он открыл дверцу, поставил на землю ноги и закричал:

— Ауфзеерин! Какого дьявола вы тут топчетесь. Восьмой час утра. Узницы должны быть в поле уже не менее двух часов, а они у вас тут прохлаждаются...

Надзирательница круто повернулась, взяла пса за ошейник и пошла к машине. Она что-то твердила оберлагерфюреру о нарушении режима. Но какой-то высокий чин, высунув голову из машины, зло спросил:

— Они все у вас на месте?

— Да! — ответила ауфзеерин.

— Ну так в чем же дело? Всю эту прочую муштру они прошли у нас на Биркенау. Тут от них нужна только работа. Ясно?

— Так точно! — шелкнула ауфзеерин каблучками. А пес все еще стоял, не шелохнувшись, по стойке «смирно».

Ауфзеерин приказала несверенным пятеркам присоединиться к общему строю...

Шеренги двинулись в поле. Ирина незаметно и нежно смахнула с носа Оксаны росинки. Та тяжело вздохнула.

В пасти смерти думаешь: «Все, конец». А судьба-то сильнее. Возьмет да и преградит ей путь! Полпути шли молча. Только потом поглядели друг на друга. С грустью в глазах усмехнулись.

Ирина легонько обняла подружку:

— Девочка ты моя...

...Наступил долгожданный день. Подходя к полю, Ирина увидела Владислава. Незаметно приблизилась к Марысе, идущей впереди.

— Оставь меня с Оксаной снова около речки. Здесь попрохладней, — сказала Ирина.

— Добже! — ответила та почему-то по-польски. А затем снова по-русски: — Дам тебе группу.

— Ту же, — добавила Ирина.

Козел в этот день был очень активен и бегал между машинами, проверяя пропуска у лиц, сопровождавших эти транспортные колонны, и у шоферов. И снова Владислав оказался разбитнее других. Первый протолкался к Козлу и сказал:

— Последний рейс! Задержу вас недолго! Обслужите первым.

Ирина уже тут как тут стояла с группой узниц. Владислав

шагнул к девушкам и, глядя на Ирину, Оксану, Дину и других, поздоровался вполголоса:

— Рокоссовский — Жуков!

— Жуков — Рокоссовский!

Владислав улыбнулся:

— Вшистка едно!

— Ну, все же... — ответила ему задорно Ирина.

Все засмеялись.

Конвой сегодня не отходил от узниц. И Владислав с Ириной не имели возможности поговорить так, как прошлый раз. Они молча перекинулись взглядом и занялись работой.

Спустя час, когда нагруженным машинам надо было уезжать, Владислав незаметно нагнулся и сказал Ирине:

— Убранье из «Доньи Роситы» в третьем кусту, где стоит разбитый сапет. В туфлях — пять марок, больше не мог, компас, браслеты-часики. Оденьте на руки, теперь носят такие. Принес и карту по-польски... Может, разберетесь. Идите сначала в Катовицы по направлению железнодорожной насыпи лесом. Отсюда в Краков не рискуйте. Тут все заполонили немецкие войска. С Катовиц местным поездом или на автобусе доберетесь до Краковского вокзала. Через четверо суток будем вас там поджидать. В добрый путь! — простился Владислав.

— Дзенькуем барзо! — ответила Ирина.

Машины умчались.

Солнце опускалось за горизонт. В небе кружили галки и вороны. Пели в кустах синицы, шлепали ветки клена по воде. Время близилось к обеду. Ирина подошла к Оксане.

— Все в порядке! Двинем в обеденный перерыв... Далеко не отлучайся!..

Слово «двинем» обоих приводило в ужас. За всю историю Освенцима из его филиала Бабицы не убежала ни одна узница! И вот они решаются. Оксана посмотрела вокруг: посты, автоматчики, собаки. Шагнешь чуть к берегу и — пуля в затылок. «Но не отступать же!» — размышляла Оксана.

Начался обеденный перерыв. Оксана подбежала к Ирине, сунула ей в руку две таблетки:

— На, выпей. Это что-то успокоительное. Прислали мне из Биркенау. Может, не будем так бояться. Я тоже выпью, — сунула Оксана себе в рот две таблетки. Чуть запила водой. Ирина последовала ее примеру.

Всегда в такой час была неразбериха. Кого-то хлебом делили, кому-то миски не хватило, кто-то нетерпеливо поджидал от товарища кружку, чтобы напиться, многие женщины

просились за личными надобностями укрыться хотя бы за бугорок... Конвоиры запрещали с криком и руганью.

...И этот день был похож на предыдущие. На солнцепеке зазвенели миски. Тут же послышалась брань конвоира, сетовавшего на Веру, что та приткнулась у куста и долго не возвращалась. Шеренги начали выстраиваться к бачкам с болтушкой. Ирина и Оксана в числе первых подошли за своими последними лагерными порциями...

Обслужили их грубо, как и всегда. А Оксану вдобавок раздатчик стукнул палкой по спине за то, что она отказалась взять хлеб, который уже успел поваляться на земле...

Ирина успокоила подружку, прижала ее к себе и отдала ей свою порцию. Оксанину взяла себе. Та не соглашалась, но старшая настояла.

Девчат уже давно манил к себе тот самый «третий куст», под которым была спрятана для них одежда. Понизу оврага они должны пройти вправо и потом перебраться через приток Вислы.

— А что, если глубоко? Я плавать не умею, — сказала Оксана.

— Вот еще новость?! — заволновалась Ирина. — А что же мне с тобою делать? Ну ладно. Как-нибудь переберемся. Помогу. Хоть барахтаться сможешь? — спросила старшая.

— Попробую.

Перебранка около раздатчиков пищи продолжалась. Опять заспорили с поваром. Одна настоятельно подтверждала, что ее подружке совсем не дали болтушки, да еще и наговаривают, что она съела порцию и подошла за второй...

Чем кончилась вся эта история, Оксана и Ирина уже не слышали. Они улучили мгновение, когда все конвоиры и узницы взяли за свои обеды, и юркнули в кусты. Их никто не заметил.

Девушки сняли с себя полосатые платья, положили на то место, где лежала для них одежда, замаскировали их, посыпали табаком свои следы и тронулись в путь.

Впереди голая полянка. Девушки упали ничком, поползли, припав к земле. Вскоре оказались в реке...

Вначале было мелко. Потом сделалось глубже, и Ирина приказала Оксане остановиться в воде, где уже той было по самое горло. Сама взяла всю одежду и поплыла вместе с ней на тот берег. Там она присела за кустом. Мгновение выждала Тишина. Вернулась за Оксаной.

Как оказалось, Оксана умела немного плавать, просто в оди-

ночку не решалась. А когда легла на воду, то раньше Ирины очутилась у берега. Посмеялись.

Перед глазами беглянок, как салатные волны, перекатывалась высоченная рожь. Девушки решили пробраться к этому полю. Тут еще раз посыпали следы табаком, уже замоченным водой. Наконец шагнули в пахнущую ароматом рожь.

Им хотелось кричать от радости. Рожь будто для них удалась, такая высоченная, как стена. Они утонули в ней с головами. Даже с поднятыми руками их нельзя было заметить.

Посреди поля упали ничком. Послышался шелест.

— Наверное, овчарка, — заволновалась Ирина. Помолчали.

Через минуту все стихло. Это подул ветер, и рожь, которую они затоптали, поднялась.

— Как в сказке, — вздохнула Ирина. — Пускай теперь попробуют найти. Если только каждый стебелек переберут...

Ирина снимала со своей «хризантемы» намокший бинт.

— Все в порядке, — заулыбалась она. — Ни отечности, ни красноты, ни гнойников!

Принялись рассматривать свои костюмы.

— О! Бог мой! — восхитилась Оксана. — Какое все нарядное! Я такое и в жизни не носила. А туфли! Стекланный каблук или что это? Весь «змейкой» переливается. На высоком каблуке мне никогда еще не покупали туфли. Смогу ли идти?

— Я-то уж наверняка не смогу. Шишки в Освенциме выросли, — ответила Ирина.

— Ира! Ну гляди же, такие платья я видела только на картинах, — смеялась Оксана. — Чудо!

— А ты знаешь, что это за платья? — спросила Ирина. — Они сшиты для артисток, которые должны были играть в испанской пьесе богатых героинь. Однажды, помнишь, пошутил над тобой Владислав? Сказал: «До видзенья, артисточка». Вот поэтому.

— Помню, помню, — заулыбалась Оксана. — А я никак не могла тогда понять. Потом забыла у тебя спросить. Думаю, какая с меня еще артистка...

Снова посмеялись.

— Рано радуемся! — посерьезнела вдруг Оксана.

И тотчас завyla лагерная сирена.

— Обнаружили! — ахнула Ирина.

Дружно залаяли псы. По ту сторону реки переключались конвоиры, что-то вопил Козел, видно, недосчитался узниц и пересчитывал сначала. А тут и вода захлюпала... Уже перебирались на эту сторону стрелки с овчарками.

У Ирины жестче обозначились желваки на щеках. У Оксаны дергалось правое надбровье. Выступил пот на переносице... Стучало как молотом в голове и сердце...

Зашелестела рожь, овчарки метались совсем близко.

Оксана упала ничком и обняла землю, будто прощаясь с ней, потом перевернулась на спину и смотрела в небо...

— Не ворочайся, колосья будут шевелиться, — сквозь слезы шептала Ирина.

— Ирочка! Ругаешь меня? — заплакала Оксана.

— Молчи! — сердито приказала подружка. — Если будет возможность, кинемся на проволоку с током... или по дороге наутек. Застрелят — все легче, чем казнь, — сказала Ирина, сжав Оксанину руку.

— Согласна, — всхлинула та.

Ирина мысленно простилась с родителями и дочуркой, которая осталась с ними дома и которую тоже звали Оксанкой. Может быть, поэтому она так искренне полюбила ту, которая лежала сейчас с ней рядом. Вспомнила и умершего перед войной мужа.

А Оксана уже ни о ком не могла думать. Силы иссякли!

## Глава 15

### «МЕДХЕН! Я ВАС ГДЕ-ТО ВИДЕЛ!»

Откуда-то появились среди ясного неба тучи, и грянул гром, а гитлеровцы все еще не покидали прибрежную часть Вислы. И, конечно же, не понимали, почему овчарки суетились на месте, не взяв след. Наконец Кун зычно крикнула:

— Они могли уцепиться за подножки вагонов и уже быть в лесу. Возьмем курс туда!

Вскоре поляна опустела. Стало тихо. Пахло корнями и травой. Пахло дождевой водой и медом. Неподалеку гудели пчелы. Громовой марш уже отзывался глуше. Ливень так и не коснулся ржаного поля.

Ирина лежала не дыша. Оксана даже вздрогнула. Ей почудилось, что та мертва. Девушка припала к лицу старшей подруги.

— Ирочка! Ира!

— Лежи, не шевелись! И не разговаривай! — повелительным голосом приказала старшая.

Оксана снова опрокинулась навзничь.

Так пролежали подружки до ночи. Первой поднялась и присела Иринка.

— Спишь? Вот это нервы. А я весь вечер проплакала. Подъем, соня. Двинем дальше!

Оксана с трудом вспомнила, где она, присела и принялась одеваться. Пальцы скользили по шелковой одежде, и она вздохнула.

— Всегда бы носить такое...

Ирина промолчала.

Одевались наспех. Кое-как огрызком расчески, которую не забыла с собой прихватить Ирина, причесали отросшие в Бабицах волосы (тут их не стригли), взяли обувь в руки, надели на руки браслетки-часики и присели перед дорогой. Ирина увидела мешочек с табаком, сказала:

— Осталось чуть-чуть. Посыпь свой след, а я — свой.

Потом она посмотрела на компас. Разглядеть ничего было нельзя, и она прошептала:

— Нам надо сейчас направо, к железнодорожной насыпи, — вспомнила наставление Владислава. — И по ней пойдем в сторону Катовиц. Слышишь, стучит поезд? Давай перебежим под шумок на ту сторону. Мне думается, там безопасней идти. Как-никак подальше от освенцимской зоны.

— Очень боюсь выходить! — испуганно сказала Оксана.

— За мной! — скомандовала Ирина. — Не отставать!

Старшая подружка сначала осторожно шагнула по чистому полю, потом остановилась, оглянулась, еще раз позвала Оксану, и они опрометью побежали:

— Поторопимся, поезд приближается! — сказала опять Ирина.

Девушки обогнули насыпь и по тропиночке вдоль линии без остановки бежали, казалось, так же быстро, как и шел поезд. Вдруг Ирина упала на землю.

— Глоток воды!.. — умирающим голосом сказала она. — Сердце колет. Плохо мне...

Оксана припала к подружке и принялась дуть ей в лицо. Наконец Ирина глубоко вздохнула.

— Кажется, лучше, — едва проронила она. — Не бойся! Я с тобой! — взяла она Оксанину руку и прижала к своей груди. — Из Освенцима мы уже ушли. Теперь можно идти ровным шагом, — продолжала Ирина. — Немецкий я знаю плохо. Если нас остановят — говоришь ты. Я молчу. Нам хотя бы благополучно добраться до Катовиц, а там на поезде — до Краковского вокзала.

Как только Ирина и Оксана поднялись на ноги, платья на них загорелись какими-то звездочками. Младшая испугалась:

— Как же мы пойдем? Что это?

— Тыфу, этого нам еще не хватало, — засмеялась старшая. — Это светлячки. Не бойся.

Долго они отряхивали себя. Но светлячки то исчезали, то вновь зажигались. Ирина скомандовала снять с себя платья, идти в одном белье.

...Миновали перелесок. Впереди увидели что-то похожее на железнодорожную будку и у переезда свернули от нее. Попали на чей-то огород. Нашли дыню, помидоры, огурцы. Вдоволь насытились.

— Хочу яблок, — развеселилась Оксана. — Можно, в сад залезу?

— Не вздумай. Может быть, это сад эсэсовца и он нас тут прикончит... Быстро ты про все забыла.

— Ладно, не полезу. — успокоила Оксана подругу.

Двинулись дальше.

...Всякое было за двое суток. И железнодорожник какой-то начал их преследовать, да укрылись они в лесу и чуть было не угодили в звериное логово.

В одном из закутков девочки увидели следы от костра и очистки от печеной картошки.

— Должно быть, поблизости поле, — сказала Ирина.

Решили передохнуть. Оксана ушла на поиски картофеля, Ирина готовила костер.

За последние три года они впервые досыта наелись. Около костра и уснули, не видя снов. Проснулись рано.

— Ну, а теперь дальше в путь, без остановок.

Шли по-прежнему босиком, торопливым шагом, молча. Каждая думала о своем.

...Катовицы предстали перед глазами девушек ясным августовским полднем. Ирина и Оксана умылись в лесном озере, оделись, с трудом всунули ноги в туфли.

Ирина только теперь внимательно взглянула на Оксану и ахнула. Белое платье из атласа горело на солнце, как перламутр. Оно словно по заказу было сшито по фигурке девушки. В тон платью туфли со «змейкой» посередине. «Сукэнка» Владислава ладно сидела на Оксане, ничего не скажешь!

— А ну-ка повернись! — скомандовала Ирина.

Оксана повернулась.

— Какая же ты красивая! Фрицы и документ не решатся спросить у такой, — засмеялась Ирина. — И личико у тебя ста-

ло как мраморное. А глазищи! Бог мой! Ничего этого в арестантской робе не было видно. Вот что значит одежда. Совершенно другой человек. Встретилась бы с тобой сейчас наша Курочка, ей-богу, прошла бы мимо. Только одно не по наряду — прическа. Ты знаешь, нас сразу узнают по нашим космам. Зайдем в парикмахерскую. Марки у нас есть.

Тем временем Оксана с таким же восхищением смотрела на Ирину. В розовом платье с нежными по нему крапинками Ирина казалась совсем другой, незнакомой.

— Да ты как царевна! — вскрикнула Оксана. — И рябинок не стало на носу...

— А куда же они девались? — засмеялась Ирина.

— Не знаю. А вот прическа и у тебя не годится, — вздохнула Оксана. — Надо в первую очередь в парикмахерскую!

Ирина и Оксана незаметно влились в толпу, идущую по шоссе.

Поначалу шли медленно и робко. Оксана споткнулась. Какая-то женщина по-польски обругала ее.

— Такие туфли надевают, когда умеют ходить... Плетешься как хмельная...

Оксана сама знала, что походка у нее сейчас неважная. Но что поделаешь? Ведь последние три года, кроме деревянных колодок, она ничего не знала.

Хотя время военное, праздной публики не счесть.

Девушки старались не озиаться по сторонам, будто все им тут знакомо. Но вот они услышали обращенные к ним слова:

— О! Чайные розы! Я хочу вас сорвать!... — Пьяный гитлеровец последовал за девушками. К счастью, его остановил патруль.

Девушки поспешили дальше и очутились у здания без вывески. Тут у всех почему-то спрашивали документы.

— Обойдем! — насторожилась Ирина.

— Куда? Вокруг патрули!

— Вот тот, второй, не всех останавливает. Погляди. Интересно, почему так? Подойдем к нему. Может, и нам повезет... Он осматривает только мужчин... — сказала Ирина.

— Прогуляться вышли, медхен? — заговорил патрульный, заметив, что у девушек с собой ничего нет и что они не решаются к нему подойти. — Рискованно без документа сейчас выходить на улицу. Ну проходите, так тому и быть, — тихо сказал он и добавил: — Следующий раз ридикюли не забывайте! — А когда Оксана поравнялась рядом с ним, шепнул:

— Возвращайтесь сюда в шесть. Закончу дежурство...



Девушки рады-радехоньки, что их не задержали, закивали согласно головами.

— Ничего получается, — посмеялась Ирина.

— Чем все это только кончится... — засомневалась Оксана.

И тут навстречу из кафе устремилась группа гитлерюгендов. Двое из них подошли к девушкам. Ирина показала им на пальцах разницу в возрасте. Но тем самым отвлекла внимание только от себя. Молокососы в форме застыли перед Оксаной. Один из них что-то пролепетал. Потом Оксана бойко что-то проговорила и гордо прошла вперед. А произошло следующее. Сначала Оксана испугалась. Потом увидела, что мальчишки еще моложе ее, и сказала:

— Вы ошиблись, я спешу на вокзал встречать мужа.

Юнец оглядел Оксану и с запалом спросил:

— У тебя муж?

— Да. И к тому же немецкий ге-не-рал.

— Что? — попятился мальчишка с жиденькими усиками.

— Неправда. Ты русская, — осмелел его приятель. — Это видно по лицу и по разговору.

— Ну и что? Он привез меня из-под Сталинграда!... — Оксана и сама не знала, почему именно этот город ей захотелось назвать.

— Под Сталинградом уже не женились... — отпарировал юный гитлеровец.

— Молод еще знать обо всем, — отрезала Оксана. Испугавшись за исход разговора, она поспешила его прекратить и, величаво, не терпящим возражений жестом отодвинула юнца с дороги.

Девушки даже развеселились после этой встречи.

У поворота к вокзалу Ирина остановила польскую девушку.

— Будьте любезны, панинка! Когда пойдет поезд на Краков?

— Рейсов мало. Теперь в шесть вечера. На нем рабочие ездят.

— А билет сколько стоит?

Та удивленно посмотрела: мол, таким ли спрашивать о цене, и с ухмылкой ответила:

— Всего одна марка!

Тем временем девушки увидели парикмахерскую. Не заметили только они, что оттуда из окна их давно уже пристально разглядывала какая-то усатая женщина в белом халате.

Подруг причесывали одновременно. Усатая пригласила Оксану...

— Теперь вы настоящая русская девушка, — проговорила па-

рикмахерша, закончив работу. Оксана опешила. — Я увидела вас из окна и думаю: как же такие нарядные девушки непричесанные? — продолжала усатая. — Хотелось вас по-матерински поругать... Девушка всегда должна следить за собой. Даже в войну.

Оксана уже знала, что в чуткости чаще всего распинаются гитлеровские слуги! Она решила не вступать в разговор, а только сказала:

— Сейчас, пани, моя подружка уплатит и за меня.

Сделав вид, что наблюдает, как причесывают ее подругу, Оксана попыталась следить за усатой. И уловила, как та осторожным жестом кому-то указала на нее и Ирину. Оксана не оглянулась, чтобы не выдать себя. И все-таки посещение парикмахерской не обошлось благополучно.

Когда Ирина отдавала кассирше деньги, мимо прошла девушка в светло-бежевом костюме и, оглядев их обеих, куда-то исчезла. А на улице к ним подошел человек в штатском и потребовал документы.

— Так кто же вы: местные польки, «восточные рабочие» или «фольксдейче»? — спросил он по-русски, по-польски и по-немецки.

Тут уже Оксана не сочиняла, что она идет встречать мужа-генерала. Она сказала то, к чему готовилась перед побегом:

— Наш хозяин бежал в Швейцарию. А нас вот покинул...

— Неплохо покинул, судя по одежде, — сказал второй подошедший — высокий человек. — Аусвайсы он не пожелал вам выдать? Это бы дешевле ему обошлось....

— Как имя вашего хозяина?

— Эрвин Риттер! — отчеканила Оксана, хорошо запомнив фамилию, которую ей сообщили иностранные подружки из Биркенау.

— Аусвайсы у нас были. В дороге с чемоданами украли. Вы видите, мы с пустыми руками? — Включилась в разговор Ирина.

— Ужасно. Канцелярия Риттера еще осталась. Проверим, все ли правда, о чем вы говорите.

У Оксаны дрогнуло сердце.

...Шли долго. В приемной здания, куда их привели, записали их фамилии, фамилию хозяина-промышленника и, пообещав разобраться, приказали девушкам следовать в камеру. Только спустя дня два, не дозвонившись ни до Риттера, ни до его канцелярии, в закрытой машине их вывезли из гестапо.

...И вот Оксана снова в той же городской тюрьме и даже

в той камере, где находилась до отправки в Освенцим. На стене в длинном списке узнала свою настоящую фамилию, которую она поставила собственноручно еще в сорок втором, перед отбытием в лагерь смерти. Ирина прочитала список, все поняла и дописала в него свою фамилию.

На следующий день Оксана, узнав о том, что разрешаются в этой тюрьме свидания, не задумываясь о последствиях, написала письмо Вале Орленко в лагерь, где работала до ареста. Ей не терпелось знать, живы ли ее подружки, не пострадал ли кто после той бомбежки третьего мая... Может, что-нибудь знают и о родителях, о Жене... Работая во дворе, она познакомилась с поварихой и упросила опустить ее письмо в почтовый ящик. Валю Оксана в письме предупредила, что писать ей нельзя и спрашивать надо только по имени и номеру камеры.

Так узнали односельчане, что Оксана жива. Сообщение это потрясло их. Кто знал? А то бы не сообщали родителям о ее гибели. И поправить уже ничего было нельзя. Вишневку и их разделял фронт.

Валя Орленко на следующий день примчалась к тюрьме. Через забор пробралась на стройку, где работала Оксана, и уговорила конвоира разрешить повидаться с подругой.

Поначалу Валя не узнала Оксану. На нее смотрело совсем незнакомое лицо: перестрадавшее и возмужавшее. Надо лбом седые локоны, короткие жиденькие волосы вместо длинной русой косы. Но, сжав губы и собравшись с духом, решила сразу порадовать подругу. Она сказала, что вскоре после ее ареста весь Семнадцатый на ЛП разбомбили в щепы, что родители ее живы...

— Не верится, что ты живая, Оксанка.

— Как видишь. Ну рассказывай, рассказывай... Что знаешь о Жене?

— После твоего ареста, — начала Валя, — Женя очень загрустил и только однажды спросил меня, не осталась ли у кого твоя фотография. Мы ответили, что были фото в твоём чемодане, но при обыске гестаповцы забрали. Он как-то замкнулся. И мне письма стал писать редко. А если писал, то интересовался только тобою. В начале мая, в дни бомбежек, исчез бесследно, а может, перевезли куда-то. Кстати, когда Семнадцатый разбомбили, в том числе и те новые цехи, что мы строили, мужчин всех из ЛП тут же вывезли. С тех пор здесь по-прежнему одни «восточные рабочие».

Беседу прервал шум мотоцикла. К девушкам подбежала взволнованная Ирина. Отозвала Оксанку.

— Приехал эсэсовец из Освенцима! Наверняка нас ищут...

Оксана оглянулась и сразу узнала Отто из лагерного гестапо. Она словно окаменела. На носу выступили бисерные росинки... Девушка вернулась к Вале, чтобы проститься. Крепко прижав ее к себе, подавленно проронила:

— Вернешься на Родину, вот так прижми моих родителей. Скажи им всю, всю правду! Впрочем, ты ее не знаешь... Ну ничего...

Оксана обхватила Валью за шею, поцеловала и горестно улынулась.

— Не назови мою фамилию, подведешь! — тихо сказала Оксана. — И немедленно уходи прочь! Тебя могут арестовать! Не приходи ко мне больше. Я напишу, когда можно будет. Ну, прощай...

Всех содержащихся в тюрьме выстраивали в шеренги. Оксана собралась с духом и с поднятой головой прошла мимо Отто.

— О! Шёнес медхен! — услышала она за своей спиной. — Где вы такую взяли?

Начальник тюрьмы, захлебываясь, похвастал, что господин Риттер в свое время сам лично приезжал на Краковскую биржу за такими рабьями...

— И Риттер их так одевал? — осмотрел Отто Оксану сверху донизу.

— Тех, кто заслуживал! — с ухмылкой сказал начальник тюрьмы.

— Стоило ли тогда этому обожателю русских так далеко забираться? В Швейцарию. У него были бы неплохие дела и на Востоке.

Оба посмеялись.

Оксана тем временем все это перевела Ирине.

Отто о чем-то пошептался с хозяином тюрьмы и продолжал осматривать Оксану. Задержав свой пристальный взгляд на ее волосах, призадумался. И вдруг восхищенно сказал:

Красивая седина. Как же так, она слишком юная?!

Гитлеровец теперь в упор смотрел на Оксану. И та решила, что это конец.

— Медхен! — наконец он обратился непосредственно к Оксане. — Я... я вас где-то видел! — Он подошел поближе. — Погодите, погодите минуточку... — протянул Отто.

На носу Оксаны выступили росинки. Сердце забилося, лицо побагровело. «Все кончено. Сейчас он вспомнит, как выдавал мне посылку в Освенциме-Биркенау... Как это он тогда сказал:

«голосок бархатный...» Оксана подумала, что при разговоре надо менять голос.

— Где-то меня видел, вспоминает сейчас, — перевела Оксана Ирине.

У той задрожал подбородок.

— Держись!

— О-о! Вспомнил! Я вас видел в Магдебурге в кафе! — уверенно выпалил Отто.

Оксана смутилась и как бы в знак согласия небрежно ухмыльнулась. «Пускай думает так... это лучше, чем признает меня за бывшую узницу Освенцима... А в кафе, между прочим, я еще отроду не бывала!»

— После проверки эту заберу! — наконец отчеканил Отто, обращаясь к начальнику тюрьмы. — Будет работать у меня...

«О! Ужас! — чуть не вскрикнула Оксана. — Опять Освенцим! Что толку, что не узнал. Там другие палачи узнают...»

— Дай мне лезвие, — прошептала Оксана. — Оно в твоей туфле, под стелькой. Запомни: Индустриeverк «ЛП». Восточной рабочей. Орленко Вале. Сообщи ей все, как было...

— Лезвие я тебе не дам. Порезать вены непросто. Слушай меня. Усадит он тебя на мотоцикл, а ты на повороте как бы упали. Может, укроет тебя кто-нибудь или потеряет он сам тебя, и все обойдется...

— Оголить руки! — раздалась команда.

Оксана растегнула манжеты и закатала рукава до самой горловины. Все четыре татуировки так и высвечивались на солнце...

— Стоять вместе не будем! Сразу заподозрят неладное. Прощай, Ирочка! А за лезвием я еще к тебе подойду... — Оксана медленно стала пробираться между рядами. Строй несколько нарушился, но вскоре выровнялся.

Отто внимательно осматривал руки у заключенных.

Вот и Иринин черед... Подружка насторожилась. Но гитлеровец даже не задержал свой взгляд на «хризантеме» и пошел дальше. Оксана ухмыльнулась: «Хризантема счастливая».

И вот гитлеровец рядом. Окинул ее, Оксану, с ног до головы. Взглянул на руку. И тут-то его как подбросило.

— Ах ты, русская татуированная bestия! Я думал, ты хорошая, а ты дрек! — Раздосадованный немец плюнул в лицо девушке.

Оксана вытерлась ладонью, опустила рукав, прикрыв все четыре татуировки, спокойно застегнула манжету. Но в глазах ее блеснули слезинки, и в горле стал комок. Она не могла под-

нять глаз от земли, ей казалось, что все смотрят на нее и тоже ругают...

Ирина следила за Оксаной и, когда нарушился строй, толкалась к ней. Взглянув на подружку, вспомнила ее слова: «Что о ней скажут люди?» Вот он и первый укор! Мука и грусть не сходили с лица Оксаны. Ирина обняла ее.

Отто уселся на мотоцикл и еще раз зло оглядел Оксану, добавил в сторону начальника тюрьмы:

— Отправляйте эту бестию куда угодно. Она мне не нужна, — и снова с ругательствами намекнул на ее татуировку.

Слезинки катились по щекам Оксаны...

— Успокойся, девочка! — продолжала Ирина. — Он плюнул не тебе в лицо, а себе. И не ты «дрек», а он, глупый гитлеровский холуй, обманутый нами, простыми русскими девчонками. У нас больше ума, чем у него. Мы здесь, а он нас ищет. Так кто умнее?! Хорошие люди не плюнут на нас, а оценят. До мерзавцев нам нет дела!

День был тих и ясен. Блики солнца нежно перекатывались на серебряных волосах, упавших на висок Оксаны. Нежный ветерок доносил фронтовую гарь, а с ней и надежду и уверенность, что будет скоро освобождение.

Будет или не будет?..

1969—1971 гг.

Москва

*Кот Анна Платоновна.*

КОЛЬЦО СУДЬБЫ, роман. М., «Молодая гвардия», 1972.

320 стр., с илл.

P2

Редактор *И. Авраменко*

Художник *А. Салтанов*

Художественный редактор *В. Плешко*

Технический редактор *Е. Брауде*

Корректоры *З. Харитоновна, К. Пиликова*

Сдано в набор 13/X 1971 г. Подписано к печати 24/IV 1972 г. A02851. Формат 60×84<sup>1/16</sup>.

Бумага № 1. Печ. л. 20 (усл. 18,6) + 1 вкл.

Уч.-изд. л. 19,3. Тираж 100 000 экз. Цена 69 коп.

Т. П. 1972 г., № 170. Заказ 2058.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сушевская, 21.

Молодая

P2

ова

сано к пе-  
ит 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
3,6) + 1 вкл.  
Цена 69 коп.

КСМ «Моло-  
ская, 21.



69 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

